

**НОВЫЙ
МИР**

10

МОСКВА

1944

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕН
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1944 г.

№ 10

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Н. РЫЛЕНКОВ — Новая весна, поэма	2
АНАТОЛИЙ КАЛИНИН — На юге, роман. Окончание	5
А. ЛЕОНТЬЕВ — Здесь будут вечером подолгу..., стихотворение	43
Ф. ФОЛОМИН — В державе хвойной..., стихотворение	43
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ — Отчий дом, пьеса в 4-х действиях	44
ИОСИФ ТБИЛЕЛИ — Дидмоуравиани, грузинская поэма Георгии Саакадзе. Перевод Г. Цагарели	73
КОНСТАНТИНЭ ГАМСАХУРДИА — роман. Перевод с грузинского Элисбара Аны	73
НИКОЛАЙ АСАНОВ — Сердце-камень, рассказ	101
ВАСИЛИЙ ЗАХАРЧЕНКО — Сыну, стихотворение	106
АЛЕКСАНДР БЕК — У взорванных печей	107
<hr/>	
АКАД. И. МЕЦЦАНИНОВ, А. ЧЕРНОВ — Владимир Леонтьевич Комаров	121
А. МАКАРОВ — Роман о Сталинграде	138
М. РОЗЕНТАЛЬ — Критика Гегеля в эстетике Чернышевского	145

БИБЛИОГРАФИЯ

П. СЛЕТОВ — Сценарий о М. И. Глинке	155
А. ДЕРМАН — История одного изобретения	157
С. ШТРАЙХ. Книга о героизме и мастерстве	159

НОВАЯ ВЕСНА

Н. РЫЛЕНКОВ

★

Лесные зори жжет весна,
Как пояс расписной.
Не то что вишня, а сосна,
И та цветет весной.

Меняют птицы свой наряд,
Зовут с собой в зенит,
А у тебя глаза горят
И в жилах кровь звенит.

И веришь ты — в
В истоках синих
Звезду счастья
Находит человек.

И та счастливая звезда,
Что в небесах одна,
Над кровом отчего гнезда
Тебе всегда видна,

С ней мир, что дан тебе в удел,
Опять, как в детстве, нов,
Ты веришь в завершение дел
И в исполнение снов.

Дорога дальняя ясна,
Открыт простор для глаз...
Но было так, что и весна
Не радовала нас.

Ночные птицы по лесам
Вещали дни утрат.
А почему — ты знаешь сам,
Недаром ты солдат.

Был бой не равен, а когда
В тумане рассвело, —
На танках вражеских беда
К нам ворвалась в село.

У всех дверей, у всех ворот
Стоит беда, — и вот
На ум работа не идет,
Кусок не лезет в рот.

У опустевшего гнезда
Померкли зорь края,
И на восток ушла звезда
Счастливая моя.

Куда ни выйду, ни взгляну —
Везде следы беды.
Березы шепчут: — Мы в плену.
— В плену, — твердят дрозды.

Не заиграет за прудом
Гармонь среди хлебов
Про отчий край, про отчий дом,
Про первую любовь.

Не соберется у реки
Веселый хоровод,
На счастье девушкам венки
Заря не заплетет.

Пришелец с мерзкою душой
Бросает тень окрест,
В неволю гонит, в край чужой
Он девушек-невест.

И у околиц деревень,
На пажитях пустых,
Как мертвецов, в прощальный день
Оплакивают их.

Хлеба и травы — все от слез
Горит, и оттого —
Не веселит нас сенокос,
Не веселит жнитво.

Проходит лето вдоль полей,
Пуста его сума...
И осень канула в туман,
И минула зима.

Пришла весна — бледна, грустна
Поникла у села.
Не то что темная сосна —
И вишня не цвела.

Была в крижицах солона
И губы жгла вода,
В полях про злые времена
Шумела лебеда.

Но не хотел поверить я
Шумливой лебеде,
Что нас забыли сыновья,
Оставили в беде.

Она вернется сюда
И вспыхнет у крыльца —
Моя счастливая звезда
На каске у бойца.

И возвестит конец невзгод,
И озарит весь край,
А кто утратил веру, — тот
Ложись да помирай.

Я знал — длинны пути войны,
Тоска еще длинней.
Но все с восточной стороны
Я добрых ждал вестей.

И вести всякие идут
К нам от своих людей.
Всегда был немец лют, а тут
Стад во сто крат лютей.

Почуял смерть свою пришлец
С кашеевой душой,
Все разоряет он вконец,
Всех гонит в край чужой.

Хитер кашей, да мы хитрей —
Мы знаем в бор пути,
А там ни окон, ни дверей,
Без спросу не войти.

А пушки все сильней палят
С восточной стороны,
В ночи, куда ни кинем взгляд,
Зарницы нам видны.

И день сидим, и два сидим
Мы у барсучьих нор.
Вдруг бой затих, улегся дым
И ожил старый бор:

Раскинул тени на тропах —
Тенета тишины,
Смолой распаренной запах,
Как пахнул до войны,

Открыл чашобу, словно клеть,
Где все углы полны,
Велед в вершинах птицам шеть,
Как пели до войны.

Мы голоса их узнаем,
Неслышные вчера...
Но бор есть бор, а дом есть дом, —
И нам домой пора.

Дорога к дому нам близка,
Легка земля своя...
На запад движутся войска —
То наши сыновья.

С полей войны пришла сюда,
Чтоб озарить сердца,
Моя счастливая звезда
На каске у бойца.

И я спросил у одного,
Стараясь в ряд итти:

— Скажи мне, сына моего
Ты не встречал в пути?

— Как не встречать, встречал, отец, —
Кивает мне боец. —
Я с ним в одном полку служил,
В одной землянке жи!..

— А что ж растались вы? — Да он
Нам расчищает путь!..
— Ну, передай ему поклон,
Коль встретишь где-нибудь.

Скажи, что видел старика,
По всем приметам твой!.. —
На запад движутся войска
Дорогой фронтовой.

Войска идут, и мы идем
В свою артель, в свой дом.
В село приходим — нет села,
Спалил злодей дотла.

Здесь каждый столько перенес
И плакал столько раз,
Что больше нет, казалось, слез
Ни у кого из нас.

Но слезы хлынули из глаз
У каждого из нас,
И каждый знал — последний раз
Он плачет в этот час.

Что изойдет в слезах тоска
И выкипит до дна,
Что как беда ни велика —
Последняя она.

Мы пепелища обошли,
И я как старожил
Взял горстку горестной земли
И к сердцу приложил.

Испил воды из родника
И омочил виски.
— Да будет трижды жизнь сладка
Нам после дней тоски!

Прошла железная гроза,
Наш край испепеля,
Опять весна глядит в глаза,
Велит итти в поля

И распускает облака,
Как косяки гусей...
— Чтоб трижды жизнь была сладка,
Иди наши и сей!

Пусть прорастет скорей зерно
В земле, от слез сырой,
А негу плуга — все равно,
Лопатой землю рой.

Тоску, как стершийся пятак,
Не берегут в дому...
И я сказал: — Да будет так,
По слову твоему.

И зорче сделался мой взгляд
И легче стал мой след,
Как будто мне не шестьдесят,
А только тридцать лет.

Как будто мне возвращена
Былая стать моя,
Как запах трав, как тишина,
Как перешлеск ручья.

Тот мир, что дан мне был в удел,
Опять певуч и нов.
Сулит он завершение дел
И исполнение снов.

Куда б я руку ни простер —
Все ждет моих забот:
— Возьми меня, — зовет топор,
— Возьми, — пила зовет.

Чтоб трижды жизнь сладка была,
Захватывала дух, —
Руби топор, пили пила,
Врезайся в землю плуг!

В своей уверившись судьбе,
Судьбу друзей дела,
Таскал я бревна на себе
И засевал поля.

И снова голос мой окреп,
И мне, в мои года,

Был слаще меда черствый хлеб,
Хмельней вина — вода.

Я знал, вернув свои права,
Чем в полдень дождь хорош,
О чем шумит в лугах трава,
Что шепчет в поле рожь.

Как по ночам в духмяной мгле
Ведут зарницы спор,
На кровью политой земле
Суля обильный сбор.

Все завершалось чередом,
Все пло, как песня, в лад..
Входи ж, солдат, в мой новый дом,
Садись за стол, солдат!

И если сына моего
Ты встретишь на войне,
Скажи — есть кровля у него
В отцовской стороне.

Я знаю, путь его тяжел,
Зато звезда ясна.
Когда б домой он ни пришел,
За ним придет весна.

И будет зори ткать она,
Как пояс расписной,
И расцветет опять сосна
На взгорье за Десной.

Июль—Август, 1944.

НА ЮГЕ

Роман *

АНАТОЛИЙ КАЛИНИН

★

VIII

В утрюмой степи из подошвы кургана выбилась родник. Чистая, как слеза, струя смочила сухую, каменистую землю, и весной она ярко зазеленела травяным покровом. Много лет назад ветер бросил сюда семена. У подошвы кургана вырос и расправил свою густоволосую крону молодой могучий дубок. Рядом с ним вытянулась тоненькая белая березка. У корней их густо толпилась молодая кудрявая поросль. Березка жала к дубу, как подруга. Он прикрывал ее от палящего зноя своей дремучей листвой, заслонял от ветров, грозивших сломать ее. Они долго стояли, склонив друг к другу свои ветви, слушая, что им бормочет живой родник, о чем лепечут молодые побеги, которым они дали жизнь. Зеленая левада эта крашивала окраину черной, безрадостной степи.

Но потом вдруг пала тонкая березка под ударами топора. Подломившись хрупким стволом, уткнулась она в корни дуба, прощально прошумев листвой. Ее унесли. С того дня стал вянуть могучий дуб.

В бурю гроза довершила его участь. Молния расщепила его ствол от вершины до корней. Весь осиянный искрами, дуб вспыхнул в ночи скорбным пламенем. Жаркий огонь побежал по ветвям, по коре вниз, травя молодую поросль.

Скоро там, где шумела левада, осталось голое выгоревшее место. Пепел шуршал среди обугленных корней деревьев. Да у подножья кургана все так же бормотал родник, и ропст его сливался с шелестом сухих стеблей татарника на вершине кургана.

После того как Луговой узнал о судьбе, постигшей его семью, он весь был переполнен горем и ненавистью. Он ни

с кем не делился своими переживаниями, и никто не мог разгадать, что происходит в его душе. Для всех он оставался все тем же ровным, спокойным, сурово справедливым начальником, и только Остапчук сердцем чувствовал перемену, которая произошла в Луговом с того дня, как Дмитрий Чакан после атаки принес ему свою находку. Но и Остапчука часто обманывало доведение Лугового, его спокойствие, его негромкий, размеренный голос.

Все же порой чувства Лугового прорывались в поступках, совсем не отвечавших складу его характера. Оставляя Синцова в штабе, он стал уходить с эскадронами в атаку, в рубку, и Остапчуку немалых трудов стоило уберечь своего начальника в бою. Казаки сначала дивились, а потом стали опасаться, видя, как их командир полка рвется в самую гущу схваток, врезываясь своим конем в расстроенные ряды солдат противника.

— Смерти себе ищет, — неодобрительно говорил Чакан, стараясь в бою поближе держаться к Луговому.

Но Луговой искал смерти не себе, а своим врагам. Ненависть к немцам, которая жила в нем с первого дня войны, теперь отточилась еще острее. Он видел выход для нее в том, чтобы своею рукой как можно больше уничтожить врагов. То, что делал для этого полк, не могло полностью удовлетворить Лугового, потому что это растворялось в общей ненависти всех людей полка. Яркий восторг испытывал Луговой всякий раз, когда он в бою опускал шашку на голову солдата в серозеленом мундире. Луговой готов был стать фаталистом и верил, что судьба когда-нибудь сведет его с этим немцем, с этим Бертольдом, глаумившимся над его отцом, над матерью, над сестрой.

Луговой рвался в самый центр боя, в опасные места, туда, где шла самая горячая рубка. И, пожалуй, не уберег бы Ос-

* Окончание. Начало см. «Новый мир», № 8—9, 1944 г.

танчук своего начальника. Но не так уж часто случалась сабельная рубка в походе. Два десятка лет назад сабля составляла основное оружие кавалериста. Теперь же казаки чаще наступали в пешем строю. Специваясь, они шли в атаки с автоматами, с противотанковыми гранатами, редко пуская в дело шашки.

... Казаки прорвали фронт справа от главной железнодорожной магистрали Баку — Ростов, и противник под ударами в центре стал стремительно откатываться по этой магистрали на север, озираясь на своей левой фланг. На станции Минеральные Воды сорок немецких воинских эшелонов образовали гигантскую пробку. На темносерых стенках вагонов черной готической вязью аккуратно были выведены маршруты следования эшелонов: «Нах Армавир», «Нах Ростов», «Нах Берлин».

Рядом с эшелонами, набитыми зерном, стоял поезд с немецкими инженерами, назначенными на прозенские нефтепромысла, и зеленый берлинский экспресс, застигнутый русским наступлением. Одноколейная магистраль, перешитая по немецкому образцу, не могла пропустить всех эшелонов. Тогда стали жечь эшелоны. Запылало облитое бензином сухое дерево вагонов, запахло на станционных путях масляной горелой краской. Величественное зарево окрасило черный небосклон в пурпур. В вагонах тлела пшеница, шурша свертывались каракулевые шкурки, трескался вывезенный из пятигорских музеев фарфор, на платформе чадила густым, жирным дымом низколобье немецкие танки. Сухие, отрывистые залпы пушек раскалывали морозный воздух.

На реке Куме командир 50-й германской пехотной дивизии генерал-лейтенант Шмидт и командир 3-й пехотной дивизии генерал-майор Рекнагель надеялись задержать казаков. 13-я танковая дивизия, после понесенных потерь в начале января, была временно выведена из боя. За Кумой сконцентрировались на подготовленных рубежах пять пехотных полков и два артполка. Орудия били с левого бережья из рощи. Немецкие саперы подорвали единственный мост через Куму, затопили все паромы и лодки. Часовые безобразно прохаживались по высокому левому берегу. Пологий правый был открыт их взору до самого горизонта, а у ног надежной преградой плескалась широкая, словно затянутая в черный бархат, река.

Казаки вышли на Куму в сумерки. Милованов послал Зою за корпусным инженером.

— Сколько у нас понтонов? — быстро спросил Милованов, озабоченно шагая из угла в угол комнаты.

— У нас понтонов нет, — смущенно пробормotal инженер.

— Лодки, плоты?

— И лодок нет, и плотов, товарищ генерал, — инженер в замешательстве теребил рукой белую, подстриженную капыншжом бородку.

— Но что же у нас есть? — Милованов остановился перед инженером.

— Вот... один инженерный отдел, — виновато пожав плечами, сказал инженер. Лицо его вспыхнуло румянцем.

— А-а! Ну, идите, — с любопытством посмотрев на инженера, сказал Милованов. Он вдруг вспомнил, что смешно предъявлять требования этому человеку: у него и в самом деле ничего не было под рукой. Всего месяц назад был сформирован корпус и сразу брошен в прорыв. Дивизии задыхались без машин, в полках ощущался недокомплект лошадей, артиллеристам приходилось катить пушки на руках. Казаки щеголяли в разноформенном обмундировании, которое придавало эскадронам какой-то пестрый вид.

Милованов с невеселой улыбкой вспоминал слова командующего войсками группы: «Была бы кость, а мясом обретете. В походе все это быстро наладится».

Милованов понимал, что командующий был прав. Разве можно сейчас отводить специальное время на доукомплектование и прочие внутренние дела, когда был дорог каждый час? Сколько потребуется времени для того, чтобы выбросить из пределов русской земли врага, который, в своем ослеплении первыми успехами, дошел до Волги и до Терека?!

В последнее время Милованову удалось кое-что добиться для корпуса. На станцию Терек пришел первый эшелон с обмундированием для казаков. Но станция Терек осталась далеко позади, южнее Моздока, почти в двухстах километрах за спиной корпуса. Тылы отставали, не успевая подтягиваться к стремительно наступавшим полкам. И опять все упиралось в машины. А как бы хорошо сейчас подвести полученное обмундирование и хоть немного приодеть казаков. Единая форма придает части воинский вид и уже сама по себе способствует укреплению дисциплины. В этом вопросе Милованов целиком сходилась с Рожковым, который всеми правдами и неправдами старался одеть своих казаков и успел в этом много больше других командиров дивизий.

— Не могу спокойно спать, пока мои казаки без лампасов ходят. Какие это

казаки? — с возмущением говорил Рожков.

Он рассылал своих интендантов по всей стране, заказывал в разных городах чекмени, шаровары. Всякий раз, когда Милованов приезжал к Рожкову, его радовал примерный порядок, царивший в дивизии. Он видел приодетых, подтянутых казаков, сытых лошадей, налаженное хозяйство. В этом Мирошниченко беспорочно уступал Рожкову. Правда, и в дивизии Мирошниченко соблюдалась строгая дисциплина, и Милованов с полной уверенностью поручал ему самые серьезные дела. Но люди у Мирошниченко ходили в стареньком, заштопанном обмундировании, сено для лошадей получали только по нарядам. Рожков подбирал к себе в ближайшее окружение знакомых казаков, больше уроженцев верховских донских станиц и урюпинского юрта, откуда он сам был родом. Дивизия скорей была похожа на большое семейство, где людей связывали не только служебные, но и родственные, кровные узы. Очень часто отец и сын служили в одном и том же эскадроне. В каждом полку у Рожкова были приближенные люди, которые видели и уважали в нем не только командира дивизии, но и одностаничника, видного земляка.

Мирошниченко придерживался другой линии поведения по отношению к своим подчиненным, хотя и с ним в дивизии служило немало его полтавских земляков. Он ставил командирами эскадронов и полков только тех, к кому внимательно присмотрелся на поле боя. Мирошниченко считал, что чиновочитание должно быть в крови каждого солдата, и был сурово требователен ко всем без исключения подчиненным.

В наступлении дивизии Рожкова и Мирошниченко все время шли соседями, тесно соприкасаясь флангами, и на этой почве между ними часто возникали осложнения. Милованову порой приходилось прибегать к крутым мерам для того, чтобы прекратить неладу между двумя командирами дивизий. Но иногда, думая о них, Милованов невольно улыбался. Как часто взрослые, умные и всеми уважаемые люди до самой могилы сохраняют в себе слабости детства! Вздорная неприязнь, вставшая между Рожковым и Мирошниченко, была, пожалуй, сродни тому наивному соперничеству, которое чаще всего встречается среди детей. В конце концов, это соперничество Милованов всегда умело направлял по нужному руслу. Он часто поручал Рожкову и Мирошниченко параллельные задачи, и они рвались в бой, стремясь опередить друг друга в глазах командира корпуса.

Перед Кумой Милованов пригласил обоих командиров дивизий к себе. Он передал им свой разговор с инженером, рассказал о трудностях переправы через реку в условиях полного отсутствия подручных средств. В эту нарядность теплой зимы Кума не замерзла, только слетка подернулась у берегов хрушкой корочкой льда.

— Остается попробовать вплавь. Одна надежда — на лошадь, — сказал Милованов, выжидающе посмотрев сначала на одного, потом на другого командира дивизии.

— Вот видите! — вспотев от удовольствия, сказал Рожков, — рано сбрасывать лошадь со счетов.

Милованов улыбнулся. Урюпинский казак ревниво относился ко всему, что так или иначе касалось лошади. Милованов иногда задумывался над этой слабостью Рожкова и приходил к выводу, что из него вышел бы превосходный командир, если бы он внимательно отгляделся вокруг и продумал те изменения, которые произошли в армии за последние двадцать лет. Рожков был старый, убежденный кавалерист. Он считал, что коня незаслуженно забывают в кавалерии. В словах Милованова он усмотрел доказательство своей правоты. И все же слова генерала его насторожили: было в них что-то, что говорило не в его пользу.

— Вода холодная, возле берегов лед, — осторожно начал Рожков, не решаясь открыто выступить против предложения, за которое он только что горячо ухватился.

— Казачки простудятся, кашлять будут, — в тон ему сказал Мирошниченко.

— ...на стремнине шлужи, затянет людей, — недовольно сдвинув брови, продолжал Рожков.

— ...шаровары с лампасами намочат, чекмени, — улыбаясь в подстриженные рыжеватые усы, подсказывал Мирошниченко.

— Я сам поплыву! С первым эскадроном! — побавровев, круто отрубил Рожков.

— Ну, самому незачем, — вмешался Милованов. — Я давно, Сергей Ильич, хотел вам сказать: бравируете вы, под огонь лезете. Вас, говорят, силой приходится удерживать в штабе, — Милованов искусно вводил разговор в новое русло.

— Ну, это преувеличивают... Конечно, если требует обстановка... — оправдываясь, забормотал Рожков. Его самолюбие льстила репутация храброго командира, которая прочно держалась за ним в корпусе.

В полночь казаки, раздевшись, тихо спустились к реке, держа лошадей в поводу. Сухой морозный ветер

обжигал тело, как огонь. Лошади упрямылись, неохотно ступали в студеную воду.

— Вот тебе, Куприян, и крещение, — негромко сказал Чакан, оглядывая свое посиневшее, покрытое гусиными пузырьками тело.

— А что это у тебя, Петр Тимофеевич, за ладанка на шнурке? — спросил черноусый казак.

— А это, брат, донская земляца, — пояснил Чакан. — Мне ее баба в тряпочку зашила. Вот как мы, Куприян, далеко от Дона ушли, а я родную землю все время под сердцем чую, и вроде мне даже теплейше от нее.

Всходила луна. Немецкие часовые мерно прохаживались взад и вперед по высокому левому берегу, изредка бросая ленивые взгляды на подернутую вороной рябью реку.

— Ну, господи благослови! — сказал Чакан, первым вступая в воду.

Река сковала леденящим холодом. Студеная вода, казалось, пробирала до самых костей, судорогой сводила тело. Тупая боль ломала суставы. Казаки плыли, держа коней в поводу. Лошади — умные кавалерийские лошади приглушенно отфыркивались. К высоким лукам казачьих седел были приторочены узелки с одеждой.

Немецкий часовой внезапно увидел: из воды выходят голые, белые фигуры людей, фантастические в свете луны. Сопя, они лезли на четвереньках на высокий, крутой берег.

— Майн готт! — теряя рассудок, проворчал часовой. Страшный удар по голове опрокинул его на землю. Выбитый из рук автомат, описав в воздухе дугу, мягко воткнулся в песок.

... На рассвете Луговой приехал в березовую рощу на левом берегу реки. В роще разместился командный пункт полка. Среди белых стволов деревьев чернели стволы пушек, брошенных бежавшими немецкими артиллеристами. Бой отодвинулся на северо-запад, гаубичные выстрелы звучали где-то далеко. Изредка одиночные снаряды, перелетая через рощу, тяжело шлепались в воду, вздымая жемчужные столбы брызг.

А в роще стояла грустная, умиротворяющая тишина. Занятый своими мыслями, Луговой отдалился от командного пункта в сторону, незаметно для себя углубился в березовую чащу. Среди белых до пояса погруженных в снег стволов скользили первые лучи всходящего солнца. Обледеневшие ветви деревьев чудесно сверкали. Вся роща была напоенна хрустальным, сияющим светом восхода.

На вершинах деревьев, в облаках снежной пыли, хлопотливо возмались красногрудые снегيري да где-то под

снежным сугробом картаво плескался ручей. Голоса птиц и плеск ручья только подчеркивали тишину. Луговому подумалось, что, ступив в тихую лесную обитель, он попал в какой-то новый, неведомый для него мир. И чудовищными казались в этой мирной обители знаки войны: сверкающие желтой медью патронные гильзы, рассыпанные повсюду на снегу, вырытые снарядами воронки, черные смертельные ожоги на белых стволах берез.

Раздвигая руками обледеневшие ветки, Луговой медленно шел все дальше и дальше среди светлых кристаллов, свисающих с берез, искристых зерен снега, мягких, разнородных звуков суетливой, непрерывающейся жизни, которой жила роща. Ворковали снегيري, среди сугробов неторопливо вязал на снегу свои хитроумные петли заяц, с оттаявших веток со стуком падали на твердый снег прозрачные капли.

Первозданная тишина березовой рощи растрогала Лугового. И странно, он не чувствовал себя в этой тишине одиноким, как все эти дни. Чувство одиночества не покидало его с той памятной ночи, когда он прочел дневник немца Бертольда. Всех его товарищей по полку нетерпеливо ждал кто-нибудь близкий — мать, отец, сестра, жена, маленький сын. Сознание того, что их ждут, согревало суровые сердца воинов. До недавнего времени и Луговому было знакомо это чувство предстоящей, выстраданной кровью и слезами встречи. Но теперь словно что-то оборвалось, умерло у него внутри. Никто не ждал Лугового. Отныне главный долг его состоял в том, чтобы убивать, истреблять врагов, поселивших в его душе это страшное ощущение пустоты.

«А потом? Что будет потом?» — настойчиво спрашивал себя Луговой.

Он вздрогнул, услышав впереди себя голоса.

На поляне возбужденно говорили двое. Луговой узнал голоса командира первого эскадрона Дмитрия Чакана и полковой медицинской сестры Фроси.

— Нехорошо мы с тобой делаем, Митя, — говорила Фрося, — кругом война, людская кровь льется, а мы...

— Гаупта ты, гаупта, — отвечал Чакан. — Война войной, а жизнь идет своим чередом. Чуешь, пахи на ветках спуют, трава под снегом растет, деревья дышат...

Боясь хрустнуть веткой, Луговой быстрыми шагами пошел прочь. Случайно услышанный разговор смутил его душу и словно сдернул с нее туманную пелену, которая легла на нее с памятной ночи. Да, жизнь идет своим чередом! В замешательстве Луговой остановился перед молодой березкой. Ствол

ее был опален разрывом артиллерийского снаряда, а наверху ослепительно пылали в утренних лучах солнца ветви, покрытые тонкой корочкой льда. На самой верхней, обледеневшей ветке суетились две красногрудые пташки. Хохлатый, кургузый снегирь, верный закону природы, затеял со своей подружкой извечную любовную игру. Их звонкий, голосистый щебет разносился по роще, заглушая далекую злобную дробь пулемета.

Луговой осторожно обошел березку стороной, чтобы не спугнуть птиц. Посветлевшими глазами он огляделся вокруг себя. Нет, война и ее постоянная спутница — смерть не в силах остановить жизнь. Под другой березкой Луговой увидел полузанесенный снегом труп немецкого солдата. Из сугроба торчали плечи и голова. На белом, вымороженном лице застыла отталкивающая гримаса смерти. Сведенный судорогой рот скалился в страшной улыбке. Прямо на Лугового глянули незакрытые, остеклявшиеся глаза.

А роща полнилась радостными голосами птиц. С каждой ветки спадала звонкая капля. В проталинах между сугробами проглядывала зеленая, молодая трава, как бы напоминающая, что после зимы всегда приходит весна.

С чувством удовлетворения смотрел Луговой на заколеченный труп врага. Он снова подумал, что теперь весь смысл его жизни только в одном. Жгущая сердце ненависть не отяжелела, а облегчила его горе. И к этому горю больше не применялось то ошущение сиротства, в котором до этого жил Луговой. Одинок ли он? Его окружают товарищи, близкие боевые друзья, которые так же, как и он, живут одним. Они делают с ним общую муку, одну и ту же надежду. Открой он им свою душу, они бы нашли у себя для него слова утешения и ласки. Тот же Остапчук страдает, тщетно стараясь понять, что происходит с Луговым. Он даже похудел, его верный, испытанный ординарец. И даже Синцов, заглянув в глаза Лугового, с неподдельным участием спросил:

— Что с вами, Луговой? Вы не больны? На вас лица нет.

Нет, он их мог чувствовать себя одиноким в их семье! Луговой с волнением замечал, как преданно жался к нему в бою этот маленький, пугливый казачок Чапан, которого он и видел-то до этого всего один раз. Остапчук же вообще не отставал от Лугового ни на шаг. Сердце Лугового преисполнилось благодарности к этим суровым, простым людям. Они дали ему силу в острую минуту устоять перед отчаянием, которое прозило задавить его.

И не только они. Было еще нечто, что делало Лугового сильным перед лицом постигшего несчастья. «Вот вы какой», — слышал он низкий голос и мысленным взором видел тупые, устремленные на себя снизу вверх черные глаза. Со времени последней встречи с Мариной на переправе произошло немало новых встреч. Не сознавая самому себе, Луговой искал этих новых встреч. Всегда возникали десятки неотложных, нетерпящих промедления причин, которые требовали, чтобы он по дороге из эскадрона хоть на полчаса заглянул в госпиталь.

Недаром говорится, что горе сближает людей. Луговой всегда прятал от посторонних свою душу, но в одну из последних встреч с Мариной он вдруг, по неясному побуждению, передал ей книжечку в шагреновом переплете. Она вернула ему дневник в тот же вечер.

— Боже мой, ведь Анна моя подружка, мы учились вместе в институте! — сказала она дрогнувшим голосом.

Сердце его зашло.

Ему показалось, что на лице Марины проступили черты его сестры Анны.

— Да, да, теперь я вижу, что вы очень похожи. Я давно спрашивала себя: где я встретила такие же глаза?

— Вы думали обо мне? — глухо спросил Луговой.

Она продолжала, как будто не расслышав его вопроса:

— Помню, Анна мне говорила, что у нее есть брат. Но я вас никогда не видела. Вы, кажется, учились в академии?

Он молча кивнул головой.

— Я часто бывала у вас, мы вместе с Анной готовились к зачетам, — говорила Марина. — Помню, ваши окна выходили прямо на Дон. Мы часто спустились к берегу, брали лодку и ехали на зеленый остров. Анна любила грести, а я всегда стояла на корме. Часто с нами ездил ваш отец. У него были длинные, как у Тараса Бульбы, усы.

Луговой чувствовал, что в глазах у него темнеет.

— Что с вами? — испуганно спросила Марина. Луговой с усилием сдерживал лихорадочную дрожь, сотрясавшую все его большое тело. Брезентовые палатки госпиталя, Зорька, привязанная к дереву, автомашина, стоявшая неподалеку, — всё слилось у него в глазах.

— О, простите меня, — огорченно сказала Марина, поддерживая его за локоть. — Я не должна была вам этого говорить. Теперь я знаю, почему вас так любила Анна. Вас нельзя не любить.

Ему показалось, что у нее на глазах выступили слезы.

Он потом долго раздумывал над ее словами. Она так и сказала — «Вас

нельзя не любить». Какой недосказанный смысл скрывался за этим? Или, может быть, Луговой напрасно придавал такое значение ее словам? Сейчас, медленно пробираясь по роще, он настойчиво задавал себе этот вопрос. Отзвуки залпов противотанковой артиллерии с запозданием доходили до рощи, сбивая с деревьев снежную порошу. Белые хлопья сыпались с веток. От этого вся роща казалась задернутой белой густой кисеей. Нет, жизнь, в самом деле, дявольски хороша!

Полянки и просеки попадались всё реже, стволы деревьев стояли теснее. Один раз пуля булькнула возле него, и ствол березки брызнул щепками. Но он не заметил этого, весь уйдя в себя. Его тянула и тянула к себе эта густая лесная тишина, эти голоса птиц, запах мокрой древесной коры и звериных троп, которые помогли ему сегодня полнее почувствовать силу жизни, ее торжество над силами разрушения и смерти. Луговому казалось, что сегодня он впервые узнал самого себя так полно, как еще не знал никогда.

Над вершинами деревьев всходил багровый негнущийся диск солнца. Сугробы, стволы берез, снегири на ветках, тихо падающая пороша — все стало красным. Удары пушек теперь звучали где-то на севере. Луговой огляделся кругом. Он мог понадобиться в штабе, его могли хватиться и не найти. Правда, Луговой не слишком беспокоился на этот счет. После десятидневных непрерывных боев его полк был отведен во второй эшелон на временный отдых, а перед своим уходом Луговой сделал все необходимые распоряжения Синцову. Теперь он был твердо уверен, что Синцов и людей накормил, и снаряды подвез, и за фуражом подводы послал. Но могли позвонить из штаба дивизии и передать какой-нибудь срочный приказ. Луговой посмотрел на солнце. Командный пункт находился на восточной окраине рощи. Быстрыми шагами он пошел напрямик через рощу, держа направление на солнце.

— Подождите, товарищ майор, — услышал он за своей спиной глухой голос Остапчука.

Луговой оглянулся. Ординарец шел следом за ним, тяжело вытаскивая ноги из глубоких сугробов.

— А я вас шукав, шукав, — подходя, сказал Остапчук. Несмотря на мороз, он весь вспотел от быстрой ходьбы. Едва взглянув на его лицо, Луговой сразу понял, что Остапчук должно быть, долго искал его по роще. Он почувствовал себя виноватым.

— Тутечко по роще мины раскиданы, наши казаки еще автоматчиков ловят,

а вы... Хиба ж можно так! — шагая рядом, ворчливо говорил Остапчук. Луговой слушал его, улыбаясь. Всегда преданный, почтительный ординарец в исключительных случаях позволял себе ворчать на своего начальника. Этим правом Остапчук пользовался, когда Луговой целыми днями не брал в рот ни крошки, спал урывками или забывался в бою, безрассудно рискуя жизнью.

— А вас Синцов тоже шукав, — тяжело дыша, сказал Остапчук.

— Зачем?

— Снарядив не дают.

— Кто не дает? — «Вот понадеялся на Синцова», — уколола быстрая мысль. Луговой точно знал, что на батареях осталось всего по четверти боевого комплекта снарядов, а ночью полк снова идет в наступление.

— Интендант не дае, — враждебно сказал Остапчук.

— Кто-нибудь был у него?

— Був.

— Кто?

— Я, — неохотно разжимая челюсти, сказал Остапчук.

— Ну, и что ж он сказал?

— А вин ничего не сказав, — взволнованно заговорил Остапчук. — Я приехав, а его у штаби нема. Тоди я найшев его квартиру. Постучав, а вин молчит. Я ще раз постучав, вин опять молчит. Тоди я видкрываю дверь и захожду у хату. Бачу, а вин на кровати спыть. Я це побачив и зараз же повернув назад, до дверей. Но вин вже сам проснувся. Тоди я балакаю ему, шо треба снарядив. А вин каже, шо снарядив нема. Тоди я балакаю, шо нам дже треба. А вин нияк не хоче балакаты зи мною, кричит: «Геть видцця!». Тоди я взяв и ушев. — Остапчук умолок, тяжело дыша.

Длинный разговор с непривычки утомил ординарца, а незаслуженное оскорбление, которому он подвергся, так взволновало всегда невозмутимого украинца, что на скулах у него еще долго цвел смуглый румянец. Луговой сочувственно поглядывал на него. Уж если нашелся человек, который мог вывести из себя уравновешенного Остапчука, то, значит, оскорбление было, действительно, обидное! Этого зазнавшегося интенданта нужно раз и навсегда одернуть. Луговому не раз приходилось выслушивать от своих подчиненных жалобы на этого человека. Он усвоил себе возмутительный тон в обращении с людьми, которые стояли ниже его по должности и званию. Между тем, по его вине сплошь да рядом полки страдали от нехватки продуктов, боеприпасов, фуража для лошадей. Луговой как-то заикнулся об этом Рожкову, в осторожной форме

дав ему понять, что неплохо было бы заменить интенданта.

— Что ты? — испугался Рожков. — Ведь он со дна моря может все достать! Посмотри, у нас и обмундирование есть, и подковы для лошадей, ну... и водочка для гостей. А в соседних дивизиях — нуль. Другого такого человека нигде не найти.

Тогда Луговой ничего не возразил Рожкову, но теперь, выслушав рассказ Остапчука, окончательно укрепился в своем отрицательном мнении об интенданте.

На командном пункте на него накинулся Синцов.

— Это из ряда вон! В роще еще немцы... Я всех разослал вас искать.

«В сущности, он очень неплохой человек, — глядя на воспаленное, измятое бессонницей лицо Синцова, подумал Луговой. — Очень и очень неплохой». И все окружающие показались Луговому близкими, хорошими, родными — и Синцов, и Остапчук, и стоящий у входа на КП часовой, и телефонист, склонившийся над полевым аппаратом. «Какое симпатичное, типично русское лицо у этого связиста». Он сам не мог понять, что такое произошло с ним в роще за этот час.

— Я сейчас поеду сам, — сказал Луговой. Он вдруг сообразил, что на обратном пути, не делая большого крюка, сможет заехать в госпиталь.

Луговой нашел интенданта дивизии на квартире. Интендант только что позавтракал и теперь, не вставая из-за стола, вытирал яркий рот большим белым платком с синей каймой. — «Где я уже видел такой платок?» — переступая порог комнаты, рассеянно подумал Луговой.

— Прошу, — сказал интендант, жестом приглашая Лугового к столу. Красивое, чисто выбритое лицо его было, как всегда, самоуверенно и спокойно.

«Помнит ли он ту историю с машинами? Нет, не помнит», — мысленно решила Луговой.

— Спасибо, — сухо сказал он, продолжая стоять, и, помолчав, официально добавил: — Я приехал за снарядами.

Интендант повернул к нему удивленное лицо:

— Но ведь вы уже давно получили то, что вам положено.

— Нам было положено за два дня пройти пятьдесят километров, а мы прошли сто, — медленно сказал Луговой.

— Вы обязаны уложиться в норму, — холодно ответил интендант.

— У нас четверть боевого комплекта. Ночью полк выступает.

Интендант пожал плечами.

— Вы должны были подумать об этом раньше. Как командир полка вы лично отвечаете за перерасход снарядов.

— Вчера нас четыре раза атаковали танки.

— Вас три командира полка, и все говорят одно и то же, — под смуглыми усами интенданта скользила легкая пренебрежительная улыбка.

«Помнит, — решил Луговой. — Помнит и хочет на этот раз отыграться».

— В таком случае мне придется доложить командиру дивизии, что по вашей вине не будет выполнен боевой приказ, — берясь за дверную скобку, раздельно сказал Луговой.

— Командир дивизии вам скажет то же, что и я: снарядов нет.

— Кроме этого, — продолжал Луговой, — придется доложить о вашем возмутительном отношении к людям. Вы сегодня оскорбили и выгнали моего ординарца, который выполнял приказ... Лицо интенданта вспыхнуло.

— ...и если это повторится... — продолжал Луговой.

— Хорошо, я скажу, чтобы вам дали снаряды, — внезапно сказал интендант и, присев к столу, стал быстро писать на белом листке бумаги. — Вот. По этой записке вы получите два боевых комплекта. Этого будет достаточно, товарищ майор? — Он говорил с таким видом, словно между ними ничего не произошло. Луговой не мог себе объяснить этой перемены. Что он — испугался? Или где-то на дне души у него зашевелилась совесть?

Встреча с интендантом испортила Луговому настроение. С тягостным чувством возвращаясь он в полк. «Зорька стала тяжеловата на рысь» — раздраженно отметил он. Луговой был убежден, что война должна очищать и сблизать души людей, и теперь испытывал такое чувство, как если бы на него вдруг дохнуло чем-то затхлым.

Он свернул на боковую дорогу, ведущую в госпиталь, и вдруг разговор с интендантом отодвинулся куда-то назад, и мысли Лугового приняли совсем другое направление. Брезентовые палатки госпиталя стояли в ложине. Подъезжая, еще издали Луговой увидел Марину.

Она стояла в белом халате возле крайней большой палатки и о чем-то говорила с медицинской сестрой. Рукава ее халата были завернуты до локтей, руки запачканы кровью. Луговой привык видеть на войне кровь, но сейчас его почему-то неприятно поразил окровавленные руки Марины. Увидев Лугового, она тотчас же скрылась в палатке и скоро вышла оттуда с вымытыми руками.

— Такой случай, — виновато сказала она Луговому дрожащим голосом. — Старик с мальчиком из хутора пошли

в рощу за хворостом и подорвались на минах. Мальчику оторвало обе ноги.

Она вытирала руки большим белым платком с синей каймой. Луговой внезапно вспомнил, что этим платком она в первую их встречу вытирала ему кровь на руке, и точно такой же платок он видел сегодня у интенданта. И вдруг, как в тот раз с дневником, повинуясь безотчетному побуждению, он стал быстро рассказывать Марине о своем разговоре с интендантом. Она слушала его со страшной улыбкой, склонив голову на бок и тщательно вытирая пальцы платком.

— Это на него похоже, — вполголоса сказала она.

— Что вы сказали? — со смутным беспокойством спросил Луговой.

— Он мой муж, — неожиданно сказала Марина.

— Ваш? — бледная, ошеломленно переспросил Луговой.

— Вы удивлены? Правда — неприятный человек?

— Не-ет... Вы не поняли меня, — вспыхнув до корней волос, пробормотал Луговой.

— Я поняла вас. Я хотела сказать, он мой бывший муж.

— Я должен ехать, — подавленно сказал Луговой.

— Подождите. Идемте ко мне.

Он послушно пошел за ней в ее маленькую палатку. Она задержала брезентовый полог и, быстро повернувшись к нему, жалобно сказала:

— Вы не должны так уезжать.

— Почему?.

— Потому что вы сами должны видеть... — быстро и бессвязно заговорила Марина. — Вообще, вы забываете о себе... мне Остапчук говорил... вы часто рискуете собой... Вы не имеете права так делать.

— Почему? — бледная, шопотом спросил Луговой.

— Потому, что вы дороги не только себе одному, — она легко приподнялась на носках, положила руки ему на плечи, и он почувствовал прикосновение к своим глазам ее сухих горячих губ...

Он ехал к себе в полк точно в полусне. «Нет, Зорька еще очень хорошо идет», — думал он, ощущая ногами тепло лошади.

IX

За Кумой начиналось Ставрополье, коренная казачья земля. Балочки и овраги изрезали степь, вставали из сугробов перелески, из белесого тумана выступали багряные пятна краснотала.

— Ближе к Дону! — привставая на стременах, веселели казаки.

Завидев всадников, уходила межой листва, выставляя по снегу хвост. В бурьянах пламенели ее шерстки, на белой целине искрился след твердых агатовых коготков.

Пали январские морозы. С вечера пошел мягкий густой снег, предвещая тепло, а в полночь вдруг поднялся ветер, завыл на все голоса в спутанных проводах подпильенных телеграфных столбов. К утру курганы оделись в твердую голубую кольчугу, тонкую как стекло.

В двухдневном бою за Солдатско-Александровское казаки жестоко потрепали 3-ю пехотную дивизию генерал-майора Рекнагеля. Лишившись пятисот солдат и офицеров, она бежала, бросив пушки и склады. На улицах догорали высоченные шкодовские грузовики, бронетранспортеры с нарисованным на бортах желтой краской бубновым тузом. Из брошенных пушек номера не успели вынуть замки. Штабелями громоздились полированные черные ящики с непочатыми снарядами. Казаки повернули пушки жерлами на северо-запад. Немецкие орудия залаяли вдогонку своим соотечественникам.

Командира 3-й дивизии генерал-майора Рекнагеля срочно вызвали в главную ставку. На его место заступил полковник Барт. В Саблинском он собирал остатки 50-го и 70-го пехотных полков. Командир 117-го артполка полковник Ферфорт явился представиться новому командиру дивизии без материальной части. Когда-то Барт и Ферфорт были соучениками. Но теперь Барт не пожелал узнать своего академического товарища. Не приняв Ферфорта, он приказал свести уцелевшие орудийные расчеты 117-го артполка в один батальон и бросить его в бой как пехоту.

Перед отступлением команды факельщиков и подрывников зажгли город. В полночь черное пламя взмахнуло к небу. На лиловый снег осыпались золотистые стружки искр. А потом тишину городских кварталов потрясли гулкие взрывы и прошел каменный дождь. Кирпичное крошево припорошило снег. Горячие камни шипели в сугробах. Побежавшая по канавам талая вода несла золу, щепки, клочья окровавленных локутов.

Поджигателей застали казаки первого эскадрона. На рассвете они первыми ворвались в город, рассыпая по улицам четкий подковный цок. Десятка два факельщиков порубили, остальных подошедший Дмитрий Чакан настрого приказал доставить в штаб. Их прогоняли через весь город. Из дворов сбегались

женщины с черными от копоти и слез лицами. Ребятишки узнавали в толпе пленных своих постояльцев.

Немцы несли орудия своего черного ремесла. Высокий сутулый солдат с длинными руками профессионального громилы, держал в руках факел и поливальную лейку. Впереди на куцехвостой лошади ехал конвойный в сером башлыке. Он ни разу не оглянулся, уверенный, что пленные не уйдут: некуда им было уйти, всюду окружала их стена разъяренных людей. Пленные жались друг к другу, пряча глаза. Полы их шинелей были густо забрызганы горячей смесью, которой они обливали дома.

Женщина в черном платье, присев на корточки, рылась в пепелище, разгребала руками горячую золу. Она складывала возле себя сплюснутые кастрюльки, черепки тарелок, осколки зеркала, — все, что было нажито ею за ее долгую жизнь. Подняв от земли безумное лицо, женщина увидела солдата с факелом. Взмахнув концами черного платка, кинулась к немцу. Исступленный крик пронесся в воздухе и ропотом отозвался в толпе людей:

— Он!

Глухо загудев, толпа сдвинулась вокруг пленных. Солдат с лейкой бросился в толпу своих товарищей.

... Под ударами пехоты пали Пятигорск, Минеральные Воды, Черкесск. Вал наступления подкатывался к Армавиру. Между тем танки и казаки стремительно обходили Ставрополь. Навстречу, из донской степи, так победный гром орудий. Все уже стягивалось горло между Сталинградом и Ростовом.

А германские военные сводки все еще ждали отражением минувших призрачных успехов, тщетно вуалируя действительность розовым туманом официальной лжи:

«Из ставки фюрера, 30 декабря:

В районе Терека потерпели поражение сильные, поддержанные танковыми частями, атаки противника. В Сталинграде и в большой излучине Дона советские войска, продолжая атаки, понесли большие потери в живой силе и потеряли 16 танков» («Фелькишер беобахтер», Берлин).

«Из ставки фюрера, 31 декабря:

На Тереке и в районе Дона в упорных боях были отбиты атаки противника. Во время контратаки германских войск была занята новая территория. Взято штурмом несколько населенных пунктов» («Утро Кавказа», Ставрополь).

«Из ставки фюрера, 2 января:

На Восточном Кавказе сильные пехотные, кавалерийские и танковые сое-

динения пытались прорвать германские линии. Все атаки отбиты» («Берлинер берзенцейтунг»).

«Из ставки фюрера, 6 января:

В районе Дона вчера снова с неослабевающей силой велись тяжелые оборонительные бои. Атаки советских войск были отбиты с большими для них потерями. Одна германская танковая дивизия уничтожила при этом 31 танк противника» («Мариупольская газета»).

«Из ставки фюрера, 8 января:

В районе среднего Кавказа, на Дону и северо-западнее Сталинграда германские войска вчера снова вели упорные, но успешные оборонительные бои с сильными пехотными и танковыми советскими частями. На различных участках контратакой германских войск противник был отброшен и понес большие потери» («Neues Wort», Таганрог).

«Сообщение германского командования: В целях сокращения кавказского фронта германскими войсками оставлены города: Георгиевск, Пятигорск и Минеральные Воды» («Утро Кавказа», Ставрополь).

«Из ставки фюрера, 14 января:

Между Кавказом и Доном и в Донской области продолжавшиеся атаки советских войск потерпели поражение» («Берлинер берзенцейтунг»).

«В пятницу утром отходит с ростовского вокзала особый поезд для граждан города Ростова немецкого происхождения на Мелитополь-Рейхенфельд через Таганрог-Мариуполь. Лицам немецкого происхождения — фольксдейтче, находящимся в Ростове, предлагается при всех обстоятельствах воспользоваться этим поездом. Для организации этого поезда все лица германского происхождения должны зарегистрироваться в местах регистрации фольксдейтче» («Голос Ростова», особый выпуск).

Вопреки официальным сводкам для немцев на юге с каждым днем складывалась все более тревожная обстановка. На правом фланге русского наступления назревала реальная угроза рассечения германского фронта на две изолированные части. В то время, как советские стрелковые армии и корпуса продолжали быстрое продвижение вперед в общем направлении Армавир — Ростов, танки и кавалерия, оставив Ставрополь в стороне, приближались к железнодорожной магистрали Сталинград — Котельниково — Тихорецк — Темрюк. С перехватом этой магистрали рушилась последняя надежда германского командования пробиться с юга, извне, на помощь шестой

армии Паулоса, заключенной в сталинградском кольце.

Встревоженное германское командование приняло решительные меры с целью обезопасить свой левый фланг. Помимо действующих здесь двух пехотных дивизий и одной танковой дивизии, в район боев подошла ударная эсэсовская дивизия «Викинг». Подтягивалась также разбитая в предыдущих боях, но получившая к этому времени пополнение людьми и танками «Хеншель» 13-я танковая дивизия генерал-майора фон де Швелери. Наличие силы авиации наращивались новыми эскадрильями, летчики которых до этого летали над ламааншским побережьем Франции, над норвежскими фиордами и песчаными равнинами Голубого Нила.

С утра до ночи в снежной степи гремели разрывы фугасных бомб. Белая искрящаяся пыль, едва осев на землю, снова взмывала, облачками перепархивая с кургана на курган. Казаки часами лежали по шее в глубоком снегу. Оттаивший снег подмерзал, примораживал к земле толы шинелей и чекменей, концы башлыков. То там, то здесь на белой целине огненно вспыхивали пятна крови.

... Чакан удерживал в балочке бунтующих лошадей. Раскалостые разрывы сотрясали степь, в балочку скатывались по склонам глыбы земли, обезумевшие лошади рвались из рук коноводов. Сначала то Чакан, то черноусый казак, передавая друг другу лошадей, попеременно бегали прятаться в мелкий, пригруппенный снегом окопчик, но потом это им надоело.

— Больше не побегу! — ожесточенно сплюнув, сказал Чакан. — Как положено мне погибнуть, так куда я от смерти не скорююсь; а если не положено — значит, буду живой.

Редко перепадали минуты затишья. Самолеты, сбросив свой смертоносный груз, облегченно завывая, уходили на запад, чтобы вскоре снова показаться из-за степного гребня.

В одну из таких тихих минут Чакан увидел — идет по дороге маленький старик в тулупчике и с дорожным попошком. Вся дорога изрыта фугасками, а старик правится прямо по ней, никуда не сворачивая.

— Хоронись, дед, сейчас опять будут кидать! — кричали старику лежащие по обочинам дороги казаки.

— Пускай кидают, — беспечно отмахивался старик. — Раз судьба пожела-

ет меня смертью поразить, то она меня повсюду найдет — и на дороге, и сбоку нее. А лежать тут рядом с вами да животом снег треть мне дело не влит.

«Ведь вот чудной дед! — с невольным уважением подумал Чакан о старике. — А насчет смерти он верно сказал. Скажи, прямо в мою душу заглянул».

Проходя мимо балочки, старик остановился и, обратившись к Чакану, спросил:

— Милый человек, где мне тут вашего главного начальника найти?

Чакан, никогда не забывавший поддерживать свое достоинство, с важностью тронул рукой пушистые усы:

— А какого тебе начальника нужно, дед? Если, скажем, в этой балке, то тут я самый главный.

Но старик, как видно, был замешан из того же теста, что и Чакан. Потрогав руками седенькую веселую бородку, он окинул Чакана умными насмешливыми глазами.

— Это точно, что ты, папаша, главный начальник. Но только, знаешь, над кем?

— Над кем?

— Над хвостами.

— Как?

— А так, — не моргнув, пояснил старик. — Вижу твое ремесло — за лошадыми присматривать и щеточкой у них под хвостами выскребать. А мое дело не хвоста, а большой головы требует.

— Проваливай ты, дед, со своим делом, — страшно обидевшись, сказал Чакан, — а то я тебя, должно, ознакомлю с этой штукой, — он выразительно потрогал рукой приклад карабина.

— Убить ты меня можешь, — с живостью возразил старик. — Но от этого всему отечеству ущерб будет. Я помру, и со мной помрет очень важный секрет, который я должен вашему начальнику доложить.

Чакан с недоверием посмотрел на старика. Чорт его разберет, этого дошного деда! Глаза у него хитрые и бородка, как у попа; с такими чтобы разговаривать, нужно луд соли съесть. Может и правда у него есть какой-нибудь важный секрет?

— Проводи его, Куприян, в штаб, — неохотно сказал Чакан черноусому казаку.

— Вот и давно бы так, — обрадовался старик. — Пойдем, Куприян, — он фамильярно тронул черноусого казака за рукав.

По дороге в штаб эскадрона старик проворно вертел из стороны в сторону

своей сухонькой головой, неумолчно разговаривая с черноусым казаком обо всем, что приходило в голову. Вскоре они пришли на хутор, забитый машинами, повозками и лошадьми. В садовках, на огородах стояли пушки, к стогам жались танки, притрушенные сверху сеном. Дымились кухни, распространяя аромат наваристых красноармейских щей.

— Это, братец, танки? — с интересом спрашивал старик.

— Танки.

— А это что? — старик указал на машину, обтянутую серым брезентом. Черноусый казак покосился на него. Чрезмерное любопытство старика рождало смутные подозрения.

— Батюшки, да это никак «Катюша»! — старик попытался отвернуть угол брезента.

— Не трогай, дед, — сурово сказал Куприян.

— Хотя бы одним глазком взглянуть! Как же так, проходить мимо такой диковинки, и не посмотреть! — старик, вздыхая, топтался возле машины.

— А ты, дед, не шпион? — неожиданно спросил Куприян.

— Шпион, — охотно согласился старик. Он весело посмотрел на опешившего казака. — Шпион, — повторил он, торжественно подняв вверх указательный палец с желтым ногтем. — Я с малолетства хожу по земле и за всем наблюдаю, за жизнью шпионо. Все-то мне интересно разузнать, своими глазами посмотреть. Как трава дышит, как птичка гнездо собирает, откуда родник из земли берется. А если бы я всего этого не примечал, то и жизнь мне казалась бы очень скучной. Человек живет один раз, и глаза ему дадены, чтобы он ими видел, уши, чтобы слышал, ноги, чтобы ходил. Вот я с малых лет и хожу по земле и присматриваюсь, где как люди живут, откуда великого ума набираются. Много я на своем веку повидал. Если бы все это вместе сложить, то в мешок не влезло бы. А все мне кажется, что мало, и все бы я еще и еще смотрел. Ноги старые стали, а я им покоя не даю. Вот человек половину своей жизни спит, как сурок. Сколько бы он за это время успел по земле постранствовать, разных диковинок повидать! Ты вот, братец, не дал мне на эту штуку посмотреть, и с этой секунды покоя меня лишил. Покуда я не узнаю, что за штука под этим парусом сидит, ночи не буду спать! Такой у меня с малолетства характер.

— Даже ты любопытный, дед, — с удивлением сказал Куприян, проникаясь уважением к своему необычному собеседнику.

— Любопытный, — поддакнул старик. — Я через свое любопытство и в немецкую оккупацию попал.

— Как так? — озадаченно спросил Куприян.

— Очень просто. Я как хуторской письмоносец в колхозном активе состоял. От немцев мне милости никак ожидать не приходило, и колхоз мне на эвакуацию хорошую лошадку дал, деньжонками снабдил. Все так и решили, что я уеду... да не вышло. Я за свои шестьдесят семь лет и китайцев повидал, и французов, и даже негра в Москве на сельскохозяйственной выставке повстречал, а фашисты для меня были в новинку. Прежних немцев видал, а гитлеровских не приводилось.

— И привелось? — сурово спросил Куприян.

— Привелось. На разных землях непохожие люди живут и все на разных языках говорят, а все же каждый человек свой труд на общую пользу кладет и, как пчелка, свою долю в улей сносит. В прежние времена люди тоже ссорились, сходились войнами и убивали друг друга. Волк ведь тоже норовит овечку зарезать. Ну, так волк терзает свою жертву с расчетом, чтобы с голоду не околет. А тут, я вижу, стали немцы истреблять русских людей для простого интереса. Старый или малый перед ним. — ему все равно, кого жизни лишит. Убить человека для немца — как стакан воды выпить. Вижу я, что они без этого — дня не могут прожить. Эге, думаю, так они могут весь человеческий род перевести. С утра до ночи кругом летят кровь. За себя не боюсь, я свое отжил, но мне обидно за безвинно погибших людей. Это верно, что немцы с виду чистые и каждое утро себя разными пахучими мазями натирают, ну, а про остальное и не говори. Наш постоялец при моей старухе по комнате без порток расхаживал. Старуха тут же по хозяйству топчется, а он и глазом не поведет, будто она — пустое место. За полмесяца комнату загнил, как мушкетер. Окурки в пепельницу складал, а по кровати вши табунами командировались. В полдень выйдет на порожек за малой нуждой и у всех на глазах поливает грядку, а если, не дай бог, ему покажется, что моя старуха плохо подмела в комнате, он берет ее рукой за шею, тычет носом в утлы и кричит: «Никс культур, никс культур!» И все товарищи у него такие же были. Только и знали, бывало, что жрут с утра до вечера. Масло прямо руками хватали, а яйца сырыми заглатывали.

Старик помолчал и, передохнув, продолжал:

— Обида меня взяла на немца за русских людей, и решил я ему за это жестоко отомстить.

Куприян снова с недоверием посмотрел на своего словоохотливого спутника. Уж не диверсант ли, в самом деле, этот языкастый дед? Надо за ним присматривать в оба. Может, он своими сказками людей путает, а сам, между прочим, по дороге все высматривает и примечает.

Перехватив его взгляд, старик понимающе усмехнулся.

— Ты, небось, думаешь, что я тебе басенки говорю? Какую, мол, мечь германцу такой дед может придумать? Но это ты, братец, ошибаешься. Мечь я германцу придумал, знаешь, какую?... — старик лукаво посмотрел на казака.

— Какую?

— Ну, этого я тебе, братец, не скажу. Твой дружок тоже намерялся у меня выпытать, но я его в момент раскусил. Мой секрет у меня вот где сидит, — старик похлопал себя рукой по карману тулупа. — Веди меня, братец, поскорее в штаб, я там вашему начальству все в подробности доложу.

Но в штабе эскадрона, куда Куприян привел своего неутомимого собеседника, старик ничего рассказывать не стал. С сомнением он посмотрел на безусое лицо Дмитрия Чакана.

— А скажи, сынок, над побой кто-нибудь поглавнейше есть? — осторожно спросил старик.

— Ты мне не папаша, а я тебе, дед, не сынок. Выкладывай, зачем пришел, — сурово ответил Дмитрий.

— Ничего я тебе не выложу. Веди меня к своему главному начальнику, — решительно заявил старик...

— Не дури, дед, я таких шуток не люблю!

— Это ты меня не дури, — обиделся старик. — Ничего я тебе не расскажу, сынок. Не твоего молодого ума это дело.

Казаки, бывшие при этом, ждали: сейчас Дмитрий выгонит злоязыкого старика. Но Дмитрий неожиданно улыбнулся. Старичок напомнил ему отца. Зная недюжинный ум отца, Дмитрий пришел к выводу, что уж если этот старик так настойчиво пробивается к высокому начальству, то, значит, у него что-нибудь есть. Понравилось Дмитрию и то, что словоохотливый старик умеет, при случае, держать язык за зубами. В этом он отличался от отца, у которого никакие секреты не держались на языке. А во всем остальном и по внешности тоже они были удивительно похожи. Доверие родилось в душе

Дмитрия. Что могло заставить старика в холод, в мороз искать советский штаб? Бой еще гремит вокруг хутора, а он пренебрег опасностью ради какого-то неотложного дела. Может, оно и вправду важнее, это дело. «Отправляю-ка я его к Луговому. Да Лугового сейчас, кажется, нет, он уехал по эскадронам, а Синцов еще, чего доброго, не выслушает старика и вытолкает его вон. Нет, пускай проводят его к Рожкову. Тот большой мастер с людьми беседы вести.» — думал Дмитрий.

— Отведи, Зеленков, его в штаб дивизии.

Старик и Куприян вышли.

— Ох, и вредный же ты, дед! — со злостью сказал Куприян на крыльце.

— Это почему?

— А потому, что неуживчивый у тебя характер, и через это я должен по такому морозу пять верст до штаба дивизии топать. И чего тебе не рассказать твоего особого секрета нашему командиру эскадрона? Ты не гляди, что он молодой, он у нас очень сурьезный человек. Или он тебе не понравился?

— Не понравился, — отрезал старик. — Я вежливое обхождение люблю и человеческое уважение понимаю, а он ко мне сразу с грубостями подступил. Я в нашем колхозе, когда письмоносец состоялся, к ласковому обращению привык. Письмоносец — должность хорошая, ходишь себе пешечком из района в колхоз, многое повидаешь, со многими хорошими людьми поговоришь. А новостей я каждый день кучу узнавал. Через это я и должность свою полюбил. Занесешь человеку письмецо, а он за стол тебя усадит, чайком угостит. И все норовит с лаской подойти, не знает, чем еще потрафить. «Пожалуйте, Федот Гаврилович, медку, скушайте, Федот Гаврилович, блинчик». Но больше я сам людям письма читал, и они меня за это до невозможности уважали. А русская земля большая, и письма в наш хуторок с разных концов страны приходили. У одного дочка в Ростове на врача учится. У другого сын на Дальнем Востоке пограничником служит, у третьего — вокруг света плавает, моряк. Бывало, за один день столько о людях и о разных диковинках узнаешь, сколько другой человек — за всю свою жизнь. Да, братец мой, хорошо мы до немца жили. У нас хутор хоть и маленький, а всего было в достатке — и хлеба, и мяса, и культуры. Не такой, как у немцев, а без подделки. У нас и школа была, и пасека, и кино, и медпункт. Красивая была жизнь. Сейчас ничего этого нет, все немцы загадили и огню предали, а в школе конюшню открыли. Я на

свой хутор без душевной тоски не могу смотреть.

— А скажи, дед, вернется она к нам обратно, эта жизнь? — дрогнувшим голосом спросил Куприян.

— А то как же, конечно, вернется, — с удивлением ответил старик. — У меня наши хуторские, когда немец был, тоже каждый божий день спрашивали: «Скажи, Федот Гаврилович, скоро ли вернется наше счастье?» А я им, бывало, отвечаю: «Потерпите еще немножко, вернется, разве может быть иначе? Ведь после темной ночи всякий раз белый день, настает, и никто не в силах этого изменить».

Старик умолк. Всю оставшуюся дорогу он шел молча. Вытягивая из воротника тулупа сухонькую шею, зорко примечал: и черный остов сгоревшей машины, сползшей в кювет, и стаканы расстрелянных снарядов, рассыпанные по целине, и полузанесенную снегом пушку. Остановился перед изуродованным немецким танком. Танк вылез на вершину кургана и неуклюже застыл там, остановленный лобовым попаданием артиллерийского снаряда. Черный корпус был размечен мощной волной взорвавшихся от детонации снарядов. Далеко в окружности лежали куски искоробленного металла, раскиданные гренадой силой взрыва. Лишь на бортовой, изрешеченной пробойнами броне случайно уцелел германский опознавательный знак. Еще издали от кургана был виден желтый крест, яркий и зловеще чуждый русской заснеженной, несбыточно мягкой и удивительно красивой в своем зимнем наряде степи.

— Ка-ак его! — с изумлением сказал старик. Он два раза обошел вокруг танка, дивясь разрушительной силе шупечного удара, уничтожившего грозную машину.

Куприян поднял с земли противотанковый снаряд, протянул его старику:

— Вот.

— Что?

— Вот этой штукой и разбило танк, — пояснил Куприян.

— Этой гонюсенькой? — с сомнением переспросил старик, рассматривая снаряд. Потом, что-то прикинув в уме, сунул снаряд в карман тулупа и глабокомысленно сказал:

— И то ведь правда! Пуля, она вон какая махонькая, человек в миллионы раз поболее ее, а смерть от этой крохотки свинца принимает. Человек от пустяковой болячки может помереть, от ветерка. Непрочная человеку дана жизнь.

Рассуждая о бренности людского существования, старик настроился печально. Но тут же повеселел, увидев сбоку дороги яркий клочок проглянувшей из-под снега травы.

— Травушка-муравушка, — наклоняясь к земле, растроганно сказал старик. — Кругом мороз лютует, а ты неко времени к солнышку тянешься, весну чувствуешь. Вот я тебя снежком пригорну, от стужи укрою, и проживешь в тепле до весны. А там сызнава выглянешь, полюбуешься на мир и покажешь людям свою красоту.

Старик посошком осторожно нагреб на траву снег. «Чудной человек», — поглядывая на него, думал черноусый казак.

На немецкие трупы, лежащие справа и слева по обочинам дороги, в кюветах, в снегу, старик смотреть не стал.

— Не заслужили они того, чтобы на них смотреть, — сказал он, брезгливо обходя их стороной.

В штабе дивизии Рожков усадил старика на стул, приказал ординарцу принести чай. Остроглазый старичок понравился ему с первого взгляда. Рожков любил таких бывалых людей, спранствующих налегке по русской земле. Осведомившись о том, как его зовут, Рожков поинтересовался, откуда старик держит путь.

— А из Белой Глины. Тут сорок верст, — отхлебывая чай из блюдечка, ответил старик. Ординарец положил на стол пригоршню сахара, но старик взял только один кирпичик и откусывал от него маленькими кусочками. Зубы у него были белые и твердые.

— Ты что же, Федот Гаврилович, через линию фронта перешел? — спросил Рожков.

— Перешел.

— Ползком?

— Зачем ползком? Взял посошок и иду. Когда я по балочке германские позиции миновал, они меня заметили и стали стрелять. Я вижу, мины близко от меня начинают падать, прилягу на земле и чуюток пережду. Земля-матушка справедливого человека всегда своею грудью оборонит. А меня в этой степи каждая былиночка, каждый кустик знают и всегда приютят. Как чуюточку ослабнет огонь, я поднимаюсь и опять иду. Потому не было мне никакого расчета лежать. Надо было мне через фронт командироваться по очень сурьезному делу.

— По какому же такому делу, Федот Гаврилович? — улыбнувшись, спросил Рожков. Старик ответил не сразу. Он допил стакан чаю, аккуратно собрал со стола оставшиеся кирпичики сахара и сунул их в карман.

— Моя старуха тоже большая чаевница, — проговорил он при этом.

Во всех повадках старика проявлялся хозяйственной струнки человек. Он, Рожков, ведь тоже был крестьянином. Пятилетним мальчишкой, бывало, играя со сверстниками на улице, найдет ржавый гвоздь или старую, стершуюся подкову — завернет и принесет домой. «У моего Сережки ничего промеж пальцев не проскользнет», — любил говорить отец.

А старик не торопился приступать к разговору. Аккуратно струсив со стола крошки сахара и бросив их в рот, он спросил:

— А вы кто же будете, товарищ начальник, если это не секрет?

— Генерал, — ответил Рожков. Он быстрым взглядом окинул свои плечи с новенькими, переплетенными золотой ниткой погонами. Как все казаки, был он тщеславен и, не скрывая этого, любил почет.

— Ге-не-рал? — протяжно переспросил старик. Впервые в жизни ему довелось увидеть живого советского генерала, и не только увидеть, но и пить с ним чай за одним столом. — «Вот порасскажу на хуторе!», — подумал старик. Но тут же, боясь уронить свой авторитет, он принял невозмутимый вид.

— А вы кто же будете по должности, господин генерал?

— Командир дивизии. Господином ты зря, Федот Гаврилович, меня назвал. Как были все товарищи, так и остались.

— А над вами в этой округности кто-нибудь командует, товарищ генерал?

— Командует, — Рожков начинал догадываться, куда клонит его гость: непременно хочет пробиться к самому главному начальству.

— А над этим человеком тоже кто-нибудь повыше есть? Самый главный над всеми вами кто?

— До него, Федот Гаврилович, далеко итти, — улынулся Рожков. — Самый главный у нас товарищ Сталин.

— Вот товарища Сталина я еще не видел, — вздохнул старик. — К Ленину с крестьянской делегацией ездил, а до товарища Сталина еще не дошел. Но непременно дойду. Ноги у меня крепкие, далеко понесут. Вы не смотрите, что я старый, я живучий...

«Видю, что живучий», — подумал Рожков. Старик, казалось, вышел из самой земли, вырос вместе с травой. Глаза его искрились лукавым умом.

— Зачаевничал я с вами, — засуетился старик. — А мое дело никак протяжки не терпит. Прикажите, товарищ генерал, чтобы меня проводили к на-

чальнику постарше. Мне к вечеру нужно обратно в свой хутор поспеть.

— Дайте ему провожатого в штаб корпуса, — сказал Рожков адъютанту.

— Провожатый у него есть, — заметил адъютант.

— Кто?

— Казак Зеленков, он его сюда довел.

— А-а, урюпинский, знаю, знаю! Он наш сосед. Хороший казак. Пусть он его и дальше проводит.

— ... Ох, и навязался же ты на мою душу, дед! — сказала Куприян водворе. — Ты у генерала сладкие речи гутаришь да чай распиваешь, а я круглый час, тебя дожидаячи, на морозе простоял. Через тебя и обед прозевал, и мозоли с кулак на ногах натер. Это пехота пешком ходить привычная, а мы больше все верхом.

— А ты, братец, привыкай, — отечески заметил старик. — На лошади всякий умеет кататься, а вот ты на своих ногах, которыми тебя господь наградил, попробуй вокруг земной планеты обернуться! Сколько вот я ни хожу, а все ходить хочется.

— Ты, должно, дед, и в могиле будешь ногами дрыгать, — язвительно сказал Зеленков.

— И буду! А тебя, Куприян, верхом что ли на жеребце похоронят?

— Что-ж, это не плохо, — серьезно сказал Куприян. — Конь — первый товарищ в походе и в бою. Мне радостно будет с ним рядышком в земле лежать.

Сломленный усталостью последних двух ночей, Милованов дремал в штабе. На секунду оторвавшись от карты, он присел на лежанку и уронил на подушку голову, налитую бессонницей. Засыпая, он едва помнил, как Зоя осторожно укутала ему ноги буркой. Колесики на шпорах у Зои нежно и мелодично позвякивали. Их звон сплетался в его сознании с далекой канонадой, с пулеметной трескотней, с ревом самолетов, проносившихся на бреющем полете над крышами домов. Потом все смолкло. Только нежный серебряный звон.

Сквозь сон Милованов услышал шум за дверью, возню, сердитые голоса.

— Он спит, — приглушенно говорил Зоя. — Понимаешь, дед, русский язык или нет? Подожди часок.

— Не могу я ждать, — неуступчиво дудел другой голос, тонкий и пронзительный. — И ты меня, хлопчик, русскому языку не учи. Мое дело никак не терпит, и мне не резон целый час твоего начальника ожидать, покуда он от сна восстанет. А ежели ты опас-

ешья его разбудить, то это я сам смогу.

— Ты в своем уме, дед? — с возмущением говорил Зоя. — Как ты его станешь будить? Ведь он генерал.

— Так что-ж что генерал? Нехай его немец боится. А со мной генералы за ручку здороваются и к столу приглашают. Не торчи, хлопчик, на пороге. Пропускай до своего начальника.

— Не пуцуй! — решительно отвечал Зоя.

— Ну, тогда я сам пойду!

— А этого не пробовал, дед? — слышно было, как Зоя пощелпала рукой по прикладу маузера.

Милованов встал с лежанки, приоткрыл дверь, строго спросил:

— Что за шум?

На пороге стоял маленький старичок в капелюшке и в белом овчинном полушубке.

— Вот и я говорю, чтобы он на меня не шумел, — быстро заговорил старик, протискиваясь в комнату. — А он шумит и грозит меня из этой штуковины застрелить. Но я, между прочим, под убийственным огнем через немецкий фронт перешел и не испугался, а этой его игрушки и подавно не боюсь...

Милованов с удивлением смотрел на непрощенного гостя. За плечами старика была котомочка, а в руке дорожный посошок. Маленький, тулупчик аккуратно заштопан белыми нитками. «Как из Юказки», — улыбнувшись, подумал Милованов.

А старик уже поставил свой посошок в угол, снял с плеч котомочку и положил на пол. Милованов выжидающе смотрел на старика. Расстегнув тулуп и сняв с головы капелюшку, старик вскинул на Милованова глаза.

— Нужно мне вашего главного начальника повидать. Кто он такой?

— Я, — сказал Милованов.

Старик с недоверием оглядел Милованова. Они были почти одного роста. Нет, Милованов решительно не был похож на старшего из старших, кого так настойчиво искал дед. Однако, взглянув в глаза командира, старик успокоился. За долгую свою жизнь он научился оценивать людей по одному взгляду. «Он, — убежденно решил старик, — он и есть главный в этой окружности начальник».

— Насилу пробился к вам, — засуетился старик, — не хотели пропускать. Кабы не дело...

— Какое дело?

Старик вынул из кармана красный сборчатый кисет. Распустив шнурок, стал вытряхивать на стол. Вместе с

махоркой упала на стол сложенная в несколько раз бумажка. Старик аккуратно расправил ее пальцами.

— Вот, — сказал он, бросив на Милованова быстрый взгляд. — План.

Лист был густо испещрен значками, крестиками, квадратиками, кружками. Всматриваясь, Милованов перевел взгляд на развернутую на столе полевую двухверстку.

— Это Белая Глина?

— Она самая, — рассмеялся старик мелким, рассыпчатым смешком. — Я ее здесь в точности срисовал. И в кисет положил, чтобы, значит, если бы меня немцы захватили, когда я через фронт переходил, то пускай бы они подумали, будто это курительная бумажка. Наш хутор от этой станицы в пяти верстах. Вот это элеватор, это мельница, а это станция, — старик тыкал пальцем в крестики и в квадратики на листе.

— А это? — низко склоняясь над столом, спросил Милованов.

— Здесь у них пушки стоят. На этом краю, как от Тихорецкой на Сальск ехать, у них в аккурат двенадцать орудий стоят. Три возле школы и по три через каждую улицу на огородах. А на том краю, как из Сальска ехать, шесть танков закопаны. Тут у них снаряды сложены, а в батюшкином доме, возле церкви — штаб. Он на пригорочке стоит и, если б по нему из пушки ударить, можно с первого выстрела разбить.

— А где у них мины заложены, вы не замечали? Чтобы наши казаки по безопасной тропочке к самой станице подошли...

— И об этом я подумал! — подхватил старик. — С этого краю Лыса балка есть. Она к самой станице подбегает. Никаких тут мин нет, это я в доподлинности знаю, и по этой балочке тишком можно к немцам прямо с черного хода зайти. Они и вполоситься не успеют. Да я сам могу вас по этой балочке провести.

Милованов с волнением смотрел на умное лицо старика. Он обо всем подумал и все предусмотрел. Бесстрашно перешел линию фронта, чтобы помочь армии. Только сейчас Милованов заметил, как измождено и измучено лицо старика.

— Нужно поспешать, — забеспокоился старик. — Мне знакомый мирошник сказал, что завтра немцы должны мельницу и элеватор адской машинкой взрывать. А там — этот же мирошник говорил — побольше чем пятьдесят тысяч пудов зерна будет. И на станции составы с машинами и танками стоят, они их собираются утянуть. Я вчера самолеч-

но все вагоны пересчитал. Двести сорок шесть вагоночков, как один. А в тюрьме утром людей, какие с ними не согласные, должны казни предать. Если вы к утру не поспеете — пропали люди.

... Весь день 25 января под Белой Глиной гремел бой. К вечеру двенадцатая дивизия решительной атакой овладела станцией. План атаки новый командир дивизии Григорьев, назначенный вместо уехавшего в штаб фронта Шарабучко, построил так, чтобы нанести противнику одновременный удар с трех сторон. Один полк обошел станцию с востока, в то время как другой полк перерезал железную дорогу, ведущую на запад. Третью группу казаков давешний старик провел по балочке в тыл к немцам.

Ошеломленные атакой солдаты германской танковой дивизии и 444-ой охранной дивизии разрозненными группами бежали в единственный оставшийся для них узкий проход. На белоглинском элеваторе эскадрон казаков вырубил до последнего человека команду подрывников, в то время как она закончила приготовления к взрыву. Под копытами казачьих лошадей хрустела золотистая крупнозерная пшеница. Из ворот станичной тюрьмы волной выливались люди, не чаявшие своего избавления, ждавшие смерти с часу на час. На станционных путях стояли эшелоны с немецкими танками, с норвежскими сардинами, с голландским шоколадом, с кавказским урюком. В розовых, пронизанных лучами закатного солнца клубах пара стояли паровозы.

Милованову в этот день так и не удалось уснуть. Вернувшись из поездки в дивизию, он задремал на КП, но его разбудил начальник штаба Ванин.

— Станция взята, перерезана железнодорожная магистраль Сталинград—Тихорецк.

— Трофеи? — быстро спросил Милованов.

— На элеваторе и на мельнице захвачены пятьдесят тысяч пудов зерна. На станции — двести сорок шесть вагонов с военным грузом.

«До последнего вагона сосчитал», — с благодарностью подумал Милованов о старике.

X

На фронте жизнь каждого человека на виду у всех. И часто там велеречивый герой оказывается трусом, а настоящая красивая душа проявляется в самом скромном человеке.

В походе люди сближаются, честные натуры роднятся кровью, эгоисты изгоняются, как сорная трава. Все радости и горести делаются сообща. Сердце каждого человека открыто для всех.

Очень скоро чувства Лугового и Марины перестали быть секретом для других. Серую лошадь Лугового все чаще видели у брезентовых палаток госпиталя. Медицинская сестра Фрося каждый день передавала Луговому привет от Марины. Остапчук нашел в Марине верную сообщницу, которой он мог пожаловаться на своего начальника, безрасудно горячего в бек. «Твой Остапчук — просто чудо» — говорила Марина Луговому.

Синцов, зная Марину, выбор Лугового одобрял. И даже Чакан, строго наблюдавший за сыном, ни слова не сказал в осуждение командира полка.

— Вот и наш себе бабочку заимел, — сказал Чакану Зеленков.

— Нет, это, Куприян, не тс. — строго ответил ему Чакан. — Бабочка, это когда у него дома жена, а он тут другую свадьбу завел. А тут, видать, дело сурьезное. Луговой человек холостой.

— Так она замужняя. Он ведь об этом должен знать.

— И это не резон. Наша врачиха женщина чистая, и худого я про нее не слышал.

— Фроська тоже девка чистая, а ты что про нее говорил? — с ехидством заметил Зеленков.

— И ничего я такого не говорил, — сердито ответил Чакан. С того дня как Фрося на глазах у всего полка вынесла из огня раненого казака, он стал иначе относиться к привязанности своего сына.

Почти девочкой Марина познакомилась со своим будущим мужем. Не раздумывая, вышла за него замуж. Он ей показался лучше его товарищей — студентов, занятых лекциями и зачетами.

— Оксичим институт, уедем в село, ты будешь заведывать больницей, а я буду лечить женщин, принимать у них малышей. Как это хорошо! Правда, Аркадий? — говорила Марина.

— Да, конечно, — небрежно отвечал он, надеясь, что этого никогда не случится. Потом вдруг предложил ей бросить институт. Она отказалась. «Дурочка, ты ночей не спишь. Зачем тебе это?» — «Ты не понимаешь», — сказала Марина. Бросив институт, он стал работать в торговом тресте. Принесил ей туфли, духи, отрезы креп-де-шина. Марина дорогие платья надевала редко, чувствуя себя в них так, словно она в чем-то обкрадыва-

ет своих подруг, которые ходили в институт в простеньких ситцевых блузках. «Не умеют жить», — иронически говорил Аркадий.

Когда началась война, Аркадий несколько дней ходил озабоченный. Но потом пришел домой с радостным лицом. «Мы эвакуируемся с трестом в Среднюю Азию». — «Я никуда не поеду, — сдвинув брови, Марина отрицательно покачала головой. — Я ухожу в госпиталь».

Напрасно он убеждал ее, просил пробыл припугнуть опасностями военного времени. Она никогда не изменяла своему слову. Тогда, быть может, сломленный ее упрямством, он пошел в военкомат. Его зачислили в ту же часть, в которой служила в госпитале Марина, и он стал работать интендантом. Но уже словно что-то надломилось в душе Марины, и она не смогла смотреть на своего мужа такими же глазами, какими смотрела раньше. Она ушла от него, и, служа в одной части, они стали жить порознь.

В Луговом Марина чутьем женщины угадала строгую чистоту души.

Сначала она подумала, что он бывает таким только с ней. Но он был одинаков и с ней, и с казаками, и с ординарцем. Он глубоко переживал свое горе. Марина подумала, что так чувствовать горе может только честный человек. Ее растрогало то доверие, с которым он приоткрыл перед ней завесу своей души.

Она не испытывала вины перед своим мужем. Они стали чужими людьми. Но он сам пришел к ней. Она стояла на коленях перед раскрытым чемоданом. В свободные минуты она любила перебирать свои блузки, студенческие тетради, думать об институте и подругах.

Она не заметила, что он вошел в ее комнату.

— Ты одна? — спросил он вкрадчивым голосом. — Я все знаю. Теперь мне все ясно.

Она медленно и густо покраснела до светлых завитков на висках.

— А ты недурно устроилась, милочка, — сказал он, окинув комнату хозяйственным взглядом. — Я думаю к тебе перебраться.

— Уходите отсюда, — низким голосом сказала Марина, говоря ему «вы».

Он остановил на ней злые, округленные глаза.

— Ты... — он бросил ей в лицо грубое слово.

— Сейчас же уходите! — повторила она высоким голосом, меняясь в лице.

В эту минуту подъехал Луговой. Призвав лошадь к дереву, он всходил на

крыльцо, чувствуя, как весь он переполнен счастьем. Услышав в комнате Марины голоса, он решил не входить. У него было такое ощущение, будто его кто-то жестоко обокрал. «Уходите сейчас же!» — послышался взволнованный голос Марины. Чувствуя смутное беспокойство, он открыл дверь и увидел интенданта. Он сразу все понял.

— Уйдите! — очень тихо сказал интенданту Луговой, оставляя ему узкий проход в двери.

— Понимаю... я помешал, — остановившись на пороге, насмешливо сказал интендант.

— Я вас убью, — глухо сказал Луговой, приближая к нему остемневшее от гнева лицо.

— Сергей! — испуганно вскрикнула Марина.

Интендант быстро вышел, захлопнув за собой дверь.

В этот день в Белой Глине съехался весь офицерский состав. Милованов собрал командиров для того, чтобы прочитать им новый приказ. Луговой приехал позже других. В большой просторной комнате штаба вдоль стен рассаживались офицеры, придерживая руками шашки. В воздухе плыл звон шпор, пробиваясь сквозь слитный гул голосов.

Луговой видел, как в самом начале к Милованову подошел интендант и что-то говорил ему с бледным, оскорбленным лицом. Милованов слушал, покачивая голову и нахмурив брови. Один раз он нетерпеливо повел головой. Луговой расслышал обрывок фразы:

— ...трудно верится. Я другого мнения о нем.

Луговой густо покраснел, поняв, что речь идет о нем. И ему стало мучительно стыдно за свой сегодняшний разговор с интендантом.

— Это вопрос моей чести. Я прошу вас... — явственно сказал интендант.

— У вас странные понятия о чести. Мне передавали, как вы отнеслись к раненым. Вы отказались взять их в машины! — Милованов круто отвернулся, оборвав разговор. Интендант немного постоял возле него и отошел к стене с побледневшим лицом.

— Что с тобой? — участливо спросил Лугового полковник Завалов, заглянув ему в лицо. — Ты не болен? У тебя очень плохой вид.

— Прошу, — негромко сказал Милованов, остановившись у стола. Голоса смолкли, глаза устремились к нему. Быстро Милованов окинул собравшихся

в комнате людей. «Приоделись, подтянись, возмужали в бою. Настоящие офицеры», — удовлетворенно подумал он. Луговому показалось, что Милованов больше чем на других задержал на нем свой взгляд. И неожиданно Луговой вспомнил слова Фроси в роще. Острое чувство вины перед всеми с большой силой охватило его.

— Сыны казачества, мы вступаем на Дон, — читал Милованов в настороженной тишине.

— ... на Дон, — растроганно прошептал Рожков, сидевший сбоку от Милованова.

— ... за поруганные станицы и хутора, за наших жен и детей! — повысив голос, раздельно продолжал Милованов.

За окнами в отдалении глухо погромыживали пушки. В голубом переплете рамы виднелась окраина заснеженной степи. Чернеющие на гребне купы левад сообщали ей непередаваемую прелесть. На лицах казачьих офицеров проступало волнение. У молоденького капитана, сидящего в углу, вздрагивали лежащие на коленях руки.

— Освободим святую землю предков! — отчетливо закончил Милованов, подняв на присутствующих твердые, посветлевшие глаза.

— ... предков! — нечаянно уронил Рожков среди тишины.

Луговой чувствовал, как волнение слезмой сжимает его горло. С детства оторвавшись от станицы, Луговой привык считать себя городским человеком, но кровное, свое, нет-нет и властно давало о себе знать. Магическая сила была в этой родной, поросшей серым полынком, истолченной конскими копытами и политой кровью воинственных предков донской, казачьей земле.

В углу беззвучно плакал молоденький капитан, не стыдясь своих слез. У соседа Лугового, зотовского казака полковника Завалова, кривились уголки губ и влажно блестели глаза.

Расходились в полной тишине. Тихо ступали сапогами. И лишь на крыльце зазвучали голоса.

«Какую силу может иметь этот полынок, эти курганы, эта степь на меня и на них?» — протискиваясь к выходу, спрашивал себя Луговой. Захваченный общим волнением, он совсем забыл о том, что тяготило его весь день. Но у двери встретил быстрый взгляд Милованова. Сжавшись, подумал: вот сейчас будет сказано слово, которое он ожидал.

— Останьтесь, — услышал Луговой.

Они остались одни. За окном разезжались машины, застоявшиеся во дворе лошади уносили офицеров в дивизии и

полки. Опустевшая комната казалась ненужно большой. Под потолком, в углах ползли зыбкие клочья табачного дыма.

— Мне жаловался на вас интендант. — сказал Милованов, посмотрев на Лугового снизу вверх («совсем как Марина», — подумал Луговой). Он стоял ссутулившись, покорно нагнув голову и чувствуя во всем теле странную, томительную пустоту.

— Прошу вас не думать, что я защищаю его, — быстро добавил Милованов. — Но дело не только в нем...

За окном на ветке щебемали снегири. Луговой вдруг отчетливо вспомнил то утро, рощу, сияющую в лучах восхода, и снегирей на белых стволах берез, И предчувствие несчастья овладело им.

— ... Не только в нем, — жестко продолжал Милованов. — Вы оба офицеры и вы должны меня понять.

— Разрешите мне увидеться с ней еще раз? — глухо спросил Луговой.

— Да, да, конечно, — поспешно сказал Милованов, чувствуя симпатию к этому большому, сильному человеку, который сейчас стоял перед ним с потерянными лицом.

После того, как Луговой ушел, Милованов еще долго размышлял над тем, прав ли он был в этом разговоре. Ему казалось, что он незаслуженно оскорбил и принизил этого умного, храброго и скромного офицера. Имел ли он право навязывать ему свою волю? Он никогда бы не задумался об этом, посылая человека в атаку, на подвиг, на смерть. Он управлял страхом, отчаяньем, отвагой людей. В бою должна быть одна воля, властно руководящая поступками людей. В сущности, его воля совпадала с разрозненными желаниями этих людей. Она только объединяла их души в один порыв и давала им цель. Но это в бою. И снова Милованов искал ответа, прав ли он был, навязав свою волю и на этот раз?

«Да, прав», — убежденно решил Милованов. Раз судьба этих людей в его руках, то они должны довериться ему во всем — и в страхе, и в радости, и в любви. Он должен видеть их сердца перед тем, как посылать их на смерть.

В комнату текли сумерки. Где-то жалобно и протяжно ржала лошадь. «Да, это так» — подумал Милованов.

В дверь заглянул адъютант.

— Тут к вам пришла женщина...

— Пусть войдет, — встрепенувшись, сказал Милованов, вставая навстречу женщине в шинели и в серой заячьей ушанке.

★

На развилке дорог, вокруг свежего могильного холма — золотистая россыпь патронных гильз, связки противотанковых гранат, рыхлая борозда — следы недавнего боя. Выгоревшая земля изорвана стальными гусеницами, точно когтями большого, могучего животного. По самую шейку вдавлен в землю расплюснутый ствол пулемета. Рядом чернеет обваленный, разрушенный окоп. Высокий бруствер изрыт гусеницами.

Еще не подмерзла горячая земля, еще припахивает она терпким пороховым дымком и запахом плавленного металла. Темные лужицы крови не успел замести снег. Падающие снежинки тают в них, свертываясь, как белые лепестки.

А поодаль от окопа — обугленные скелеты трех танков. Похожи они на чудовищ в своем последнем прыжке. Один танк, подброшенный силой взрыва, поднялся на дыбы и замер, как монумент. Другой стоит с разбитой, заклиненной башней, похоронив в себе экипаж. По третьему еще бегают угасающие ручейки огня, лижут защитную краску, желтый германский крест. Над мертвыми машинами висит густое, черное облако смрада.

На развилке дорог три бойца встретились с тремя танками. «Не пустим, ребята!» — сказал своим товарищам высокий белокурый сержант. Он был уроженец Дона, казак из станиц Старочеркасской — родины Ермака. В короткие часы затишья между атаками он пел своим друзьям по оружию тягучие казачьи песни голосом чистым, как родниковая струя. Ему подпевал грузин, бронебойщик из городка Гори. Третьим был украинец. «Ось приду до себе на Днипро, та наймся гадушквив», — говорил он друзьям. Он жил в Каневе, у могилы Кобзаря.

Грузин зажег первый танк из своего ружья. Но стальная громадина успела изрыгнуть пламя и опалить стрелка. Он склонил обугленную голову набок, припав к гладкому прикладу черной щекой. В незакрытых глазах отразилось зарево, окутавшее танк.

Тогда, мстя за смерть товарища, на встречу второму танку встал из окопа белокурый сержант. С гранатами на поясе негнувшимся шагом пошел он вперед. Упав под гусеницы, он уничтожил врага и сам принял от него смерть.

Третий танк, бороздя землю, наехал на окоп, в котором оставался последний боец. Танк обрушил бруствер и зарывал окоп. Но когда грохочущая машина пошла дальше, живая могила заколыхалась и из нее встал черный, обсыпанный землей, человек. Уже умирая, он

занес руку для последнего удара, и танк запылал огнем. А человек ошарашенно рухнул в окоп, уткнувшись лицом в землю.

Не увидит его жинка, выйдя встречать на Днипро. Никто не расскажет ей, как сражался и как умер ее муж. Только черная земля, обожженная и разрытая гусеницами вокруг могильного холма, могла бы рассказать...

Проходившие мимо русские солдаты подобрали мертвых бойцов. Отдав им последнюю почесть, они саперными лопатками набросали над их телами могильный холм. Дрогнувшая рука поставила в изголовье могилы белый, обструганный тесором столб. Видишь, товарищ, тебя зовут дощечка на столбе!

«Прохода мимо, остановись и обнажи голову, друг! Мы не знаем их имен, но они умерли, как герои».

... На развилке дорог Луговой остановил коня. Он спешился, закутавшись в бурку, присел возле могилы на заснеженный гребешок кювета. Он потом не помнил, сколько времени просидел там. Вокруг простиралась зимняя, повитая оранжевой дымкой степь. Снег лежал на курганах, на склонах балок, на далеких перекатах, точно лебяжий пух. Он все падал и падал, выстилая степь. Скоро лохматые плечи бурки Лугового стали белыми. Рядом, опустив голову, стояла такая же белая лошадь. От ее спины шел густой пар. По балкам уже ползли лиловые ключья сумеречной мглы.

«Поеду, все расскажу Марине», — решил Луговой.

От Марины он вернулся уже поздно вечером. Остапчук, ожидая его, принимался несколько раз подогреть ужин. Но Луговой не притронулся к еде. Он прошел через переднюю в свою комнату и, не раздеваясь, лег на кровать. До полночи без сна пролежал вверх лицом. «Мы должны отстаивать свое счастье», — утешал себя в ушах маринин голос.

Он забылся тяжелым сном, когда пришла Марина. Ее встретил Остапчук.

— Приехав черный як хмара, мовчиг, ничего не ист, шо з ним нияк ни зрозумію, — горестным шопотом сказал он Марине.

Услышав шорох, Луговой проснулся. — Кто? — спросил он строго.

— Это я, Марина.

— Ты? — спросила Луговой, быстро вставая с кровати.

— Да. Я была у него, — посмотрев на Лугового снизу вверх, сказала Марина.

— Ты была у него?

— Да, да. — быстро заговорила Марина. — Я ему рассказала, он все понял.

Он стоял не отвечая. Его вдруг снова охватила волна горячего счастья.

— И ты бы мог так легко отказаться от меня? — ступив шаг к нему, с упреком сказала Марина.

Он молча считал шаги, которые еще отделяли ее от него. Это от нее шло ощущение счастья!

— У тебя седые волосы, — сказала она, дотронувшись до его виска.

XI

Дивизия Рожкова оторвалась от главных сил и клином ушла вперед. Проходили хуторами, нескончаемо тянувшимися по длинной балке один за другим.

— Я эту балку знаю, она в аккурат под самый Ростов выходит, — говорил Чахан черноусому казаку.

За высокими плетнями из красной приречной лозы стояли саманные дома под черепицей, под цинком, под оской. На улицу выглядели крылечки, отороченные узорами деревянных кружев. Над слуховыми оконцами поскрипывали петушки, хлопали жестяными крыльями на ветру.

— По родной земле и кони шибче идут, — посветлевшими глазами оглядываясь вокруг, перебрасывались словами казаки.

— Атаку в конном строю. Противник не успевает жечь хутора, — доносил в штаб корпуса Рожков.

— Гм. Неужели не успевает? — Милованов вскидывал на начштаба озабоченные глаза.

На усадьбе совхоза казаки застигли ночью 82-й кавескадрон бежавшего с Соловецких островов краснодарского прасола Харченко. Немцы уходили, прикрываясь жидкими румынскими арьергардами. С ними отходила кучка вооруженных уголовников, набранных в ростовской и краснодарской тюрьмах. Но и воры с великой неохотой шли воевать за Гитлера. Полковнику Елжину, бывшему регенту новочеркасского епархиального хора, посудами и угрозами удалось набрать на Дону всего 96 человек. Домушники, привыкшие до этого работать отмычкой, а теперь навесившие шашки, с виноватым любопытством рассматривали свои красные лампасы. Вербуя, «добровольцев» предварительно пропускали через карцеры гестаповской тюрьмы.

Так были сколочены реденские, небоеспособные отряды. Сначала им поручили нести полицейскую службу в районах, прилегающих к фронту. Домушники очищали закрома и сундуки крестьян, с великой охотой выполняя обязанности, напомиравшие им их прежнее ремесло. Но когда германское ко-

мандование, затыкая бреши в своей обороне, было вынуждено бросить отряды в бой, они в первом же серьезном столкновении с донскими и кубанскими казаками частью разбежались, частью были пленены. Фельдмаршал Лист приказал из остатков сформировать отдельный кавескадрон. Но и его участь уже была предрешена. Нагрянувший неожиданно на усадьбу совхоза взвод казаков довершил разгром этого «войска».

На просторном дворе усадьбы вповалку лежали трупы, изуродованные шашками донцов. Застав отступников спящими, казаки ни одного не хотели брать в плен. Выскакивая из окон, из дверей в нижнем белье, уголовники как лозы никли под ударами клинков. Сам Харченко, прыгнув с крыльца на лошадь, успел перемахнуть через забор и уйти вночь. Белое пятно нательной рубахи мелькнуло и растаяло в темноте. В углу двора, между флигелем и конюшней, сбились в темную кучу лошади, рыли копытами снег. С храпом лошадей смешивался повсест шашек, тяжкое дыхание людей. Всадник с кудлагой, непокрытой головой никак не хотел даваться казакам, гарцуя на высоком вороном жеребце. Зеленков пробовал достать его баклановским приемом, но всадник заученным поворотом отпарировал удар и вышиб из его рук шашку. На помощь черноусому подскакали Манацков и Ступаков. Встречаясь лезвиями, скрежетала сталь. Опытный и упорный противник попался казакам.

— Стойте, братцы, обождите чуток! — сказал Чахан. — Сдается мне он знакомый. — Держа шашку наизготове для ответного удара, Чахан подъехал ближе к всаднику, спросил:

— Ты, Иван Фомич?

— Я, — глухо ответил всадник; шашка выскользнула из его руки и воткнулась в снег.

— Давненько не виделись, — подъезжая еще ближе к нему, сказал Чахан и быстро перехватил правую руку всадника повыше кисти. — Сколько лет, сколько зим?

Даже при свете луны было видно, как смертельная бледность разлилась по широкому рыжебородому лицу всадника.

— Это мой станичник, — обращаясь к казакам, оживленно сказал Чахан, — Иван Фомич Попов. Он при старом режиме у нас мельницей владел, а когда советская власть на Дону объявилась — в супротивники к ней пошел. И у Краснова был, и с бандитом Фоминым по верхним станицам много всяких дел вытворял. Ну, потом он с повинной головой явился, и власть его простила. Но, между прочим, свою тайную думку

так при себе и оставил. Четырех работников держал, молотилку имел, а когда люди для общей пользы в колхозы потянулись, он опять на рожон полез. Мы с ним по тем временам оч-чень хорошие знакомые были. Он меня тогда за активные речи из-под угла колом подложечку саданул. Ты помнишь, Иван Фомич?

Всадник молчал. Большие руки его бессильно свисали с седла.

— По-омнит!—радостно засмеялся Чакан. — Я тогда две недели без памяти пролежал. А он вскорости после этого колхозные амбары западил. Ну, советская власть его за такие фортели решила свободы лишить. Сослали его тогда на поселение в Нарымский край. С той поры не слыхали мы в станице о нем. А сейчас, как началась война, он, видать, из Нарыма улег. Ты что же, улег, Иван Фомич?

Всадник кивнул головой. Вся его фигура выражала безволие и полное безразличие ко всему окружающему.

— Ну вот, стало быть, убежал и подался германцу, — повысив голос, продолжал Чакан. — Нету для него ни роду, ни племени на земле. Истинно русский человек никогда не пойдет к немцу в колуу. Мы все поднялись на Гитлера, а он подался к нашим врагам. Это как черны сорняк на чистом поле. Вырвать надо такой сорняк!

Чакан вскинул автомат. Казаки раступились. Тут только всадник понял, что смерть уже рядом с ним, и силы снова вернулись к нему. Глухо замычав, он рванул лошадь в образовавшийся проход. Но слишком поздно! В углу двора сухо треснула короткая очередь, и черное тело тяжело рухнуло в снег.

... По балке через хутора ехали верховые, скрипели обозы, на прицепах и в конских упряжках проносились пушки, гулко громыхая колесами по мерзлой земле. На первом отпелельном ветру оттаяли хуторские сады. Тонкое дыхание исходило от яблонь. Вишневая кора отзывалась хмельным душком. Но все забивал устойчивый, горьковато-кислый аромат терна.

Проезжая улицей хутора, Луговой направил лошадь к колодцу. Молодая женщина в зеленом платке вытаскивала из колодца ведро.

— У вас ведро чистое?—спросил Луговой.

Женщина испуганно взмахнула на него длинными ресницами, ответила чуть слышно:

— Чистое.

— Жаль, — сказал Луговой, — а я хотел лошадь напоить.

— Поите, — быстро сказала женщина, поставив ведро на землю. — Я потом помою.

Напоив лошадь, Луговой возвратил женщине порожнее ведро.

— Спасибо, милая.

— Не за что, — дрогнувшим голосом ответила женщина. — Немцы брали что хотели, а спасибо мы от них не слышали.

— Так это немцы, — улыбнулся Луговой.

Помолчав, он спросил:

— Давно они отсюда ушли?

— Не больше, как два часа.

— На север?

— Нет, туда, — женщина махнула рукой на восток.

«Странно, — отъезжая от колодца, думал Луговой, — с какой стати они пошли на восток? Если они отступают, то им нужно идти или на север к Ростову, или на запад к Тамани. А на восток — нет, это непонятно».

Отыскав Синцова, он сказал:

— Усилить боевое охранение. Прикрыть фланги.

— Это излишне, — беспечно отмахнулся Синцов. — Они сейчас думают только о том, как бы спасти свою шкуру. Ваши предосторожности — пустая формальность.

— Самое опасное думать, что противник глупее нас с вами, капитан Синцов, — раздельно сказал Луговой. — Потрудитесь выполнить мой приказ.

В полк к Луговому приехал Рожков. Сняв с головы серую курпейчатую папаху, он сбил с нее снег, возбужденно сказал:

— Как идем, как идем, казак! Но ты отстаешь...

— Меня смущает, что немцы уходят на восток, — осторожно сказал Луговой.

— Пусть идут хоть к чорту на рога! Вперед и вперед! — решительно сказал Рожков. Он постукал каблучком по твердой, закованной стужей земле. — Ведь по родимой идем, по донской. Ты слышишь, казак?

И, закрывая за собой дверцу машины, повторил:

— Только вперед! Торопись, Луговой!

Тишина. Слышен только шорох копыт. Не вздохнет в отдалении гаубица, не расколет морозный воздух выстрел, не лопнет с пустым, мертвым звуком мина. Милованов напряженно прислушивался, вызывая начштаба:

— Что нового от Рожкова? Как он идет?

— Рожков идет без задержки. Противник не принимает боя.

— Вот это меня и беспокоит, Ванин. Было бы лучше, если бы он попытался нас задержать. Передай Мирошниченко, чтобы он выдвинулся в район хуторов. Пусть будет готов поддержать Рожкова. От Рожкова требовать донесения каждые полчаса.

Над степью, над хуторами, над черными массивами нескончаемых садов вставал ослепительно яркий круг солнца. Сердцевина его была раскалена добела, а края окружила мглистая, темная бахрома, разительно похожая на черный цветок могильника. Резко блеснул снег. В розовом облаке испарений сады казались охваченными пожаром.

— Ты любишь тишину, Зоя? — спрашивал Милованов адъютанта.

Дремавший на табурете возле двери адъютант вскакивал, с недоумением пяля глаза.

— Я не люблю, — не дождавшись его ответа, говорил Милованов. — Это, как летом перед грозой. А вот грозу я просто чорт знает как люблю! Гроза, артиллерийский гром, грохот боя — это по мне. А тихая жизнь не по мне.

Он вздрогнул, зябко передернул плечами:

— Страшно не люблю тишины. Вот такой томительной и пустой.

Постояв возле окна, сказал строго:

— Зоя, начальника разведки! Быстрей!

Пришел начальник разведки, уссурийский казак в косматой высокой папахе, в туго затянутом темносинем чекмене и с черными глазами, подернутыми на белках малярийной желтизной.

— Что слышно о противнике? — резко спросил Милованов.

Развернув потертую на сгибах карту, начальник разведки обстоятельно доложил:

— Дивизия «Викинг» в составе полков «Нордланд», «Вестланд» и «Великая Германия» и одного арполка попрежнему занимает балку. Третья танковая дивизия подтягивается в район хуторов. Тринадцатая танковая дивизия генерала майора фон де Шевелери и шестой полицейский полк стоят на прежних рубежах. Кроме этого... — начальник разведки замаялся.

— Кроме этого? — вскинув на него глаза, переспросил Милованов.

— По некоторым данным, на наш участок приехал фельдмаршал Лист.

— Гм. Любопытно, — Милованов постучал пальцами по столу. — Больше ничего?

— Больше ничего. Движения противника на запад не отмечено.

— Таким образом?

— Таким образом перед фронтом одиннадцатой дивизии противник не отступает, а расступается и образует коридор.

— И мы входим в этот коридор?

— Я передал наши данные генерал-майору Рожкову, — начальник разведки пожал плечами.

— Хорошо. Идите.

Милованов снял трубку полевого телефонного аппарата.

— Начальника штаба. Это ты, Ванин? Немедленно передай Рожкову приказание отойти назад.

Полк Лугового шел на правом фланге. Луговой приказал командирам эскадронов замедлить движение, чтобы уплотнить боевые порядки полка. «Растянулись» — тревожно думал он, оглядывая с горки текущий через хутора черный поток пушек, машин, повозок, людей и лошадей. В колоннах колыхались красные околыши казачьих фуражек, резко сверкал на солнце набор конской уздечки, сизой дорожкой тянулся над головами всадников и лошадей тонкий дымок незатухающей походной кухни.

Вдоль единственной улицы, прорезавшей с юга на север всю цепь хуторов, стаяли белые, нетронутые огнем дома, шеренги тополей, хозяйственные постройки для скота. Точно не коснулось этих хуторов пламя войны, не тронула их разрушительная сила нашествия.

— Чтой-то я не пойму, Куприян. Повсюду немец села огню предал, а по этой балке всё до палочки сохранил. Как будто эту балку кто заворожил, — с удивлением спрашивал Чакан черного усого казака.

— Так он не успевает. Ведь мы у него на хребте сидим, — с уверенностью отвечал Куприян.

— Нет, не скажи. Запалить — недолго. Тут у него какой-то свой расчет...

На прогалине между двумя хуторами Куприян увидел идущего по обочине дороги старика в заштопанном овчинном полушубке и с дорожным посошком. Он быстро семенил сбоку эскадронов, постукивая палкой по хрупкой корочке мерзлого снега.

— Гляди-ка, Петр Тимофеевич, никак наш Федот? — с изумлением сказал Чакану Куприян.

— Федот да не тот, — проезжая мимо, хмуро сказал Чакан. Он не забыл обиды, нанесенной ему стариком.

Но старик уже заметил их и услышал их голоса.

— Нет, тот, — весело сказал он, приветственно помахав в воздухе посошком. — Куда путь держите, казачки?

— Это тебе не положено знать, — отре-

зал Чақан, недружелюбно окинув своего обидчика пренебрежительным взглядом с седла.

— А ты не гордись, — поучительно заметил старик. — Ты вот думаешь, что залез на лошадей и теперь можешь на людей взирать с высоты. Но люди, которые ходят по земле, тоже имеют свою цену, и в голове у них тоже умишко есть. Ты вот сколько уже мыкаешься на этой войне?

— Второй год, — нехотя ответил Чақан.

— Ну, вот. А я и одного дня не воюю, а тебе помог. Да, да, ты не смотри на меня с седла, как поп на попадю. Я тебе все это могу в наглядном виде показать. Ты за свои два года еще никакого отличия не заимел, а мне за Белую Глину ваш самый главный генерал вот какую награду преподнес, — старик быстро разпахнул рваный полушубок, и опешивший Чақан увидел у него на груди блеснувшую серебром боевую медаль.

Проезжавший мимо Рожков открыл дверку машины, узнав старика.

— Странствуешь, Федот Гаврилович?

— Странствую, товарищ генерал, странствую, — закивал головой старик. — В такое время грех дома сидеть. Забежал к себе на хутор на часок, повидал свою бабку и опять со двора. Может, думаю, еще чем-нибудь русской земле пригожусь. Сейчас каждый человек ей дорог и может великую пользу оказать. Вот я и пристроился к вашим казакам. Ребята они хорошие, то горячей кашкой меня побалуют, то чайком, а то и махорочкой поделаются на скрутку.

— Как же ты поспеваешь за ними? Ведь они на лошадях, а ты пешком, — засмеялся Рожков.

— Пешком, — глянув на свои ноги в дырявых валенках, сокрушенно сказал старик. — А это вы верно сказали, что угнаться за вами трудно. Уж больно вы шибко идете. И все вперед, все вперед. А иной раз не грешно и назад оглянуться, и сбоку себя посмотреть.

— Нам, Федот Гаврилович, некогда оглядываться. — захлопывая дверцу машины, озабоченно сказал Рожков.

Он приехал в полк к Луговому черным, как туча, и, не подав руки, бросил упрек:

— Твой полк попрежнему отстает. Я тебя не узнаю, Луговой.

— Мне кажется, что нас заманивают в мешок, — бледнея сказал Луговой.

— Челуха! Вы все как сговорились, — Рожков сердито дернул плечом. — Вот прочитай, только что получил, — он раздраженно сунул Луговому шифровку.

— Товарищ генерал-майор, командир

корпуса прав, — прочитав шифровку, взволнованно сказал Луговой. — Я считаю...

— Никаких считаю! — резко отрубил Рожков. — За дивизию отвечаю я. — Он помолчал и, яростно захрустев пальцами, с тоской продолжал: — Отойти? Снова оставить эти станицы и хутора? Никогда. Ведь это донская земля! Костыми ляжем, а не уйдем. Ты слышишь, Луговой? Немедленно продолжай движение вперед.

Запахнув шинель, он пошел к машине, но с полдороги вернулся и примитивно сказал:

— Ты проси старика. Не могу опять с Дона уходить. На один шаг не отступлю. Меня ведь в Урюпинской тоже мать ждет, — голос Рожкова задрожал. — Я на тебя надеюсь, Луговой.

Вечерело. Милованов посылал адъютанта за начальником штаба.

— Передали Рожкову мой приказ? Как у него дела?

— Рожков продолжает движение вперед. Он отвечает, что не может отойти, когда немцы бегут, едва завидев красный лампас.

— Казацья романтика! — зло бросил Милованов. — Повторите приказ. Предупредите о последствиях.

«Моя вина, — думал Милованов, оставшись один. — Зная Рожкова, я должен был держать его на короткой узде. Умный, осторожный, а все-таки может увлечься.

— К вам оперативный дежурный, — взглянув в дверь, сказал адъютант.

— Впусти.

— Товарищ командир корпуса, с Рожковым связь потеряна, — волнуясь, доложил молоденький капитан.

— Потеряна? — переспросил Милованов. «Этого нужно было ожидать», — мелькнула быстрая мысль. И вдруг он почувствовал облегчение. Определенность положения вернула ему внутреннее равновесие. Повернувшись к дежурному, Милованов спокойно сказал:

— Послать к Рожкову офицера связи. Мирошниченко и Григорьева — ко мне.

Сумерки кутали хуторские сады. Эскадроны располагались на ночлег. Казаки заводили лошадей в конюшни, и лошади радостно ржали, почуяв обжитое тепло.

Чақан с Дмитрием остановились на хуторской окраине в каменном флигельке. Крыльцо выходило прямо в степь, неясно белеющую за темными массивами садов. Пожилая хозяйка, сохранившая еще на своем лице следы строгой степной красоты, затопила печь, состряпала ужин, поставила на стол кув-

шин с молоком. Посмотрев на стене фотографии, Чакан спросил:

— Муж казак?

— Казак, — ответила хозяйка.

— Где он теперь?

— С первого дня войны не слышать, — женщина подавила вздох.

Давно не ел Чакан такого сытного и домашнему вкусного ужина. Вдвоем с Дмитрием они прикончили жареную курицу и выпили кувшин молока. «А она бабочка справная», с хрустом размалывая зубами косточку, думал Чакан, искоса поглядывая на круглые плечи хозяйки, удивительно молодой для своих сорока с лишним лет.

После ужина Чакан размяк. Чувствуя себя как дома, он разулся, поставил сушить влажные валенки на печку, а сам протянул к железному коробу оттаявшие ноги в белых шерстяных носках. Чакан вспомнил, что эти носки ему связала дома бабка из шерсти, которую он настриг с племенной овцы. «Должно, овечку немцы сжрали, — подумал Чакан. — А может, нет? Может, уберегла старуха, ежели сама осталась в живых?» И вдруг Чакан почувствовал острую, щемящую тоску по дому, такую тоску, какой не было у него даже в песках, в прикаспийской степи, когда он грелся возле походных костров. Захотелось Чакану поскорее увидеть свою старуху, свой курень, стоящий на окраине станицы, на отшибе от других, спуститься по отлогому, суглинистому берегу к Дону и посмотреть, как бьет хвостом меднокрасный сазан, как пенится, крутится черными воронками на глубинах зеленоватая донская вода.

У Чакана заняло подложечкой и запершило в горе. Весной, бывало, чуть только схлынет паводок, на зорьке, когда вся станица еще спит сладким, праведным сном и дым не идет ни из одной трубы, Чакан отчалит от берега на баркасе, оставит вентеря, и через два часа струя разопрет их царским уловом, нагонит в них разной крупной и мелкой рыбешки. Любил Чакан, чтобы старуха запекла в коробе свежего, взятого прямо из сетки, чебака, чтобы плавал он в густом, пахучем жиру, румянея поджаренным икраяным брюхом.

Отогрешившиеся ноги Чакана мрели в уютном домашнем тепле, а глаза подернул дымок воспоминаний. В своем колхозе Чакан работал инспектором по качеству и, чуть только весна, с сантиметром расхаживал по загонам, мерил глубину вспашки, стыдил нерадивых работников. И радостно было ему ходить по родимой степи, и сладко было сердцу среди этих знакомых с детства курганов, среди балочек и вешних

ручьев. На меже бормочет свою вечную, любовную песню перепел, на гребнях увалов строжуют изжелта бурые, точно камни-самородки, орлы, изпод ног нет-нет и вспорхнут. И тяжело застелется над землей на своих исполинских крыльях дудак. Степь полнится птичьим гомоном, шелестом растущих трав, шорохами лис, шныряющих в бурьянах. Мирная донская земля вязнет под ногами и точится запахами, от которых кружится голова. Домой Чакан возвращался радостно возбужденный.

После ужина, бывало, вот так же поставив ноги на край короба, любил он посидеть молча со своими мыслями, перебрать в памяти события минувшего дня, подумать о колхозных делах. Обо всем болела его беспокойная душа: о трудодне, о платине для новой мельницы, которую нужно поставить на реке, о председателе колхоза, запившем горькую перед самой посевной.

Чувствовал себя Чакан хозяином в колхозе, в степи, на русской земле, лежащей кругом бескрайно, без межей и лоскутных наделов. Не было силы, которая могла бы столкнуть его с земли предков.

Чакан расстегнул воротник рубахи, пошарив рукой за пазухой, достал бабкину ладонку, которую он всегда носил при себе на шнурке. Развязав ее, Чакан бережно высыпал на ладонь щепотку земли. Стершаяся в мелкий порошок, она все-таки источала неуловимый аромат. Дожнуло от нее близким и дорогим. Непреодолимым желанием свело руки с твердыми, застаревшими мозолями. Так бы и кинулся сейчас Чакан в родную станицу, руками рвал бы дедовскую землю, ломал маслянистые пласты, поднимал черноземную целину! Один бы все поле вспахал до самого ветряка!

«Нет, нельзя, — подумал Чакан. — Как придем в станицу, пускай женщины пахут, а мы должны дальше идти. Через Дон перейдем — это еще не конец. Вот Остапчук вместе со мной воюет, Дон избавляет, а там дальше лежит украинская земля, и должен я помочь Остапчику ее освободить. Должны мы всей семьей на германца навалиться и за русскую границу его прогнать. А там дальше поляки изнывают, чеки, французы. Тоже хлеборобы, и без нас им никак этой каши не расхлебать. Подможем всем, у кого этот зловерный немец на гербу сидит, и тогда возвратимся к себе домой. Ух, и задам же я тогда работенку своим руками!» — Чакан так захрустел пальцами, что Дмитрий, тоже о чем-то задумавшийся возле стола, вздрогнул и сердито посмотрел на отца.

Вздохнув, Чакан струсил землю обрат-

но в ладонку, бережно завязал и спрятал ее у себя на груди.

Добрая, достал кисет, свернув цыгарку, протянул Дмитрию добрую шепоть солдатской махры. После первой глубокой затяжки, засовывая ноги в самый короб, он спросил:

— Ты слышал, сынок, что народ гутарит?

— Что? — рассеянно отозвался Дмитрий.

— А то, что германские танки отсюда далеко не ушли, а где-то с боков скоронились. Как бы они нас в ловушку не заманули, как глупую рыбу в вентеры!

— Глухости ты говоришь, батя, — сердито сказал Дмитрий. — Бабы языки чешут, а ты уши развесил, как лопухи.

— А вот не грех и послушать, сынок, — нравоучительно заметил Чакан. — Народ все примечает, и глаз у него острый. Оно, конечно, вы солдатом руководите, и солдат, безусловно, должен вам во всем подчиняться, но и вы должны к нему прислушиваться и от него разум получать. Вы не глядите, что у солдата шинелька простая и попроще вашей пошитая, а псд этой шинелькой у него такое же сердце колотится, как и у вас. И так же этому сердцу русская земля любя-дорога, и думает он свою горячую думку о ней. Ты его учи, но и сам от него ума-разума набирайся. А не будешь набираться — засохнешь ты, дорогой товарищ офицер, как широкая речка в степи, если отнее вас ручейки огня. И понапрасну ты, сынок, советуешь мне не слушать, о чем гутарит народ. — Чакан умолок со строгим торжественным лицом.

Дмитрий промолчал, ничего не возразив отцу. После удачной атаки на Белую Глину в корпусе много говорили о каком-то старике, который провел казаков двенадцатой дивизии в тыл к немцам. Дмитрий решил, что это не кто другой, как тот разговорчивый дед в овчинном тулупчике с дорожным посошком. Сейчас, вспомнив о нем, Дмитрий почувствовал какую-то связь между этим стариком и словами отца. Поэтому-то и не нашелся ничего возразить отцу.

Перед сном Чакан вышел постоять на крыльце. Вечер был не по-зимнему мягким и теплым. В тумане таяли плетни, дома, колодцы, запрокинувшие в небо длинные жерди журавлей. Бренчали пшшки, позвякивали трензелями лошади, проезжая улицей, громыхала котлами кухня. В темноте плавали, перечеркивали улицы, вспыхивали и гасли возле калиток багряные угольки папирос. Где-то на окраине эскадронный

баянист на усладу хуторским девчатам трогал певучие меха.

Напротив, у ворот, смутно белел женский платок. Молодой, перехваченный волнением басок, настойчиво увещевал:

— Кончится война, приеду, заберу тебя с собой...

— Обманешь, — неуверенно сопротивлялся девичий голос.

— Дура, или я стану такой грех на себя принимать. Ни за что не обману.

С вечера Чакан лег рядом с Дмитрием на кровати. Хозяйка взбила им перину, надела на подушки чистые наволочки, достала из сундука новую простыню.

— Ты ложишься, батя, к стенке, а то я не привык, — стаскивая с ноги сапог, сказал Дмитрий.

— Нет, ты, сынок, ложишься, а я с краю ляжу. Мне придется во двор выходить, а через тебя каждый раз перелезть неспособно. Должно с отвычки у меня от хозяйского молока брожение сделалось. — Чакан потрогал рукой живот.

Он долго лежал в темноте, прислушиваясь к дыханию сына. Потом осторожно встал и, тихо ступая ногами по дощатому полу, боясь скрипнуть половицей, пошел на хозяйскую половину.

— Ты куда, батя? — громко спросил Дмитрий.

— А за нуждой, — вздрогнув от неожиданности, ответила Чакан, круто заворачивая к двери.

Он вышел на крыльцо. Постоял, раздетый, на холодном ветру и, вернувшись, лег рядом с Дмитрием на край кровати. Дмитрий подождал, пока отец улегся, и после молчания язвительным шопотом сказал:

— Нужда, батя, бывает разная. И тебе за этой нуждой в твои лета уже поздно ходить. Ты свое отходил. А за другими, батя, ты большой любитель дглядать.

Чакан не ответил, притворившись, что спит.

На рассвете их разбудила хозяйка.

— Немцы! — сказала она испуганным шопотом.

— Где? — вскакивая с кровати и всовывая ноги в валенки, с живостью спросил Чакан.

— Я на зорьке пошла в степь за бурьяном, печку заоплять. Спускаюсь в балочку и вижу — стоят танки. Сначала думала — свои. А он как закричит: «Хаальт!» Тогда я бежать. Они стрелять, а я еще шибче. Еле добегла, — хозяйка перевела дух.

— Может, вы ошиблись, мамаша? Может, это наши были? — обувааясь, неуверенно спросил Дмитрий.

— Чужие. С желтыми крестами. Я тут на них вдосталь нагляделась.

— Стреляют, — прислушиваясь, сказал Чакан.

По хутору заглухали выстрелы. Сначала они звучали разрозненно, редко, но потом зачастили и слились в густой залповый огонь. Рядом на огородах застроил пулемет боевого охранения полка.

— Чуете, режут? — сказала хозяйка.

Дмитрий вскинул бинокль к глазам, стал смотреть через окно в степь.

— Да, танки. Немецкие танки, — сказал он тревожно, направляясь к двери и пристегивая шашку на ходу.

Во дворе глухо громыхнул разрыв, и комья мерзлой земли шарахнули по окнам, вразной застучали по черепичной крыше дома.

... Милованов быстрыми шагами ходил из угла в угол комнаты. Он мучительно корил себя за то, что в самом начале не заставил Рожкова отойти назад. Теперь почти не оставалось сомнений, что дивизия попала в приготовленный для нее мешок. Сумеют ли пробиться к ней офицеры связи?

Запел зуммер полевого телефонного аппарата. Милованов снял трубку.

— Одинадцатая дивизия окружена противником, — сказал в трубке глуховатый голос начштаба.

XII

Большой двухбашенный танк командира 13-й панцерной дивизии генерала Шевелери стоял на дне глубокого котлована.

Выглядывали только полукруглые очертания башен и низкий, приплюснутый бронированный лоб танка. Он был окрашен ослепительно белой эмалевой краской под цвет снегов, окружавших курган. Оттого танк издали казался снежным сугробом. Лишь на левом борту остался незакрашенным желтый крест, резко сиявший в лучах солнца.

Генерал Шевелери стоял на кургане возле танка. Рядом с генералом стоял человек в гладкой, короткой шинели и меховых унтах. На воротнике шинели рдели петлицы, а на груди черный орел нес в когтях знак свастики.

— Войдем в танк, господин фельдмаршал, — с беспокойством сказал Шевелери.

— Это не имеет значения, — холодно ответил человек, продолжая пристально смотреть вперед. Но в люк танка все же полез, паккая в машинном масле выуженные борта фельдмаршальской шинели.

Внутри танка было светло и вначале казалось — теплее, но потом охватывал мотильный холод, исходивший от стальных броневых плит. Прогорклый запах масла смешивался с дыханием людей, с запахом краски и горячей резины. В углу, скорчившись, прилип к аппарату радист. Хриплые звуки рации, шипение аккумуляторов, удары ветра по бортовой броне отражались в стенках металлической коробки бесчисленное количество раз.

К свету вольфрамовых ламп прибавлялся скупой ручеек дневного света, проникавший снаружи через смотровую щель. В рамку щели была видна лишь узкая полоска белой степи. Сразу за курганом она отлого спускалась вниз, в балку, вплотную подходя к хуторским садам. Там, среди деревьев, смутно мелькали синие фигурки людей и вспыхивали на снегу красные околыши фуражек.

— Слепая и неуклюжая машина — танк, — с раздражением сказал фельдмаршал, отрываясь от щели. — Я предвижу ее конец.

— В таком случае мы останемся без куска хлеба! — с учтивой веселостью ответил Шевелери.

Не оценив его остроумия, фельдмаршал сухо сказал:

— Пусть вызовут генерал-лейтенанта Штайнера.

Склоняясь над рацией, радист протуженным голосом позвал:

— Бреслау, Бреслау, я Тироль.

Вырываясь из открытого люка танка, резко звучали в русской степи хриплые слова чужого языка.

— Старший вождь дивизии «Викинг» у аппарата, — привставая с места и пригибая голову под низким металлическим потолком, доложил радист.

— Я вас слушаю, Штайнер, — шагнув к микрофону, строго сказал фельдмаршал.

— Они проходят Иванов, Любимов. — раздался совсем рядом трескучий голос, с чужеземной отчетливостью выговаривая русские названия. Вместе с этим голосом в танк ворвался отдаленный гром орудий и рев ветра, бунтующего в степи.

— Я слышу артиллерийский огонь? — нахмурившись, сказал фельдмаршал.

— Это у левого соседа.

— До указанного рубежа сохраняйте полную тишину. Обратите внимание на район садов, — сказал фельдмаршал.

— Там замечено движение противника. Я приказал выставить две батареи. Фельдмаршал помедлил, соображая:

— Этого мало.

— Я полагаю, что этого будет доста-

точно, — вдруг куда-то провалившись, издадала ответил голос.

— Этого мало, генерал-лейтенант Штайнер, — резко повторил фельдмаршал. Стоявший рядом Шевелери увидел, как у него нервно дернулась матово-белая, выбритая щека. Помолчав, фельдмаршал раздельно сказал:

— Зная русских, не следует рассчитывать на их пассивность. — Слова его падали на листовую броню танка, как металлический чекан. Шевелери казалось, что маленькие, холодные молоточки стучат по его черепу. Он зябко поежился. От стенок танка веяло леденящим холодом. «Здесь, как в склепе», — подумал он, оглянувшись.

— Вы свободны, Штайнер, — сказал фельдмаршал. Узким, твердым ногтем указательного пальца он стал водить по карте.

— Кессель? — дыша возле его уха, спросил Шевелери.

— Да, котел, они входят в него, — тщеславно сказал фельдмаршал, подумав о том, что план операции был выношен им лично и без изменений утверждён. Шевелери знал это и рассчитывал, что его замечание попадет в цель. Оно хоть немного должно было рассеять тот холодок отчужденности, которым всегда окружал себя в своих отношениях с подчиненными фельдмаршал Лист. Он надеялся к плеяде молодых генералов, начавших с головокруглительной быстротой всходить по лестнице военной карьеры в 1933 году. Офицеры старого рейхсвера относились к этим генералам с иронией. Но молниеносный балканский поход против маленьких, безоружных государств упрочил репутацию Листа и принес ему славу. Он стал пользоваться неограниченным доверием ставки. После того, как фон-Маннштейн был брошен на помощь 6-й армии, заключенной в сталинградском кольце, командующим германскими войсками на Северном Кавказе был назначен Лист. Ему поручили кардинально выправить положение, приведшее к распаду германского фронта на юге на два изолированных крыла.

— И вам предстоит захлопнуть этот котел, генерал, — взглянув на Шевелери, с меньшей сухостью сказал фельдмаршал. — Разумеется, конечная цель этого удара в другом. Нас интересует не только частный успех. Уничтожив кавалерийскую группировку, мы возвращаем себе контроль над дорогой Сталинград — Тихорецк. Но это также и вопрос престижа. Этой коммуникации лишил нас противник, которого мы с вами сейчас видим отсюда. Вам когда-

нибудь приходилось встречаться с казаками, генерал?

«Знает?» — быстро взглянув на холодное, бесстрастное лицо фельдмаршала, с испугом подумал Шевелери. Ему чудилось, что он уловил в словах Листа оттенок насмешки. Но лицо фельдмаршала продолжало оставаться бесстрастно серьезным. «Не знает», — с облегчением решил генерал.

— Нет, не приходилось, — сказал Шевелери, чувствуя тупую, ноющую боль в простуженных ногах. Их пронизывал холод, исходивший от броневых плит. Больные ноги стали все чаще напоминать о себе. С тех пор, как Шевелери лишился своего старого денщика, он забросил ежевечерние процедуры перед сном. Никто не умел так растереть ревматические ноги генерала спиртом, так бережно укутать их на ночь, как старый денщик.

— Казаки очень упорный противник, — сказал фельдмаршал. — Основное их преимущество в том, что они не только кавалерия, но и пехота. Они сходят с лошадей и становятся очень устойчивыми окопными солдатами.

Правую щеку фельдмаршала все время подергивал нервный тик. Одна сторона лица криваялась и прыгала, в то время как другая оставалась неподвижной. У Шевелери было такое ощущение, что фельдмаршал подмигивает ему круглым, холодным глазом. С неловкостью Шевелери отводил свои глаза.

— Придемте на рубеж, — сказал фельдмаршал.

Они вылезли из танка и по восточному склону кургана стали спускаться вниз. Справа и слева от хода сообщения, по которому они шли, расстилалась степь. Из балки вставало солнце, прорываясь сквозь ветви вишневых садов. За садами сплошной темной массой тянулись хутора. Перед балкой, в котлованах стояли танки, укрытые невысоким гребешком. За черной грядкой ракетника их не могли видеть из хуторов. Возле машин сустились люди в кожаных шлемах и в синих комбинезонах, отороченных на рукавах и на воротнике серым волчьим мехом. Гремясь, они переступали с ноги на ногу, гулко хлопывали кожаными рукавицами, толкали друг друга плечами. Орудия танков были повернуты вниз, в сторону хуторов.

Возле крайнего танка два офицера лениво цедили слова, не выпуская изо рта папирос.

— Чертовски крепкий табак, Вилли. У меня дерет в горле, — худощавый лейтенант в серой шинели с ожесточением

сплюнул на снег желтую, клейкую слюну.

— Это у них называется ма-хор-ка, — ответил ему товарищ, с трудом произнося последнее слово. Высокий и широкоплечий, он стоял, привалившись к танку спиной.

Легкое движение прошло среди людей в синих комбинезонах, суетившихся около танков. Резкий голос прокричал в морозном воздухе отрывистые слова команды. Люди колыхнулись и неподвижно замерли возле машин.

— К нам кто-то идет, Бертольд.

— Я узнаю его. Это генерал.

— Он не один.

— Я слышал, должен приехать фельдмаршал.

— Наш фон Хаке пошел к ним на встречу.

— Обрати внимание на его постное лицо.

— Оно никогда не бывает веселым с тех пер, как его понизили на один чин.

— Согласись, что это нелегко.

— Говорят, что он возражал против плана генерала под хутором Лепилин.

— Да, но расплачиваться за все пришлось ему одному.

— Это у нас случается не так уж редко, — глубокомысленно заметил высокий, широкоплечий офицер.

Майор фон Хаке быстрыми шагами шел по ходу сообщения на подъем. Не доходя нескольких шагов, он вскинула правую руку для приветствия.

— Командир четвертого танкового полка..

— Почему так близко рассредоточены машины? — перебивая его, резко спросил фельдмаршал.

Выхоленное лицо фон Хаке стало бесстрастным. В этот момент фельдмаршал и майор были разительно похожи друг на друга. «Но у этого видна порода», — с завистью подумал Шевелери о фон Хаке.

— Я выполнял приказ, — холодно сказал фон Хаке.

— Я указал вам рубеж, в остальном полагаясь на вас, — вежливо вставил Шевелери. «Старая лисица», — подумал фон Хаке, быстро скользнув взглядом по его лицу. Они волчьей цепкой спускались по отлогому спуску. Фон Хаке пропустил фельдмаршала и генерала, а сам пошел сзади. Он с брезгливостью смотрел, как Шевелери боком протискивается вперед, боясь запячатать о землю свое генеральское пальто.

— Я подставляю себя под огонь, — дребезжащим голосом говорил фельдмаршал. «Брюзжит, как старик!» — подумал Шевелери. Фельдмаршал и в самом деле

был уже стар. Он шел расслабленной походкой, приподняв острые костлявые плечи. Короткая и широкая шинель висела на нем, как мешок.

— Фюрер недоволен нашими последними потерями в танках, — шагая впереди, продолжал фельдмаршал. — К тому же мы не успеваем уводить подбитые машины с поля боя. В Минеральных Водах мы бросили сорок эшелонов, в Белой Глине десять эшелонов и почти тысячу тонн зерна. Жечь все до последней доски! На месте покинутых нами сел и городов должна оставаться только зола.

Они остановились позади грядки ракета, за которым начиналась балка. Фельдмаршал равнодушным взглядом скользнул по шеренге танкистов, неподвижно застывших возле машин, и, раздвинув ветви, стал смотреть на хутора. Шевелери отвел фон Хаке в сторону.

— Я на вас надеюсь, майор, — с удариением сказал Шевелери. — Ваш полк выполняет едва ли не самую главную задачу во всей операции. Вам поручается рассечь эти хутора на две части. От вас зависит выиграть бой и..

—.. и вернуть себе звезду на погоны? — с насмешливым вызовом в голосе подсказал фон Хаке.

— Я хотел сказать — и вернуть противнику долг за тот бой.

— Мы однажды уже попытались взять реванш, генерал, — саркастически сказал фон Хаке.

— Повторяю, все зависит от вас, майор, — более сухо ответил Шевелери.

Раздвинув ветви, фельдмаршал продолжал смотреть на хутора.

— Видите, они роют круговую оборону. Они, кажется, догадались. Нужно не дать им успеть. Атаку начать не в двенадцать, а в десять часов. До этого..

—.. до этого я хотел предложить вам завтрак, — с учтивостью сказал Шевелери.

Фельдмаршал быстро взглянул на него и, что-то вспомнив, впервые за все утро улыбнулся:

— Вы, кажется, большой знаток французских вин?

— Мне только что прислали новую партию бордо, — с легким поклоном ответил Шевелери. «Какая лисица!», — подумал фон Хаке, почти с ненавистью провожая глазами спину своего командира дивизии, котрый медленно поднимался на курган вслед за фельдмаршалом, приотстав от него на три шага.

Когда они отошли на изрядное расстояние, стоявший возле крайнего танка лейтенант повернул к своему соседу взволнованное лицо:

— Ты слышал, Виали, что он сказал?

— Да, Бертольд, — флегматично ответил сосед.

— Нас опять первыми бросят под огонь.

Беличественное молчание стояло в степи. По белой равнине ручейками струилась поземка. Ветер шуршал в ветвях ракитника, за которым стояли готовые к атаке танки. Высокие сугробы замели их гусеницы до самых бортов.

— До атаки остался один час. Мы успеем позавтракать, Вилли, — взглянув на часы, сказал Бертольд.

— Пойдем, — равнодушно согласился высокий офицер. — Оно тяжело отвалил от танка и, грузно ступая на больших, сильных ногах, пошел за товарищем, взбираясь по ходу сообщения на курган. Круглая голова в кожаном шлеме, колыхаясь, поплыла по узкому черному лабиринту, разрезавшему отлогий подъем.

Они миновали курган, снова спустились вниз и вышли на окраину села. Оно лежало в балке. Эта балка тянулась параллельно другой, которая огибала курган с противоположной стороны. Село казалось мертвым и безлюдным в этот утренний час. Вдоль садов бежала узкая речушка, подернутая синим льдом. Весной, наполняясь водой, она, должно быть, размывала корни вишневых деревьев, росших на самом берегу. По кромке обрыва шла колючая изгородь, закрывая подходы к селу. Звенья железной проволоки были укреплены саперами прямо между вишневых стволов. Как грибы, торчали шляпки железных костылей, пронзавших деревья насквозь. Лохмотьями свисала с молодых деревьев вишневая кора, темнобагровая, покрытая дымчатым, сизым налетом снаружи и девственно зеленеющая внутри. Точась соком, она нежно и грустно припахивала в зимнем саду пленительным запахом весны. Обнаженные стволы деревьев ярко белели, как гладкая кость.

Бертольд и Вилли по льду перешли через речку, поднялись на обрыв и пролезли сквозь проделанный в колючей изгороди лаз. На огородах, возле кухни, солдаты готовились резать большую супоросную свинью. Два солдата держали ее за ноги, а третий заносил в руке отточенный до блеска нож. Свинья вырывалась из их рук. Тонкий, стелющийся визг разносился по тихим, пустынным улочкам села, проникая сквозь наглухо зашпиленные снаружи пробоями ставни домов.

Повара в белых колпаках рубили деревья на дрова. Удары топора звучали в сухом утреннем воздухе как выстрелы. Тонкая вишенка, одетая жемчужными блестками снежинок, затрепетала и, подламываясь, медленно рухнула в снег. Солдат в белом колпаке деловито стал счищать с нее ветви. Иссеченные топо-

ром на мелкие куски, они разлетались в стороны красным кршевом. И опять от поверженных деревьев поднимался сверху и дышал в лица солдатам в серозеленых шинелях теплый, нежный и первоначально чистый запах вишневой коры.

Офицеры миновали большой, унавоженный конским и птичьим пометом хозяйственный двор и вышли на окраину села. Бертольд толкнул калитку пинком сапога.

— Курка! — вдруг с радостным изумлением воскликнул Бертольд. Он побежал за черной курицей, с криком заматаившейся по двору. Из дверей дома вышла на крыльцо высокая, худая старуха, повязанная черной шалью. Секунду постояв на крыльце, она спустилась со ступенек и тоже погналась за курицей, бежавшей к воротам. Бертольд и старуха схватили курицу одновременно.

— Последняя, — не выпуская курицу, умоляющим голосом сказала старуха. Изпод черной шапки на Бертольда смотрели испуганно горящие глаза.

— Не понимаю, — крепко ухватившись за курицу, отрицательно покачал головой Бертольд.

— Не дам, проклятый! — вдруг грубым мужским голосом с ненавистью сказала старуха.

— Прочь, ведьма! — дернув курицу к себе, с бешенством сказал по-русски Бертольд.

— Скорей, Бертольд, — устало махнула рукой высокий офицер. Он стоял, прислонившись к забору плечом, и безучастно наблюдал за тем, что происходит во дворе. Бертольд разжал руки. Прижав курицу к груди, старуха быстрыми шагами, не оглядываясь, пошла в дом. Царапая пальцами висевшую на поясе кобуру, Бертольд достал пистолет и, прицелившись, выстрелил старухе в спину. Не доходя двух шагов до крыльца, она вдруг остановилась, вздрогнула и, как снап, рухнула на землю.

Через полчаса они сидели рядом за столом в натопленной комнате и ели жареную курицу. В доме было пусто и тихо. Лишь на стене раскачивался из стороны в сторону медный маятник старинных часов.

— К этой курице, да хороший яблочный соус. Я в таких случаях всегда вспоминаю свою мать, — сказал Бертольд.

Старуха лежала возле крыльца в луже крови, вниз лицом. Шаль сползла с ее головы, и ветер шевелил белые, длинные космы редких старушечьих волос.

XIII

На степном гребешке — терновой посадка — ветроупор.

Среди стволов вырыта в земле узкая, черная щель. Вырубленные саперной ло-

паткой ступеньки ведут вниз. Оттуда веет теплом. Шипит аккумулятор. Автомобильная лампочка бросает на стены землянки скупой желтоватый свет.

— Как, с Рожковым связь восстановлена? — спрашивает Милованов начальника штаба.

— Восстановлена.

— Он просит помощи?

— Нет, он не просит помощи, хотя противник уже третий раз переходит в атаку.

«Упрямый старик, — подумал Милованов, — попал в беду и теперь из гордости хочет обойтись своими силами». В душе у него шевелилось уважение к Рожкову.

— Звонил Мирошниченко. — сказал начштаба.

— Опять?

— Да. Говорит, что готов. Ждет вашего приказа, чтобы пробиться к Рожкову.

— Пусть подождет. Когда понадобится — я скажу.

Милованов выходил из землянки, смотрел вниз на хутора. Они тоули в красных массивах вишневых садов. Вокруг хуторов, волнуясь, бежала черная кайма окопов. Сейчас к ним по северному склону балки спускались танки, рассыпавшись, точно темные крапины волчьих следов, на белом снегу.

Танки шли, не открывая огня. Окопы тоже молчали. Казаки жадно курили, положив противотанковые ружья на брустверы.

— Опять у них. Петр Тимофеевич, нарисованы эти медведи!

— Опять, Куприян.

— Все пужают нас?

— Все пужают.

— Гм. Я как посмотрю, Петр Тимофеевич, ничему они пугному за эту войну не научились. Как хотели нас дуриком в первый секунд взять, так и сейчас с этой меркой воюют. А прежняя мерка для нас уже короткой стала. Я вон, бывало, раньше только издала почую, что танки ревут, а уж сердцем мертвею. А теперь я его могу свободно до своего окопа допустить. Потому, ежели я вырыл себе глубокий окоп, то могу в нем бесстрашно пребывать, и танк по мне может без пользы сколько угодно ходить. Пускай он ходит и ревет, все равно ему меня из земли не достать. Он для меня безвредный предмет, а я его очень даже свободно могу из окопа гранатой или этой штукой достать, — черноусый казак похлопал ладонью по прикладу противотанкового ружья.

— Правильно, Куприян, говоришь, — сказал веселый голос за их спиной.

— Ты, Федот? — обернувшись, изум-

лением спросил черноусый казак. На краю окопа стоял знакомый им старик.

— Ну да, я! Кому же другому быть? — бодро ответил старик. Из-под его ног в окоп шурша посыпалась сухая земля.

— Полную пазуху натрусил! — страшивая землю с воротника, сердито сказал Чакан.

— Как же ты сюда попал? — продолжал расспрашивать черноусый казак.

— Как другие, так и я. Чем я хуже других?

— Хоронись, дед, в окоп, — тоном приказания сказал Чакан. — А то наверно как пень торчишь, свою голову под пулю выставляешь и нашу маскировку нарушаешь. Скорей сигай сюда!

— Спасибо на приглашении, — ответил старик, проворно спрыгнув в окоп. Он поставил свой посошок в угол и, оглянувшись, довольно сказал: — А тут у вас сухо и тепло. Окопчик вы себе, ребяташки, вырыли глубокий и просторный. Совсем как дом.

— Это и есть для солдата дом, — сурово сказал Чакан.

— Я и сам вижу, что дом, но только у хорошего хозяина в углу всегда иконка висит. Ну да ничего, я и ясному солнышку поклонюсь. Ну вот, теперь я могу в своем новом жилище проживать. Под небесной крышей дышать еще веселее, и я, ребяташки, вот в таком окопе с великой бы радостью жил среди земной красоты. Кругом тебя степь, звери шныряют, птицы поют.

— Ну и жил бы ты себе, дед, в степи, — с ехидством сказал Чакан.

— Я бы, может, сейчас вольной пташкой щebetал, кабы семейством не оброс и забот себе не завел. А теперь куда бы я на своих беспутных ногах ни добежал, — все к своей старухе обратно иду. И иначе нельзя, потому не должен человек для одного удовольствия жить. Вот у меня шестеро сыновей, и все сейчас на войне, свои головы на пользу всему народу кладут.

«Ведь вот же какой дед, — с сокрушением думал Чакан, — никогда за словом в карман не полезет и на все у него готовый ответ есть. Самого от земли не видно, а шестерых сыновей на свет произвел».

— Погоди, дед, не торочь, — нетерпеливо перебил он старика. — Видишь, танки повернули и теперь идут прямо на нас.

Полк Лугового прикрывал северную окраину хуторов. На выгоне стоял старый, бескрылый ветряк — пристанище летучих мышей и сов. Оставалась только ветхая, дощатая коробка на каменной станине, позеленевшей от времени и от дож-

дя. В расщелинах ноздреватого камня пророс мох.

С ветряка Луговой наблюдал за атакой танков. Рядом с ним Синцов говорил, нервничая:

— Это новые немецкие танки «Хеншель». Кажется, их еще называют «Тиграми».

Не отвечая, Луговой смотрел сквозь пролом в стене ветряка. Танки выходили из-за кургана, построившись косяком. Луговой подумал, что это и есть классическая тевтонская «свинья».

— Немцы уверяют, что броня у «Тигров» полуметровая, — говорил Синцов.

От кургана до первой линии окопов было не больше двух верст. Когда танки прошли половину этого пути, открыли огонь пушки артдивизиона, спрятанные в садах. Разрывы снарядов окутали склон балки желтоватой мглой. Луговой увидел: один из средних танков круто свернул в кустарник и помчался по склону балки в сторону, пытаясь сбить ветром золотистое пламя с бортов. Другой танк забуксовал на одной гусенице, роя сугроб. Между тем остальные обошли его и продолжали спускаться к хуторам. Тяжелые двухбашенные машины шли впереди, тускло отсвечивая на солнце брони.

— Их не пробивают пушки, — с беспкойством сказал Синцов, дыша табачным запахом над ухом Лугового.

Вразброд застучали противотанковые ружья. Из степи потянуло пороховым душком. По спине холодком пробегал визг металла, скользящего по броне.

— Они неуязвимы, — тревожно сказал Синцов.

— Помолчите, капитан! — резко оборвал его Луговой. — У вас всегда крайности — Он и сам видел, что противотанковые ружья не причиняли тяжелым машинам вреда. С минуты на минуту танки могли ворваться в боевые порядки первого эскадрона. Что их могло остановить? В голове Лугового медленно созрела догадка.

— У вас есть спичка? — примирительно спросил Синцов. Луговой рассеянно протянул ему свою зажигалку. Синцов высек огонек, дал прикурить Луговому и Остапчуку, потом потушил фитилек, снова зажег и лишь после этого прикурил сам. В ответ на взгляд Лугового виновато сказал:

— Суеверная привычка. Никогда не прикурю третьим. Знаю, что вздор, но никак не могу избавиться.

Луговой впервые обратил внимание, что у Синцова мягкое, расплывчатое лицо. «Должно быть, любит попариться в бане». Луговой уже раскаивался в том, что грубо оборвал Синцова.

— Вот что, Синцов, — сказал он мягко, — вам придется пойти в первый эс-

кадрон. Надо будет пропустить танки через окопы и открыть огонь по корме и по бортам. Я уверен, что на бортах у них обычная броня. Танки уже подходят к окопам. Вы должны поторопиться.

— Иду, иду, — поспешно сказал Синцов.

Однако, ступив на шаткую доску, которая спускалась с ветряка вниз, он поспешил и, оглянувшись на Лугового, охрипшим незнакомым голосом сказал:

— Вы на меня не сердитесь, Луговой. Вы правильно сказали о моих крайностях. Отец мне еще в детстве говорил, что я когда-нибудь да сломаю себе шею, а мать всегда звала непутевым. Но вы на меня можете положиться, Луговой... Вот... — и он шагнул вниз.

«Удивительный народ! — подумал после его ухода Луговой. — Каких только людей не встретишь: Чақан, Милованов, Рожков, Синцов...»

Луговой не поверил, когда, спустя полчаса, из первого эскадрона пришел связной и сказал, что Синцов убит.

— Убит? — растерянно переспросил Луговой. Но в эту минуту позвонил Рожков. Думая о Синцове, Луговой снял трубку.

— Как у тебя дела? — спросил Рожков.

Дела были плохие. Противник снова переходил в атаку. Луговой видел с командного пункта, как приближаются к окраине хутора танки. В первом эскадроне, на окопы которого они направились, оставалось всего два десятка людей и три расчета противотанковых ружей. Обо всем этом надо было доложить Рожкову. Но Луговой нашелся только сказать одно:

— Синцов убит.

— А-а, — протянул Рожков. Помолчав, добавил: — Я тебе пришлю своего интенданта.

Положив трубку, Луговой вдруг отчетливо вспомнил красивое, самоуверенное лицо интенданта. Но тотчас другие события застучали эту мысль. Танки вплотную подходили к окопам первого эскадрона. Луговой вспомнил свой разговор с Рожковым лишь тогда, когда Остапчук, остановившись за его спиной, смущенно сказал:

— Тут до вас прийшли.

Обернувшись, Луговой увидел интенданта.

— Уже? — Он успел заметить, что у интенданта очень бледное лицо. «Как Марина?» — подумал Луговой.

— Идите в первый эскадрон, там нужна ваша помощь, — коротко сказал он интенданту и отвернулся.

Волна танков прошла через первую линию окопов. Казаки остались на местах. Теперь было видно, как они встали из окопов и завязали бой с подошедшей пехотой, надеясь отсечь ее от машин. «Молодцы», — подумал Луговой.

По необъяснимому побуждению человека, у которого кто-то стоит за спиной, он оглянулся назад и снова увидел интенданта. И что-то новое увидел он в его лице. Чутьем человека, привыкшего угадывать настроение людей, идущих в бой, Луговой почувствовал, что творится в душе интенданта в этот момент.

Он не мог не видеть, что происходит внизу, у кутуров, от которых, казалось, по воздуху передавался порыв отваги, охватившей людей. Эта отвага гипнотически передавалась сейчас и Луговому, и стоящему рядом с ним Остапчуку, и должно быть, интенданту, потому что Луговой увидел в его глазах знакомый, возбужденный блеск. И в красивом лице интенданта он впервые разглядел проступившие черты той суровости и мужественной готовности, которые может породить в человеке лишь внезапно вспыхнувшая в его груди отвага.

— Идите. — мягче повторил Луговой.

Он снова отвернулся и стал смотреть вперед. Через минуту Луговой увидел черную, с белым верхом, кубанку интенданта, замелькавшую в узких извилинах траншей. Быстрым, решительным шагом интендант шел на рубеж.

Тотчас же Луговой забыл о нем. Танки приближались ко второй линии окопов.

Колонна тяжелых машин дошла до середины поля и разделилась на две группы. Под прямым углом танки стали раскочевываться на правый и левый фланги. В клубах черного дыма и снежной пыли тонули и расплывались очертания тяжелых машин, а белая эмалевая краска, которой были окрашены танки, создавала впечатление, что это сугробы стронулись с места и пошли по степи.

В той группе, которая двинулась на левый фланг, было больше машин. Впереди шли три двухбашенных танка, резко отличных от других. Они казались вырубленными из сплошного куска металла. От их широких, осадистых корпусов, от массивных частей и блестящей на солнце панцирной брони веяло тупой грубой силой.

— Скоро два года воюем, а такие чудовища вижу в первый раз, — вполголоса сказал Куприян.

— Это и есть «Тигры». — небрежно ответил Чакан, хоть он и сам был поражен грозным видом доселе невиданных машин.

Моторы идущих впереди танков издавали низкий, утробный звук.

— Ты бей правого, а я левого, Куприян. Как подойдут до тех кустов, так и стреляй. — сказал Чакан черноусому казаку.

— А мне что делать? Ведь я тоже могу

вам, ребяташки, помочь? — спросил Чакана старик.

— А ты, дед, будешь из того ящика патроны подавать. Да поживее!

— Вот и мне работа нашлась, — радостно сказал старик, направляясь к ящику с патронами.

Не доходя до кустов, танки открыли залповый огонь. По черте окопов пробежал шорох, словно полосой прошел крупный и частый град. В окопы посыпалась земля.

— Стреляй, Куприян! — оглохнув от грохота, крикнул Чакан.

Среди тупых и гулких ударов пушек разрозненные выстрелы противотанковых ружей заочкали, как игрушечные хлопашки. Но в развернутой шеренге танков, идущих на хутора, острый глаз Чакана заметил причиненный ружьями урон. Два танка остановились, образовав просвет в колонне машин. Над их башнями вдруг ржавыми облаками заколыхалось пламя, и тотчас же в окопы донесся едкий бензиновый дупшок.

— Берет, Куприян! — радостно закричал Чакан. — Живей подавай патроны, старик!

Однако три головных двухбашенных танка продолжали идти вперед. Как ни напрягал зрение Чакан, он не мог увидеть ни одной трещины в их броне. Лишь кое-где были мелкие вмятины да поблескивали царапины — легкий осколочный след.

— Или их наше ружье не берет? — растеряно спросил Куприян.

— Возьмет! Еще не придумал немец такой силы, чтобы русское оружие не могло ее взять, — с уверенностью ответил Чакан. А у самого ёкнуло сердце. «Неужто не берет? Нет, не может быть!»

За складками степи пропадали и вновь появлялись орудийные башни, колыхаясь, как лодки на волне. Сначала показывался полукруглый верх, потом темное жерло и в то же мгновение в жерле взблескивал резкий слепящий огонек.

— Стреляй, Куприян! — торопил Чакан. Смяв гусеницами ракиевые кусты, танки ускорили ход. На больших оборотах стенившим звуком завывали моторы.

— Ты чего же молчишь, Куприян? Бей!

Но черноусый казак не отвечал. Выпустив из рук приклад противотанкового ружья, он прислонился спиной к земляной стенке окопа и стал медленно сползать вниз. Ноги его в шевровых сапогах подгибались, он тихо садился в окоп.

— Куприян! — с тревогой окликнул Чакан.

Черноусый молчал. С первого дня вместе с Чаканом они прошли через все мытарства войны. Делили пополам и горе, и тоску, и шепотку солдатской махорки. На привалах ставили рядом лошадей. Ели

из одного котелка и часто грызли один черствый сухарь. Им тучки не пробежало между ними, ни одного крутого слова не было сказано в сердцах. До самого Дона дошли, неразлучно проделав весь поход. А тут не отозвался Куприян на призывное слово своего боевого друга, ни звука не проронил в ответ.

— Ах, ты, боже мой! — подхватив под руки Куприяна, горестно засуетился вокруг него старик. Он уложил отяжелевшее тело Куприяна на дно окопа, стал на колени, наклонился над его лицом. — Не дышит. Убит. Даже вздохнуть не успел.

На лицо убитого медленно набежала землястая тень. Желтоватая бледность крыла его черты, придавая им суровую отчужденность от мира. А на небритых окаменевших скулах еще не остыл румянец и с заиндевевших оттаявших ресниц на щеки стекала росинки светлой прозрачной воды.

А танки шли...

— Господи помилуй, — забормотал рядом с Чаканом старик.

Слышно было, как осколки мышцеаквивают по стальной броне.

В чадном дыму и в тучах летящего металла танки непреодолимо шли на хутора. На подходе ко второй линии окопов они прекратили огонь. Взревев моторами, они устремились вперед. У Чакана лопило плечо от непрерывных толчков ружья. Пышущий жаром ствол жег ладонь. Он нагребал с брестера на ружье снег и снова стрелял. Прямо перед собой Чакан видел черные траки гусениц. Они неудержимо надвигались на него. Суевольный ужас обнял душу Чакана: ему захотелось выскочить из окопа и без оглядки бежать от этих чудовищных, непоражаемых машин.

— Патроны, дед! — прерывающимся голосом крикнул он.

— Сейчас, сейчас, — засуетился старик. Не добежав до угла окопа, он схватился рукой за бок и тяжело опустился на ящик, по-рыбьи зевая ртом. Из его груди вырвался сдавленный хрип, а изо рта хлынула и побежала по бороде, по рваному, заштопанному тулущу дегтярно черная кровь.

Горе и злоба стиснули сердце Чакана. Он остался в окопе один. «Так нет же, не может быть, чтобы на этого стального зверя не нашлось узды! — подумал он, припадая к ружью. — Не может быть, чтобы этой своей громадной коробкой немец русского человека одолел!»

Чакан налег плечом на бруствер, тщателью децаясь. Головной двухбашенный танк, переваливаясь неуклюже, точно черепашка, обходил минное поле и, повернувшись, открыл свой бок. Чакан выстрелил и подбил танк.

С командного пункта, сквозь застилавший поле дым, Луговой видел, как загорелся первый тяжелый танк. «Нет, Синцов неправ», — радостно подумал Луговой. Нахмурившись, он поймал себя на том, что продолжает думать о Синцове, как о живом. Он привык видеть Синцова около себя, привык к его странностям, к его нервозности и незаметно для себя привязался к этому человеку. Рядом с беспокойным, взбалмошным Синцовым он сам внутренне подтягивался, вел себя сдержаннее. Сейчас в бою Луговому не хватало резкого голоса начштаба, его сулавных движений, его круглых глаз на воспаленном лице. Война роднит души людей, а Лугового судьба свела с Синцовым еще в тягостные дни отступления. В сущности, он был совсем не плохим человеком. Легко возбуждаясь, он так же быстро успокаивался и становился незаменимым помощником. К тому же Синцов был хорошим товарищем, склонность преувеличивать опасность не мешала ему лично быть храбрым в бою. «Тает полк, — думал Луговой, — и кто знает, сколько еще близких и дорогих людей мы недо считаемся в последний день войны?»

Танки выходили на окраину хуторов. На пути их лежала мелкая, не замерзающая зимой речка. Спустившись к берегу, танки напоролась на минное поле и медленно стали отходить назад. Лишь один прорвался на северную окраину хуторов. Переехав речку, он вскарабкался на высокий берег и ринулся вперед, ломая и подминая под себя молодые вишневые стволы. Повалив деревянный колодезный сруб, он подмял красноталовый плетень и вышел на просторный колхозный двор. Из-за угла зернового амбара противотанковый расчет выкатил навстречу танку неправдоподобно маленькую пушчонку. Вздрогнув, она в упор ударила по башне. Могучая машина повернулась на месте, из ее щелей повалил густой мазутный дым. Бросив пушку, артиллеристы побежали к танку. Задний люк с лязгом откинулся, и из него выпрыгнул худощавый танкист с неприкрытой головой. Развевая полами серой офицерской шинели, он зигзагами побежал к колхозному двору, оглядываясь, точно уходящий от облавы волк. Но его догнала пуля и он, взмахнув руками, упал, уткнувшись лицом в конский навоз.

А из люка танка показалась голова друтого танкиста в черном круглом шлеме. Он вылез на танк и, неуклюже подняв над головой руки в кожаных перчатках, сказал, мешая русские и немецкие слова:

— Война некорош. Гитлер капут.

Между атаками выпадали минуты тишины. Казаки жадно глотали нападав-

ший на брустверы снег. Над окопами кольцами вился мажорочный дым. Люди ненасытно скручивали цыгарку за цыгаркой, рассыпая дрожащими пальцами табак. С глубокими дихорадочными затыжками осаживались на дно души усталость, напряжение, страх, тревога перед тем неизвестным, что еще предстояло впереди.

В терновой посадке на гребешке степи после мгновения ничем не заполненной, томительной тишины испуганно прикорнувший на ветке снегирь ронял нечаянно свист. И вдруг чаша оглашалась веселым щебетом и радостной суетней маленьких красногрудых птах.

— Эка, обрадовались! Не нравится им война, — усмеялся, говорил Милованов начальнику штаба.

Тот докладывал:

— От Мирошниченко приехал офицер связи.

— Знаю, знаю, — нетерпеливо перебивал Милованов. — Спрашивает, когда выступать? Еще рано.

Начальник штаба мялся, ломал в пальцах сухой стебелек.

— Ты что, Ваня?

— Не пора ли, товарищ генерал?

— Ты слышишь, Ваня, как гложет зац молодое дерево?

Казалось, Милованов думал совсем о постороннем. Но взгляд его неизбежно обращался к хуторам. Спускаясь в землянку, Милованов говорил:

— Да, я забыл тебя предупредить, Ваня. Когда начнут окапываться — скажи.

В лице начальника штаба, в строгом лице часового, застывшего у входа в землянку, в глазах склонившегося над аппаратом связиста Милованов читал один и тот же вопрос. Все ждали, когда он скажет: «пора!». И все отказывались понимать, почему он медлит. Хутора опоясывало зарево пожаров. Ветер приносил из балки острую горечь тлеющей вишневой коры.

Милованов снова выходил из землянки, подолгу смотрел на хутора и, возвращаясь, опять видел устремленные на себя глужие, настоженные глаза. Нет, он не мог сказать им: «пора!». По числу горящих танков, в беспорядке разбросанных внизу, на склоне балки, точно фигуры на шахматном поле, по ярости и скоротечности немецких атак, по самому дыханию боя, он внутренним чутьем определял приближение того переломного момента, от которого зависит конечный исход. Так художник, заканчивая картину, не может знать, но предчувствует, когда последует решительный удар кисти. Перед его мысленным взором проплывало поле боя, широкая, заснеженная степь. Она ему представлялась гигантским белым холстом с рассыпанными на нем контурами

танков, с яркими пятнами орудийных вспышек, темными лысынами пожарищ и каймой сплошных вишневых садов. Задернутое пеленой дыма, заваленное грудями разбитого металла и освещенное отблесками зарев, поле боя открывалось его глазам почти во всей полноте. Осталось сделать кистью последний мазок. Он внутренне напрягался, чувствуя приближение решительной секунды. Он ждал, когда схлынет волна танковых атак, когда выдохнется противник и сломается его ярость, — ждал, чтобы нанести удар.

В землянку быстрыми шагами спустился начштаба.

— Они залегли, — сказал он взволнованно.

— Ты не ошибся?

— Нет, они роют окопы.

Милованов снял со стены бурку, надвинул на лоб серую курпейчатую папаху.

— Рожкову перейти в контратаку. Мирошниченко атаковать навстречу, пробиваясь к садам, — Милованов быстро повернулся к адъютанту: — Зоя, машину!

Как порубленные осколками вишневые сады, редел полк. Только недавно Луговой вместо убитого Синцова послал в первый эскадрон интенданта, а теперь ему сообщили, что и он ранен. Когда отрезанная от танков немецкая пехота залегла перед окопами, интендант поднял казаков в контратаку и первым вылез на бруствер. Зажав в руке гранату, он пошел впереди казаков. Как-то по-новому сидели на нем мерлушковая с белым верхом кубанка и кожаное пальто. Высыпав из окопов, казаки побежали за ним. Залегшую немецкую пехоту забросали гранатами, стали рубить флянками в пешем строю. До самого кургана гнали одетых в серозеленые мундиры смешавшихся солдат. Рослая фигура интенданта в кожаном пальто резко выделялась на белом снегу. С кургана сухо и злобно треснула снайперский автомат. Интендант прошел еще несколько шагов и упал, окрашивая своей кровью снег. Отхлынувшие от кургана казаки подхватили его и унесли в свои окопы.

Узнав о том, что интендант ранен, Луговой ощутил острый укол жалости. Но в то же время он испытал чувство радости от сознания того, что вот на его глазах в челоушке, совершившем столько ошибок в жизни, в бою раскрылись черты мужества, воли, сознание воинского долга.

«Да, ненависть к врагу и борьба с ним очищающим образом действуют на души людей» — думал Луговой. Но опять заботы боя повернули его мысли в иное русло. После контратаки на склоне балки вповалку лежали трупы не-

мецких солдат. Но между ними виднелись и синие чекмени казаков. В эскадронах оставалось по двадцать сабель. Луговой чувствовал, как натягивается готовая лопнуть струна. «Надо прорываться через сады и уходить в степь».

Приехал Рожков. За один день он ссутулится и постарел. Сознание ошибки мучило его. Но он не потерялся и не обмяк, что могло бы случиться на его месте с другим. От всей его грузной фигуры веяло спокойствием и упорством.

— Надо прорываться, — сказал Рожков.

— Да, надо прорываться, — подтвердил Луговой.

— Будем пробиваться через сады.

— Да, да, именно через сады, — сказал Луговой, радуясь тому, что он и командир дивизии нашли общий язык.

— Но кто-то должен остаться, чтобы задержать их здесь, — Луговому показалось, что Рожков при этом выжидательно посмотрел на него.

— Я останусь.

— Я это знал, — голос Рожкова дрогнул. — Я тоже остаюсь.

— Товарищ генерал, — растроганно сказал Луговой, — вы должны вывести всю дивизию. Вы не имеете права оставаться здесь.

— Да, ты прав, — Рожков помедлил и усладо продолжал: — Я перед тобой виноват, Луговой. Да, да, виноват, — заметив его протестующий жест, нахмурился Рожков. — И перед тобой, и перед всеми, и перед ним, — Луговой понял, о ком говорил его начальник. — И он, и ты, и другие предупреждали меня, а я...

Он замолчал, на его окаменевшем лице вновь проглянули черты сурового командира. Рожков сказал:

— В контратаку переходим через час. Чтобы обмануть их, ты здесь откроешь огонь из всех огневых точек. Лошадей оставим, пойдем налегке, в пешем строю. Раненых понесем на руках. Тебе оставляю один эскадрон и артдивизион.

Луговой знал, что в артдивизионе осталась только одна пушка. Рожков угадал его мысль:

— Конечно, этого мало, но ты сам понимаешь, что в первую очередь мы должны вывести людей.

Луговой мысленно сосчитал — с ним осталось не больше ста человек. С этой горсткой людей почти невозможно продержаться, если не подойдет помощь.

— Нет, этого достаточно, — поспешно сказал он.

— Мало, — спокойно повторил Рожков. — Но если ты продержишься до заката, мы сумеем тебе помочь.

За спиной Рожкова вырос адъютант, держа в руке голубоватый листок.

— Что такое? — обернувшись к нему, спросил Рожков.

— Радиограмма из штаба корпуса.

— Ну, вот видишь, Луговой, впервые мы с ним угадали друг друга, — прочтя радиограмму, радостно сказал Рожков. — Он тоже приказывает перейти в контратаку. Я этому очень рад. Очень и очень рад, — взволнованно повторил он.

Спустя полчаса скрытое оживленное движение началось в окопах вокруг хуторов. На северной окраине пулеметы и минометы открыли ожесточенный огонь. Под прикрытием этого огня казаки поодиночке ходами сообщения стали отползать из окопов в глубь хуторов. Реденький оставался на переднем крае заслон. Казаки оставили на брустверах окопов фуражки, чтобы не сразу был замечен их уход. Пули и осколки рыли вокруг фуражек землю и снег, на мелкие клочья рвали красное и синее армейское сукно.

За стенками домов, за стогами собирались казаки в эскадроны и полки. Украдкой оглядывались на черневшую в отдалении линию окопов, в которых оставались товарищи, обреченные, казалось, на верную смерть.

— Коней будем с собой брать? — хмуро спросил Чакан сына.

— Нет, — коротко и сурово отрезал Дмитрий.

— Та-ак, — протянул Чакан. — И пашки, значит, здесь бросим?

— И пашки.

— Никуда я, дорогой товарищ командир эскадрона, отсюда не пойду, — решительно заявил Чакан. — Я не подлец какой и не могу здесь свой позор оставлять. Пускай другие, какие желающие, идут.

— Вот что, батя, — раздувая ноздри повернулся к нему Дмитрий. — Ты свои речи брось и душу мне не трави. Ты думаешь, только тебе одному тошно и только у тебя одного сердце есть? Оглянись и посмотри на казаков. У каждого солдатское сердце не велит своих товарищей в беде покидать. Да я... — голос Дмитрия упал до звенящего полушопота, — сам посчитал бы за великое счастье остаться среди них. Да нельзя! — Голос Дмитрия опять окреп. — Приказ, батя, не велит мне оставаться здесь. А не исполнять приказа я не могу. Ты сам понимаешь, что такое на фронте приказ. Это прямая дорожка к победе. А чуть свернешь ты с этой дороги, — не придешь к победе. Я своему старшему командиру не могу не доверять. А раз я ему доверяю, то, значит, каждое его слово для меня безусловный закон. Пускай он мне в горячем огне прикажет стореть, — я не нарушу этот закон.

Дрожащими пальцами Дмитрий стал развязывать кисет.

— Коней жалко бросать, сынок, — жалобно сказал Чакан. Слова Дмитрия рстрогали его до глубины души. «Выучил-

ся, знает службу сынок!», — с гордостью подумал он.

— Жалко, батя, — до бледности затягиваясь табаком, коротко ответил Дмитрий. Потом закашлялся и, вытирая рукавом проступившие на глаза — от едкого махорочного дыма — слезы, сказал: — Придется бросить. Будем пробиваться пешком.

Чакан подошел к своему трофейному красавцу-жеребцу. За этот месяц он привязался к нему. Баварский кудехвостый конь удивительно быстро научился понимать русские слова и узнавать своего хозяина по звуку шагов, понимал Чакана по одному взгляду, по легкому прикосновению ласковой руки. Зато ж и миловал Чакан коня, баловал суровой солдатской лаской. По ночам укутывал жеребца своей шинелью, а сам мерз в легоньком чекмене. Утром разрежет хлебный паек и большую половину отнесет коню. А тот уже знает этот час, ждет и, благодарно всхрапывая, косится на Чакана глазом.

— Ну, ну, не тоскуй! — потрепав жеребца по холке, глухо сказал Чакан. И это было все, что он был в силах сказать. Поворачивая сухую, словно вылитую из серого чугуна голову с умными, живыми глазами, конь с беспокойством следил за Чаканом, который, ссутулившись и не оглядываясь, пошел прочь, быстрыми шагами догоняя свой спешенный эскадрон.

Сосредотачиваясь, полки и эскадроны спускались к садам. В тягостном молчании шли казаки, неуверенно ступая привыкшими к седлу ногами по шаткой земле.

Оставшись на северной окраине с горсточкой бойцов, Луговой приказал усилить отвлекающий минометно-пулеметный огонь. С ветряка он видел, как забегали, закопошились солдаты противника на склоне балки в наспех отрытых огневых ячейках. Муравьиная суетня немцев выдавала их приготовления к атаке.

Успеет ли ушедшая с Рожковым дивизия нанести удар прежде, чем немцы поймут свой просчет? Для этого нужно подольше приковывать их внимание к северной окраине хуторов, Луговой спустился с командного пункта и быстро, почти бегом, пошел на передний край.

Он услышал за своей спиной глубоков и тяжелое дыхание. Оглянулся. Это был Остапчук.

— Ты почему здесь?

— А де ж бы я був? — Лугового поразило его вызывающий и сердитый голос.

— Отправляйся с полком. Там сейчас каждый человек нужен.

— Я виддйялa нукуда не пойду, — не трогаясь с места, упрямо и угрюмо сказал Остапчук.

— Как не пойдешь? — переспросил Луговой. Впервые исполнительный орди-

нарец осмеливался послушаться его приказажй.

— Я вас не могу бросить, товарищ майор, — шумно вздохнув, ответил Остапчук.

— Сержант Остапчук, повторить мое приказание, — строго сказал Луговой.

— Отправиться в полк, — пробормотал Остапчук; слеза блеснула в его маленьких глазах. Он медленно повернулся и, косолапя, пошел к садам.

— Остапчук! — негромко окликнул Луговой.

Ординарец вернулся.

— Теперь иди, — целуя его, дрогнувшим голосом сказал Луговой, взяв ординарца за плечи и повернув лицом к садам, легонько толкнул его в спину.

В то время, как Луговой, оставшись с горсточкой бойцов, удерживал северную окраину хуторов и вел отвлекающий огонь, дивизия, скрытно накопившись в садах, перешла на южной окраине в атаку. Спешенные казаки в брод форсировали речку и, смяв боевое охранение немцев, пробиваясь из окружения, волной хлынули в степь. Командир дивизии «Викинг» генерал-лейтенант Штайнер спешно бросил на шкодовских грузовиках в район прорыва полк эссовцев. Но когда, спрыгнув на землю с грузовиков, рослые солдаты в черных шинелях, с безглазыми черепами на кокардах фуражек стали картинно, точно на параде, развешиваться для атаки, за их спиной вдруг возник густой конский топот и рёв. На южной окраине степи появилась казачья лава. Кольхались красные околыши фуражек. Впереди, в перламутрово-светлых облаках снежной пыли шли танки.

...Чакан с трудом поспеивал за всеми на своих старых, отвыкших от ходьбы ногах. Он вскоре вспотел и почувствовал медкие уколы в сердце. Словно быстро-быстро прошивала сердце тонкая острая игла. Он остановился, схватившись рукой за грудь. «Видно, отбежался я!» Раньше не знал он, что такое слабость. Бывало, с ружьем и собакой уйдет на рассвете в степь и вернется уже затемно, исходя по чернотропу десятка три верст. А чуть свет — опять на ногах, ж снова готов хоть на край света.

Казаки врассыпную бежали далеко впереди. Между ними мелькала высокая, плотная фигура Дмитрия в черном коротком полушубке. «Бросил отда сынок, — с жалостью к самому себе подумал Чакан. — Никому ты не нужен, старик», — держась за сердце рукой и медленно ковляя по степи, думал он. Припомнились слова Дмитрия еще в начале похода в терской степи: «Тебе бы, батя, на завалинке сидеть да старые кости греть! А здесь пользы от тебя никакой, только одна морока».

Может, Дмитрий прав? Может, он, Чакан, действительно лишний человек и обуза в полку? Мысли одна другой горше закопошились у Чакана в голове.

На обледеневшей кочковине Чакан поскользнулся, почувствовал острый ожог на виске. Звуча пули не услышал. Тронув рукой висок, он ощутил на пальцах что-то клейкое и густое, как расплавленная смола.

Пролетевшая пуля лишь слегка оцарапала Чакана. Но то ли от сознания, что он ранен, то ли от сладкого, тошнотворного запаха и вкуса крови, залившей ему глаз и набежавшей в рот, он вдруг почувствовал странную тяжесть в голове и слабость в ногах. «Вот и все», — покачнувшись, равнодушно, точно о чем-то постороннем подумал Чакан. Но сильная рука поддержала его за локоть.

— Что с вами, Петр Тимофеевич? — спросил над ухом Чакана девичий голос.

Оглянувшись, он увидел веснушчатое лицо медицинской сестры Фроси.

— Вы ранены? — спросила Фрося. Она дотронулась пальцами до его виска, быстро достала из сумки с красным крестом санитарный пакет и ловко стала перевязывать голову Чакана белым бинтом. Он испытывал успокоение от прикосновения ее маленьких, покрасневших от холода пальцев. И еще большее наслаждение испытывал Чакан от сознания того, что его не забыли, нашли в этой степи и поддержали за локоть — его, старого, уставшего, раненого, готового упасть.

— Вот. А теперь идемте, — туго затягивая бинт на голове Чакана, сказала Фрося и снова взяла его под локоть своей маленькой, сильной рукой. И они пошли рядом по заснеженному полю среди летавших и жужжавших в воздухе осколков и пуль.

От прежнего чувства одиночества в душе Чакана не осталось и следа. Нет, никто не считает его лишним человеком и обузой в эскадроне и в полку. Разве он не поджег сегодня из своего ружья немецкий танк? И на Дмитрия не мог обижаться Чакан, думать, что сын его забыл. На совести Дмитрия была весь эскадрон и, выводя его из кольца, он не мог отглядываться на оставшего где-то отца.

— Вы не устали? Крепче держитесь за меня, — своим певучим голосом говорила Фрося.

— Нет, не устал, — опираясь на ее плечо, отвечал Чакан. От фросиною голоса тепло у него в груди. «Хорошая будет шестка», — думал Чакан, поглядывая из-под белого бинта на ее удивительно свежее и румяное на морозном ветру лицо.

— А ведь я против тебя грешил, — внезапно сказал он.

— Что вы, Петр Тимофеевич, я и не знаю, — смутившись, ответила Фрося.

— Ты уж на меня не сердчай!

Они шли по чистому белому полю, по колени в снегу, — восемнадцатилетняя девушка и старый, проживший более полувека русский солдат, участник трех войн. В голове Чакана было на диво легко и ясно. Опираясь на круглое плечо Фроси, он говорил:

— Кончится война, выйдешь за Дмитрия, приедешь к нам в станицу жить.

Ветер дышал им в лицо дымом и смрадом, густыми запахами войны.

— Нарожаеть мне, старику, влечат на утеху..

А вокруг них грохотал бой, в воздухе витала смерть и червонное пламя бушевало в садах.

На степном гребне кавалеристы Мирошниченко встретились с остатками дивизии Рожкова. Впереди шел черный, обсыпанный землей Рожков. Мирошниченко, подъезжая на лошади, еще издали увидел его плотную коренастую фигуру. Опираясь на плечо адъютанта, Рожков прихрамывал на левую ногу. Пола белого крестьянского полубубка была забрызгана кровью.

— Ты ранен, Сергей Ильич? — соскакивая с лошади, испуганно спросил Мирошниченко.

— Пустое, — морщась от боли в ноге, ответил Рожков. Раскрыв руки и сильно прихрамывая, он растроганно пошел навстречу Мирошниченко.

Они обнялись.

— Спасибо, Кузьма!.. Это по-солдатски.. Не забыл казака.

— Я и есть солдат. Разве можно? Что ты, Сергей Ильич!

Они смотрели друг на друга просветленными глазами.

— Я тебя хотел просить, Сергей Ильич, — помолчав, смущенно кашлянул Мирошниченко.

— Говори, Кузьма.

— Тут такое дело... — Мирошниченко виновато поскреб за ухом — Третьего дня твои хлопцы наверно по ошибке у меня коней увели.

— Да ну? Ведь вот чертовы дети! Верну. Непременно верну, — и впервые за весь день Рожков рассмеялся гулким, здоровым смехом человека, снявшего с себя тягостное бремя вины.

К ним быстрыми шагами подходил Милованов. Рожков ждал его, наклонив крутолобую голову. «Я провинился, наказывайте меня, я готов», — говорил он всем своим видом.

— Товарич командир корпуса, дивизия вышла из кольца, — ступив шаг вперед и бледнея от боли в ноге, вслух сказал Рожков.

— Вижу и поздравляю, — переводя

взгляд с одного на другого, сказал Милованов. За гребнем настойчиво, редко и тупо громыхали пушки. Глаза Милованова осветились жестким, холодным светом изнутри.

— Дивизиям продолжать наступление и преследовать противника в общем направлении на Ростов, — сказал он, медленно отчеканивая слова.

Отлогий склон балки курился изжелта бурым дымком. Оттаявшие в огне сражения рыхлые, ноздреватые сугробы журчали ручьями. Вода мутными потоками стекала в хуторские сады, омывала сгоревшие деревья, несла на себе черную золу. У подошвы кургана, среди сугробов, в хаотическом беспорядке были раскиданы обугленные остовы танков, исковерканные гусеницами стволы и лафеты пушек, золотыми горами высились стаканы расстрелянных снарядов. На лицевой уцелевшей броне немецкого танка игрушечный медведь танцевал свой смешной и нелепый танец. Трупы убитых странно оживляли зловещую картину разрушенного металла. Один лежал навзничь на орудийной башне танка, другой стоял на коленях, уткнувшись лицом в снег, третий, еще не остывший, свешивался с брестера, медленно сползая в окоп. Из его слабющих рук выскальзывал автомат.

Луговой тихо шел среди черных обломков машин и трупов людей. На краю воронки, вырытой снарядом, рядом с черным кожаным шлемом немецкого танкиста лежала фуражка донского казака. Подняв фуражку, Луговой поискал глазами ее владельца. Повсюду — среди мертвых танков, в окопах, на поле — лежали трупы, но вблизи от воронки не было ни одного. Синий суконный верх фуражки забрызган мелкими крапинками крови. «Где же ее хозяин?» — думал Луговой. Невдалеке дотлевала серая кучка золы. «Может быть, это и все, что осталось от человека, который жил, любил, ненавидел, которого кто-то ждет впереди?»

И другое, тяжелое чувство ненависти к

людям в серозеленых шинелях, которые лежали среди разбитых и уничтоженных машин, с новой силой поднялось у Лугового в груди. Он продолжал их ненавидеть даже мертвыми, когда они уже не могли причинить зла. Кто их сюда звал? Зачем они сюда пришли? Зачем они вынудили русских людей умирать за то, что им принадлежит по праву, что принадлежало их далеким предкам, дедам и отцам?

Сбоку воронки лежал убитый немецкий танкист. Лицо его исказила гримаса животного ужаса. Вдруг с ясной отчетливостью припоминая все подробности минувшего дня, Луговой подумал, что это, вероятно, был тот самый офицер, который пытался бежать из подбитого танка.

Ему вдруг захотелось посмотреть на лицо той женщины, которая вскормила своей грудью этого ублюдка, остывающего сейчас среди русских снегов. Так захотелось, что Луговой нагнулся и отвернул борт шинели на груди убитого. В руках у него оказалась маленькая черная книжка. Он развернул ее и поднес к глазам. «Я опять лишился своего дневника», — прочел Луговой.

Яркий восторг, наслаждение, радость испытал Луговой. Вот она, выстраданная и осуществленная месть! Этот человек, который лежал сейчас перед ним, и соотечественники этого человека, которыми было завалено все поле, уничтожены им, Луговым, и его товарищами, давшими святой обет мести.

Рассеялся пороховой дым. Ветер сдернул с земли смрадный покров и обнажил степь. Развевались запахи тлена и смерти. А из хуторов донесся аромат вишневых садов, согретых теплым дыханием ветра, полного предчувствием весны.

Выехав из балки, казаки поднялись на степной курган. Лошади Чакана и Дмитрия стали рядом. На голове Чакана белела повязка, сквозь которую проступила кровь.

— Чуешь, батя, Доном пахнет? — взволнованно спросил Дмитрий.

— Чую, сынок, чую, — ответил Чакан, привставая на стременах.

СТИХОТВОРЕНИЯ

• •

А. ЛЕОНТЬЕВ

Здесь будут вечером подолгу
Смотреть на звезды и на снег,
На мост высокий через Волгу
И в свежей зелени проспект.
Где те дома, что уцелели.
Потомкам славу сберегут.
Мы на привале.

Чай согрели.

И спать легли на берегу.
Спят офицеры и солдаты
И видят радужные сны,

Что возвратились в те же хаты,
В которых жили до войны.
Но пережив такое горе,
На многое меняют взгляд
И, восстанавливая город,
Всегда о лучшем говорят.
И как нам прошлое ни мило,
Но мы увидим край родной
Еще прекраснее, чем был он
В последний день перед войной.

• •

Ф. ФОЛОМИН

В державе хвойной, в самобытных чашах.
Где утро пробивается с трудом,
Мы сохранили зябкой песни ящик;
Мороз не тронул звуки жизни льдом.
Четыре взвода сшиблись на привале
За синий ящик, полный коловства.
Из цепких рук бойцы пластинки рвали,—
Отдайте нам забытые слова!
Как дешева та песенка смешная!
Поет мужчина в мирной стороне
О том, как дремлет улица ночная,
Как огонек горит в твоём окне.

Стыдился каждый медленной печали,
Грубел лицом и речью на ходу,
А звуки мягко сердце очищали. —
А ну, подвинься! Дай-ка заведу!
Чиста улыбка скромного вниманья.
Молчанье наше — воинский обряд,
А песня в город откровенно манит,
Грустит про то, о чем не говорят.
Любовь жива, — ее ничто не сломит;
Сойдемся к песне, головы склоня!
Бойцы проснутся ночью на соломе
И отогреют память у огня.

ОТЧИЙ ДОМ

Пьеса в 4-х действиях

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

★

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Зина Судейкина, 17—18 лет, работница, бригадир молодежной бригады	Харитон, его приятель, воспитанник Суворовского училища
Вася, ее брат 19—20 лет, рабочий	Хомутов, Валерьян Авдеевич, инженер 31 года, побывавший на многих стройках Союза
Саня Вера	} ее подруги детства
Дуся, ее подруга и соперница по производству, бригадир молодежной бригады	Коновалов, директор паровозостроительного завода
Сарафанов, майор-танкист, дядя Зины и Васи Судейкиных	Никаноров } Арсеньев } старые рабочие
Бондаренко, шофер Сарафанова	Северюгин, генерал, начальник тыла фронта
Волюшкина Полина Николаевна	Мартынова Мария Степановна, вдова замученного немцами рабочего
Коля, ее сын, мальчик 11—14 лет, в последнем действии воспитанник Суворовского училища	Мальчик } Девочка } ремесленники

★

Время действия — первая половина 1944 года. Место — освобожденный от немецких захватчиков рабочий поселок.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Сцена представляет главную комнату в трехкомнатном домике в рабочем поселке. Здесь жил со своей семьей знатный железнодорожник машинист Судейкин. Слева две двери; одна — из сеней и кухни, другая — из второй комнаты. Справа одна дверь — из третьей комнаты. Два довольно больших окна. Между этими окнами до войны стояло узкое зеркало со столиком. На окнах висели тюлевые шторы. Посередине комнаты стоял обеденный стол. Над ним — лампа под ярким сатиновым абажуром. Справа у стены находилось пианино, покрытое гарусной салфеткой. Были часы, был диван с высокой спинкой и полочкой с зеркальцем, было кресло, этажерка с книгами, тетрадами и глобусом. В кадках росли лимоны. Зимой весело и жарко горела печка; весной и летом в окна дышало свежей зеленью тополей и доносился запах цветов из палисадника. Сейчас ничего этого нет. Два года здесь хозяйничали немцы. Только что их выгнали. Следы их пребывания ужасны. Все разграблено, загажено, уничтожено. Голые, грязные стены со следами множества гвоздей. Закопченная печь с оббитой штукатуркой. Выбитые стекла. Нары. На нарах жуткое тряпье. Солома на полу. Сломанный противогаз. Помятая немецкая каска. Видимо, здесь помещались солдаты. В одном месте на стене видна черная надпись: «Мин нет, ст. сержант Антонов». Серый, бесприютный зимний день. В окна, за которыми виден обугленный тополь, иногда несет мелким снегом. Несколько очень, очень далеких пулеметных выстрелов. Последние звуки удаляюще-

гося фронта. Посреди комнаты стоит девушка лет семнадцати-восемнадцати. На ней пушистая уральская ушанка и черная шинель ремесленного училища, из которой девушка явно выросла. На спине у девушки вещевой мешок. В руке сундучок и жестяной чайник. Это Зина Судейкина. Она только что приехала с Урала в свой родной город и вошла в свой дом. Она потрясена, подавлена. Она не может притти в себя. У двери слева стоит худая женщина. Это Полина Николаевна Волюшкина, два года скрывавшаяся при немцах и недавно только вышедшая из подполья. Ей тридцать два года, но кажется она гораздо старше. Зина открывает двери и поочередно заглядывает во вторую и третью комнаты.

Зина. И там то же самое. Что они сделали? Что они только сделали, мерзавцы проклятые. Все ограбили. А в кухне что?

Волюшкина. В кухне я живу с мальчиком. Там теплее.

Зина. Вы кто?

Волюшкина. Я нездешняя.

Зина. Здешних я всех знаю. Я здесь родилась. Мы здесь всю жизнь жили. Это наш дом.

Волюшкина. Значит, это ваш дом?

Зина. Да, это наш дом.

Волюшкина. Вы не беспокойтесь. Мы здесь с мальчиком не надолго. Я жена командира. Мы скоро уедем. Мы с мальчиком двадцать семь месяцев находились на территории, занятой немцами. У меня муж партизан. Мы все время прятались. Чего натерпелись — страшно вспомнить. Моя фамилия Волюшкина, Полина Николаевна.

Зина. Зина.

Волюшкина. Вы не беспокойтесь. Мы здесь долго не задержимся.

Зина. Нет, что вы. Сколько уютно. Я не о том.

Волюшкина. Я сейчас мужа разыскиваю. Он наверное нас уже и в живых не считает. В райвоенкомате обещали навести справку. Уже три недели прошло, а еще ничего нету. Прямо не знаю, что и подумать. Уж ходить устала. Нынче Коля своего отправила узнавать.

Зина. У вас глаза какие-то опухшие, красные. Вы все время глаза ладонью закрываете. У вас глаза большие?

Волюшкина. Нет, здоровые. Они еще к свету не совсем привыкли. Мы последние семь месяцев в погребке жили, без капельки света.

Зина. Семь месяцев в погребке?

Волюшкина. Семь месяцев и четыре дня. Думали — ослепнем. Видите, сколько седых волос? А мне всего тридцать два года. Муж увидит — не узнает. Испугается. И Колю не узнает. Боже мой, боже мой. Три года скоро. Зачем вы сюда приехали?

Зина. Жить приехали. Такой чудесный был город — и посмотрите, что они с ним сделали! Сколько садов было, заводов — паровозостроительный, ремонтный...

Волюшкина. Все взорвали. Сады вырубали.

Зина. Я видела. Ужас. (Осматривается.) Неизвестно, за что сперва братья. У вас ведра какого-нибудь нету?

Волюшкина. Ведра нету. Есть большая жестянка из-под консервов.

Вася (в окне. Это брат Зины. Ему 19—20 лет. Работает на заводе. Приехал вместе с Зиной. Одет очень просто, но тепло). Ну, что у тебя слышно?

Зина. Заходи. (Волюшкиной.) Что с вами? Чего вы испугались? Это мой брат, Вася.

Волюшкина. Мне показалось, что это Коля из военкомата вернулся. Какая я нервная стала. Каждого стука боюсь.

Вася (входит, останавливается, смотрит, молчливо заглядывает во все комнаты). Так. Все ясно.

Зина. Был на заводе?

Вася. Да. Котельная взорвана, инструментальный — начисто; сборочный — начисто, в механическом два пролета уцелели, шестьдесят процентов перекрытий к чорту.

Зина. А станки?

Вася. По всей территории разбросаны. Как видно, не успели вывезти. В общем все вот так: вверх дном. Непонятно, с какого конца братья.

Волюшкина. Тише! (Прислушивается.) Кто-то в сени вошел. (Подходит к двери.) Кто там ходит? (Тревожно.) Коля, это ты? Никого нет. Ветер шуршит снегом.

Вася. Что ж, пойдём, Зина.

Зина. Куда пойдём?

Вася. К ребятам, в барак.

Зина. Зачем это?

Вася. Жить где-нибудь надо?

Зина. Дома надо жить.

Вася. Разве здесь можно жить? Как будто мне в душу наплевали. Пойдём, страна. Ну его!

Зина. Вы слышите, Полина Николаевна? Ты как смеешь так говорить, Василий? Покойный отец двадцать пять лет прослужил на этой дороге. Был лучший машинист. Ему управление дороги дом подарил. Он его своим горбом заслужил. Это наш дом. Имеем мы право его бросать? Василий! Ну? Я тебя спрашиваю.

Вася. Что ты на меня кричишь. Я не маленький. Постарше тебя.

Зина. Годами. А рассуждаешь, как ребенок. Ты чего нос воротишь? Чего тебе здесь не нравится? Ступай в кухню, возь-

ми большую жестянку и принеси воды. (Решительно снимает шинель.)

В а с я. Не командуй.

З и н а. Разве я командую? Что ты, Васичка. Это тебе так показалось. Я тебя ласково прошу. Пожалуйста, голубчик, склони за водичкой.

В а с я. Давай, что ли. (Уходит.)

З и н а. Беда с парнем, совсем от рук отбился. Надо сперва всю эту дрянь выбросить. Немецкая каска. Фу, мерзость какая. Зараза.

В о л ю ш к и н а. Давайте я вам помогу.

З и н а. Ой нет, что вы! Вам теперь отдыхать побольше нужно. Вы мне лучше венчик дайте, если у вас есть.

В о л ю ш к и н а. Веник есть. Пойдите. (Прислушивается.) Кто-то в сени вошел. (Кричит.) Кто там ходит? Коля, это ты?

(Пауза.)

Коля (входит. Это бедно одетый мальчик лет 12—13 или моложе). Это я, мама.

В о л ю ш к и н а. Ну что? Был?

Коля. Был.

В о л ю ш к и н а. Что они сказали?

Коля. Они мне ничего не сказали. Они велели, чтобы ты сама пришла.

В о л ю ш к и н а. Что? Может быть получен ответ?

Коля. Я не знаю. Они сказали, чтоб ты сама пришла.

В о л ю ш к и н а. Чтoб лично я?

Коля. Ага.

В о л ю ш к и н а. Странно. Почему же они тебе не могли сказать?

Коля. Я не знаю. Они сказали, чтоб ты сама пришла.

В о л ю ш к и н а. Как это все необыкновенно странно. Как вы думаете, Зиночка, ничего не могло... случится? Извините, я побегу. Пойдем, Николай. А венчик — вот он. (Уходит с Колей.)

(Зина одна, убирает комнату, поет: «Темная ночь, только пули свистят по стенам».)

В а с я (входит, останавливается в дверях. У него веселый и таинственный вид). Угадай, кого я привел? Не угадешь. Одна твоя старая подружка.

З и н а (вскрикивает). Вера? Да?

В а с я. Ничего подобного. (Из-за его спины выходит С а н я.)

С а н я (это скромно одетая, гладко причесанная под кровавым платком девушка лет 18-ти. У нее в руках бутылка с керосином на веревочке и банка с самодельными белыми и розовыми конфетами). Нет, Саня.

З и н а. Санька! (Кидается ей на шею.)

С а н я. Осторожно. Ненормальная. У меня в руках керосин и конфеты.

З и н а. Курносая, откуда ты взялась?

С а н я. А я куда и не уезжала.

В а с я. Понимаешь, достаю воду из колодца и вдруг вижу по улице Саня идет.

С а н я. Я за керосином через речку на пост ходила. Иду мимо вашего дома — вижу какой-то незнакомый мужчина из

колодца воду набирает. Присматриваюсь, не могу понять — Вася или не Вася. Вдруг он мне кричит — Саня!

В а с я. Я тебя сразу узнал.

С а н я. Взрослый мужчина стал. Когда же вы приехали?

З и н а. Господи, да сегодня же. Только что. В том-то и дело. Ты первая, кого мы увидели из нашей старой компании. Надо ж так. Ну дай еще раз поцелую тебя куда-нибудь. Куда хочешь? Выбирай. Хочешь в душку? Или давай лучше нос поцелую. Курносая. (Целуются.) А ну, в сторонку. Буду убираться.

В а с я. Она хочет, чтоб мы здесь жили.

С а н я. А где же?

В а с я. Уж лучше в бараке с ребятами, чем в этом хлеву.

С а н я. Ну, не знаю. Ведь этот дом ваш был?

З и н а. Наш и есть.

С а н я. Чего ж лучше. Его только немножко привести в порядок. Вы шутите — дом! Да ему скоро цены не будет, когда все ваши начнут возвращаться.

З и н а. Как ты сказала?

С а н я. А что? Ах, да. Тьфу, чорт — наши, ваши. Думаю одно, говорю другое. Когда наши начнут возвращаться. (Смеется.) Поживи-ка два года с немцами — еще и не такое лянешь.

З и н а. Трудно было?

С а н я. Лучше не вспоминать. Ужас.

В а с я. Кто-нибудь из наших поселковых ребят есть?

С а н я. Никого. Всех, кто оставался, в Германию на каторгу угнали.

З и н а. А Вера где?

С а н я. В Германию угнали.

З и н а. Веру в Германию угнали! Ты слышишь, Василий? Вот горе. Вот горе-то. Бедная, несчастная Вера. Она всех нас так любила. В особенности Васю. А ты как?

С а н я. Меня тоже угоняли. Совсем было угнали. Я из лагеря убежала.

З и н а. Как же тебе удалось?

С а н я. Не спрашивай. Тысяча одна ночь. До сих пор не верится. После все расскажу. Ну, а ты? Замуж еще не вышла? Никого себе там в эвакуации не нашла?

З и н а. Я этими глупостями не занимаюсь.

В а с я. Ну да. Не модничай. А борода?

З и н а. Василий!

С а н я. Что за борода, признавайся.

В а с я. Она там в одного пожилого дядьку влюбилась. В страшного, в бородатого. А он на нее даже и не глядит. А она страдает, а она страдает...

З и н а. Я не люблю, когда говорят глупости.

В а с я. Какие же глупости, когда это всем известно.

З и н а. Замолчи. Неправда.

В а с я. Гляди, как покраснела. Чего ж ты покраснела, коли неправда?

Зина. Лучше расскажи, по ком ты сохнешь.

Саня. А он по ком-нибудь сохнет?

Вася. Чепуху говоришь, Зинаида. Я не люблю.

Саня. По ком сохнешь, Вася?

Вася. Она обманывает.

Зина. Ладно. А покажи-ка нам, Васенька, свою записную книжку. У него там на переплете наклеена карточка одной девушки, нашей общей знакомой.

Вася. Ничего там нету.

Зина. Нету, нету. Я пошутила. Извините, я вас побеспокою. Отойдите от окна. (Влезает с тряпкой на подоконник.) Ну еще не так плохо. Половина стекла целые. Остальные пока можно забить фанерой.

Саня. Я ж говорю. Небольшой ремонт, и будет хорошенькая квартирка. Большие деньги можно взять. Шутите — три комнаты, кухня...

Зина. В кухне одна женщина с мальчиком живет.

Саня. Выселить надо.

Зина (смотрит в окно). Вася, гляди: директор, Хомутов, старик Никаноров. Куда это они идут?

Вася. Наверное помещение для себя ищут.

Зина. Погодите. Я сейчас. (Быстро одевается и убегает.)

Саня. Какая Зинка стала!

Вася. И не говори. Боевая. Вся в маму. Ты нашу покойную маму помнишь?

Саня. Конечно.

Вася. А я какой стал?

Саня. Я уж тебе сказала: совсем мужчина.

Вася (с наивной гордостью). Уже бресь иногда.

Саня. Только одет неважно. Тебе бы одеться получше.

Вася. А чем я плохо одет? Валенки, калоши, ватник хороший. У меня еще есть новое пальто с каракулевым воротником.

Саня. Ты что, разве мало зарабатываешь?

Вася. Зачем. Зарабатываю дай бог всякому. Когда тысячу двести, когда тысячу четыреста. Не всякий мастер столько имеет. А вот скоро я перейду на другую работу — пройду стажировку на машиниста, так буду зарабатывать, как покойный отец.

Саня. Не плохо. Да еще дом свой. Все же одеваться надо получше, Вася. А то тебя женщины не будут любить. Хочешь, я тебе подарю замечательный галстук? Ну, а я? Как я тебе показалась? Сильно подурнела... с тех пор?

Вася. Ты теперь совсем другая.

Саня. Лучше или хуже?

Вася. Правду сказать, лучше.

Саня. Значит, я тебе тогда меньше нравилась?

Вася. Нет. Правду сказать, ты мне тогда тоже сильно нравилась.

Саня. Дай записную книжку. (После некоторой паузы Вася покорно отдает ей книжку. Она долго рассматривает карточку. Потом, вдруг, громко, резковато хохочет.)

Вася. Чего ты смеешься?

Саня. Смеюсь потому, что мне смешно. Подумать только, какая у меня тогда была пухлая мордашка. Поперек себя шире. И одета как провинциально. Сил нет. Настоящая русская Матрешка. На. Полу чай. (Вкладывает книжку в его карман.) Спасибо, что не забывал. (Целует его. Он хочет ответить. Она акkuratно и ласково отодвигает его локтем.) И хватит. Мы уже не дети. Ведите себя чинно. Сюда народ идет.

(Входят Зина, директор завода Коновалов, старик Никаноров — рабочий.)

Зина. Вот одна комната. Вот другая. А вот третья. Здесь вы свободно можете временно поместить контору заводоуправления и сами поместиться с товарищем Хомутовым. (Все трое проходят в правую дверь.)

Саня. Ну, Васичка, мне надо идти. Тут народ посторонний. Я не люблю посторонних. Я к вам лучше вечером забегу, посмотрю, как вы устроились. Дома мать сидит без керосина.

Вася. Я тебя провожу.

Саня. Помнишь, как ты меня из кино провожал? Возьми керосин. А конфеты я понесу.

Вася. Что это за конфеты?

Саня. А я их продаю. Три рубля пара.

Вася. Ты торгуешь конфетами?

Саня. А что же делать? Жить надо.

Вася. Мы тебя устроим на завод, хочешь? На станке будешь работать?

Саня. Не плохо. Хотя лучше куда-нибудь в заводскую столовую устрой. Буфетчицей или чем. Ну пойдем, пойдем. (Оба уходят.)

Зина (возвращаясь с Коноваловым и Никаноровым из правой комнаты). Настоящие свиньи. Был шкаф. Очень хороший гардероб. Перед войной отец отдал четыреста семьдесят рублей. Нету. Был диван. Были две кровати. Этажерка. Было пианино. Ничего нет. Все, оканные, разграбили. Пианино еще покойная мать в рассрочку купила. Оно тут вот стояло. Видите еще на полу следы от ножек.

Коновалов. Ну что ж. По-моему, хорошо. Ладно. Мы здесь остаемся. А, собственно, это чей дом? Кто хозяин?

Зина. Я — хозяйка.

Коновалов. Небольшая. Сколько же вы, небольшая хозяйка, возьмете с нас за помещение, за ту комнату?

Зина. Как это возьмете? Я что-то не пойму.

Коновалов. Ну, денег сколько вам платить в месяц?

Зина. Ой, что вы! Я даже покрасяла. Что мы — спекулянты? Кажется, приехали сюда вместе... Я от вас этого не ожидала, товарищ директор. Довольно стыдно.

Никаноров. Это дочка покойного Судейкина. Зина. Наша коренная. Она у нас сейчас бригадир молодежной бригады. С нами приехала.

Коновалов. Ах, вот оно что. А я сразу не понял. Не узнал. Пожалуйста, извините. Спасибо, Зинаида Васильевна, за ваше гостеприимство. (Никанорову.) Сходи, душа моя, на территорию завода к Замятину, прикажи от моего имени, чтобы сюда срочно тянули телефонную линию и установили директорский аппарат в той комнате. Там же мы и жить будем с Хомутовым. Кстати, где Хомутов?

Зина. Валерьян Авдеевич на улице стоит.

Коновалов. Позовите его. Затем пусть Замятин пришлет мешков, соломы, козлы, столы, словом, полное оборудование. Почту, телеграммы, газеты — всю корреспонденцию все тоже сюда. И чтоб не копаеся. Давай. (Никаноров уходит.)

Зина (убирая комнату). Извините, я вас потревожу.

Коновалов. Ничего, ничего. И от завода два шага. Прекрасно.

Хомутов (входит со свертками чертежей и папками. Это бородатый, не совсем складный человек в очках. Но что-то в нем очень молодое). Ну что ж. Крыша есть и ладно. Начнем с механического. Там сохранилась часть перекрытия и не взорваны два пролета. (Разворачивает план.) Здесь у меня все отмечено.

Коновалов. Маргышка к старости слаба глазами стала. (Надевает пенсне.) Так. Нуте-ка, покажите. Римскими цифрами — станки. Восемь станков.

Хомутов. Их можно установить хоть завтра. Это будет первая очередь.

Коновалов. Электроэнергия?

Хомутов. Передвижную станцию.

Коновалов. Допустим. Но у большинства станков, как мы с вами видели, сняты головки. А там, где не сняты головки, там сняты и увезены резцы. Нет ни одного шлифовального камня.

Хомутов. Это все идет эшелонам со второй группой.

Коновалов. И будет здесь через две недели. Невозможно. Вы слышали, что сказал этот хромой майор. Командование фронта требует, чтобы первая партия танков была отремонтирована немедленно. Пятнадцать танков.

Зина. Извините, товарищи, я вас немножко потревожу. Уберите куда-нибудь ваши ноги.

Коновалов. Уберите ноги. Легко сказать. А куда их уберешь? (Оба поджимают ноги. Зина мот пол.)

Зина. Спасибо. Это не надолго. Сейчас

я кончу, и тогда вы можете перейти в свое управление.

Хомутов. Тогда другой вариант. Начнем ремонт танка вручную.

Коновалов. А какими силами?

Хомутов. Вы сомневаетесь в моих ребятишках?

Зина. Ноги можно уже опустить.

Хомутов. Думаете, ребята не осият?

Коновалов. А вы что думаете?

Хомутов. Я вам сейчас скажу, что я думаю. Сейчас я вам это скажу. Где моя книга живота? Вот она. (Вынимает записную книжку, углубляется в нее.) Что у нас имеется на сегодняшний день. Во-первых, у нас имеется бригада Дуся Никифоровой. (Зина прислушивается.) Это — выдающаяся бригада. За нее я ручаюсь вполне. Прежде всего, сама Дуся Никифорова. Золотая девушка, работяга, каких мало. Токарь по металлу, пятый разряд, ни одного прогула, ни одного случая брака, норма выработки не бывает ниже ста двадцати процентов, четыре раза премирована...

Зина (вдруг, ревниво). Три раза премирована.

Хомутов. О, Зина! Ты чего здесь делаешь?

Зина. Не видите — убираюсь.

Хомутов. Как ты сюда попала?

Зина. Здравствуйте. Это наш дом.

Хомутов. Вот как? Чудесно. Ну здравствуй.

Зина. Я уже с вами здоровалась.

Хомутов. Прости, не заметил.

Зина. Вы меня всегда не замечаете. Вы только Дусю Никифорову замечаете. Она три раза премирована.

Хомутов. У меня записано четыре.

Зина. А я знаю наверное, что три. На Урале. Один раз в конце сорок второго и два раза в сорок третьем — в июле и в октябре. А больше не было. Итого три.

Хомутов. Вот как. Ну, значит, я ошибся.

Зина. Вы всегда ошибаетесь в пользу Дуся. По ошибке записали ей не три, а четыре. А почему вы по ошибке не записали ей вместо трех два?

Хомутов. Так ведь это же не официально, а для себя.

Зина. А раз это не официально, то вы не имеете права докладывать товарищу директору непроверенные цифры. Директор завода может составить неправильное понятие о своих кадрах.

Коновалов. Ничего, не составлю.

Зина. Нет, вы составите. Вы, пожалуйста, не подумайте, что я имею что-нибудь против Дуся Никифоровой. Дуся Никифорова, безусловно, выдающаяся девушка и хорошая производственница. Это моя очень большая подруга и товарища. Я ничего плохого про Дусю Никифорову не

скажу. Конечно, товарищ Хомутов немного перегибает достижения Дуси Никифоровой. В конце концов, ни для кого не секрет, что Дуся Никифорова работает не всегда ровно. В общем работает довольно не ровно. Раз на раз у нее не выходит. Один день густо, а другой пусто. Но не в этом дело. А мне просто обидно. Конечно, не за себя лично. За себя лично я не болею. Пусть. Мне обидно за свою бригаду. Почему все время выдвигают бригаду Дуси Никифоровой. В конце концов, мне это надоело. Еще не известно, кто из нас сильнее и кто завоюет знамя цеха. Лично я, например, не уверена, что завоюет Дуська. Лично я, например, уверена, что завоюет моя бригада. И вообще, я не понимаю этой политики: как что-нибудь, так сейчас же вперед выдвигается Дуська со своей бригадой. А меня вы спросили? Может быть я тоже возьмусь сделать ремонт танков вручную. Нет, на самом деле. Меня это задает. Где эти танки? (Быстро одевается.) Я их сейчас посмотрю и тогда скажу. И мы тогда посмотрим, кто из нас выдающаяся девушка — я или Дуська. (Уходит.)

Коновалов. Огонь! По-моему, это форменная сцена ревности. Поздравляю. Хомутов. К сожалению, не за что. Это ревность исключительно, так сказать, на производственной почве.

Коновалов. Это и замечательно. Походите. А вы, собственно, что имели в виду?

Хомутов. Чудесная девушка.

Коновалов. Бросьте, бросьте. И не надейтесь.

Хомутов. Я и не надеюсь. Где там.

Коновалов. Вам, Валерьян Авдеевич, простите за нескромный вопрос, сколько годков?

Хомутов. Тридцать один.

Коновалов. А выглядите вы на все сорок пять. Тридцать один год. В сущности, это не так много. Но — борода! Не понимаю, зачем нужна молодому инженеру такая борода? Откровенно говоря, удручающая борода. Неужели она вас не удручает?

Хомутов. Удручает.

Коновалов. Так снимите ее.

Хомутов (с некоторой меланхолией). Жалко, Павел Федорович. Я с ней как-то сжился. Десять лет ношу.

Коновалов. Как же это вас угораздило?

Хомутов. Был такой случай на магнитке. Мы тогда как раз комсомольскую домну монтировали. Целый месяц не было времени побриться. Она и выросла. Посмотрелся в зеркало — понравилось. Не так понравилось, как польстило. Дурак, мальчишка. Одним словом, оставил. Кроме того, она меня устраивала с чисто технической точки зрения. Экономия времени. Не надо бриться. А потом как-то втянулся. И вот — видите.

Коновалов. Конечно, если вы отказались от личной жизни, то такое сооружение еще имеет смысл. Но если... Вы, кажется, не женаты?

Хомутов. Нет, не женат.

Коновалов. И никогда не были?

Хомутов. Когда же?

Коновалов. Как же вас угораздило?

Хомутов. Как-то не по той линии пошел. Сначала мне все казалось, что еще рано, а потом, вдруг, оказалось, что уже поздно. И вот видите...

Сарафанов (входит). Это майор танковых войск. Он входит, проворно ковыляя и опираясь на палочку. Он был недавно ранен и еще не вполне поправился. Энергично посапывает). Вы уже сюда перебрались. Это хорошо. С большим трудом вас нашел. Стало быть, продолжим. Танки я уже к вам отбуксировал. Теперь два вопроса: когда вы их начнете и когда вы их кончите?

Коновалов. Начнем тотчас.

Сарафанов. К девятнадцатому кончите? Приказ командования фронтом, чтобы к девятнадцатому было сделано.

Коновалов. В зависимости от обстоятельств.

Сарафанов. Понимаю. Значит договорились. Через пяток дней. Девятнадцатого.

Коновалов. Вы же сами видели, в каком состоянии завод.

Сарафанов. Да. Картина тяжелая. Стало быть, я могу донести командованию, что девятнадцатого танки будут?

Коновалов. Если нам удастся организовать ремонт вручную.

Сарафанов. Вручную? Это хорошо. Руками, ногами, зубами. В конечном итоге это все равно. Стало быть, я доношу, что девятнадцатого.

Коновалов. В данную минуту точно не могу ответить.

Сарафанов. Понимаю. А когда вы сможете ответить точно?

Коновалов. Завтра утром.

Сарафанов. В котором часу?

Коновалов. Часов в восемь.

Сарафанов. Понимаю. (В окно.) Бондаренко, давайте сюда мою полевую сумку. Поставьте виллы во дворе. Я буду здесь ночевать. (Коновалову.) Вы мне разрешите? Не спал двое суток.

Коновалов. Сделайте одолжение. Только мы сами здесь, так сказать, квартиранты.

Сарафанов. Не важно. (Ложится на нары.) Я сам нездевший. Но у меня в этом самом поселке сестра покойная жила. Замужем за машинистом. Вы может быть даже слышали: Василий Васильевич Судейкин. Его весь Советский Союз знал. Лет десять тому назад я здесь был проездом с Дальнего Востока. Погостил у сестры три дня. Но сейчас уже ничего не помню: ни дома, ни улицы. Да если бы и

ломнил, все равно, наверное бы, не узнал. Одни развалины.

Коновалов. Так поздравляю вас. Этот самый дом и есть.

Сарафанов. Шутите!

Коновалов. Верно. Дом Судейкина.

Сарафанов (напряженно осматривается). Да, да, да. Позвольте-ка. Что-то такое, как будто. Печь. Да. Здесь стояло пианино. Лампа висела под абажуром. Под желтым. А теперь голые, ободранные стены. Пятна. Сколько за время войны я уже видел таких голых, ободранных стен. Я так к ним привык, что уже перестал обращать внимание. И вдруг — нате. Стоит пустой дом, грязный, обесчещенный. Без хозяйки, без хозяйки. Кто же теперь здесь хозяин?

Коновалов. Дети. Судейкины.

Сарафанов. Да, были дети. Девочка Зина и мальчик Вася. Мои племянники. Они существуют, вы не знаете? Где они сейчас?

Коновалов. Здесь. С нами приехали. Сарафанов. Чудеса. (Ложится на нары, постепенно засыпает.)

Никаноров (входит, взволнован). Павел Федорович, вот ведь какая вещь. Старика наши объявились. Рабочие. Которые при немцах здесь оставались. Миронов Лавр объявился, Никитин Осип, Запорожец Тарас, Сиволобов, Арсенев вот... Только что пришли на территорию завода. Вас видеть интересуются.

Арсеньев (старик-рабочий, который пришел вместе с Никаноровым. Худой, ободранный, грязный). Павел Федорович...

Коновалов. Кто это?

Арсеньев. Не признал? Это я, батюшка, Арсенев Кирилл, фрезеровщик. Уж и видите себя не чаял!

Коновалов. Голубчик, Кирилл Матвеевич! Старый друг! Жив?

Арсеньев. Жив, батюшка. А как жив и сам не пойму. Гляди, что от меня осталось: кожа да кости. Одни стропила. (Целуются.) Со свиданьем! Видал, Павел Федорович? Видал, что они с нашей жизнью сотворили, изверги проклятые? А завод наш... Ведь какой красавец был! Неужто все так прахом и пошло? (Плачет.) Неужто не возродим?

Коновалов. За тем и приехали.

Арсеньев. Вот получай (вынимает из мешка несколько мелких деталей). Два резца, точильный камень, сверло... Как только немцы подходить стали, я их снял со своего станка и в подполье спрятал. Они у меня два года хозяина дожидались. Авось, ныне пригодятся. Поди на территорию завода, там все наши старички собрались, каждый в мешочке что-нибудь принес. Кто резец, кто головку, кто камень точильный. Не обесудь.

Коновалов (взволнован). Вы видите, что делается! Резцы, головки, шлифовальные камни! Валерьян Авдеевич, чуеете?

Хомутов. Чую, чую.

Коновалов. Ведь это для нас жизни! А? Ну, старички мои золотые... слов нет... Спасибо, старый друг, Кирилл Матвеевич, обрадовал. Спасибо.

Арсеньев. Не за что, Павел Федорович. Станок — это наша орудия, так неужто же могли мы допустить, чтобы германцы своими погаными руками из нашего же орудия да по нас били? И не стоит об этом толковать.

Коновалов. Ты говоришь — Миронов, Никитин, Запорожец, Сиволобов... это хорошо. А старик Мартынов что же, Иван Иванович? Где он? Жив?

Арсеньев. Неужто не слышали? Царство небесное.

Коновалов. Умер?

Арсеньев. Его немцы повесили.

Коновалов. Что ты говоришь?

Арсеньев. То, что слышишь. Ведь он что — Иван Иванович? С первых дней он к немцам нанялся на завод. Квалификацию свою, конечно, скрыл, а нанялся за сторожа. И потихонечку все станки раздел, вывел из строя. А детали сгорнил. Где сгорнил — никто этого до сих пор не знает. Но только германцы его на какой-то последней головке схватили. Чего они только с ним не делали, эти людоеды. Терзали, мучили, пытали, златые горы сулили, и вновь пытали — хотели во что бы то ни стало добиться у Ивана Ивановича, где он детали сгорнил. Великую муку от них принял Иван Иванович, но ничего им не показал. Так они его и повесили, ничего не узнавши. На глазах супруги его Марьи Степановны повесили. Прямо у них на воротах. И целый месяц не велели снимать. С того дня она — супруга его, Марья Степановна — немного с ума тронулась. Ходит по слободке — по закоулкам, по развалинам — руки к груди прижамши, никого не видит и все только песни поет. (Прислушивается.) Да вот не она ли? (Слышно, как на улице кто-то поет безумным, высоким голосом протяжную русскую песню, иногда обрывая ее на самой высокой ноте.) Она. Никак сюда идет. (Песня уже звенит в доме. Вдруг обрывается. Тяжелые шаги.)

Мартынова (входит. Это костлявая старуха, с твердым, трагическим лицом и тяжелой поступью. Она подозрительно оглядывает всех. Помолчав). Что здесь за люди? Сказывайте. Свои аль чужие?

Арсеньев. Свои, матушка, Марья Степановна, свои. Ай не узнаешь?

Мартынова. Не подходи, не подходи. Ну? Кому говорю — не прикасайся. Прочь поди, прочь. Ты — серый. Ты перодевший.

Арсеньев. Арсенев я, Кирилл Матвеевич, твой кум, сосед.

Мартынова. Кум? Не знаю. Все может быть. А тот — который? (подходит к нарам, где лежит уснувший Сарафанов,

долго в него всматривается. С ужасом). Вы что же это с ним, окаянные, сделали?

Никаноров. Тише, мать, мать. Не видишь, что-ль — офицер спит.

Мартынова (подозрительно). Спит ли? А, может, чего похуже? Дай-ка я послушаю. Нет. Дышит. Сердешный мой. Вот так-то и сыны мои где-то спят. (Садится в головы и тихо поет. Вдруг обрывает на высокой ноте. Шопотом, дико озираясь.) Люди! Что ж вы здесь стоите? Бегите, хоронитесь, уходите в леса. Аль ничего не знаете? Серые пришли. В танках. Их танки на площади стоят, у завода. Сама видела.

Никаноров. Это наши танки. Советские.

Мартынова. А не их? Не серых?

Никаноров. Наши, мать, наши. Уж поверь.

Мартынова. Стало быть, наши? (Тень сознания мелькает на ее лице.) Что ж. Все может быть. (Смотрит на Коновалова.) А ты — который? Будто личность знакомая. Знаю тебя, да не могу вспомнить. Я ведь больная. Ты мне помоги, пожалей меня, подскажи.

Коновалов. Коновалов.

Арсеньев. Павел Федорович. Директор наш. Неужто не вспомнишь?

Мартынова. Господи! Павел Федоров. Кум. Как же я тебя сразу-то не признала? Ведь это ты у нас давеча чай пил, пирог ел?

Коновалов. Было такое дело, Марья Степановна. И чай пил и пирог ел.

Мартынова. В дамки с Иван Ивановичем играл.

Коновалов. И в пашки с Иван Ивановичем играл. Да только не давеча, а тому назад лет пять. Экая у тебя память, Марья Степановна!

Мартынова (сердито). Что мелешь. Не пять лет, а давеча. Погоди. А может и не давеча. (Задумывается. Морщится, будто собирается заплакать.) Я что-то все путать стала. Павел Федорович, голубчик, родненький. Горе-то у меня какое, слышал? Моего-то Иван Ивановича... С моим-то Иван Ивановичем что они сделали... (Плачет горько и страстно.)

Коновалов. Поплачь, мать. Поплачь. Оно и полегчает. Да. Нету больше нашего Иван Ивановича...

Мартынова (живо). Постой! Погоди! Что ж это я? Искала тебя. Шла сюда. А зачем искала — забыла. Ведь он мне что приказал? Никому не велел. Только тебе велел. Он знал, что ты придешь. В собственные руки приказал отдать. (Достает спрятанную на груди тряпку, в которой завернуты какие-то ветхие бумажки.) Возьми, директор.

Коновалов. Что это?

Мартынова. Тут все Иван Иванович записал, где какие детали спрятаны. Ни-

кому не велел. Только тебе велел. Лютую смерть за это принял.

Коновалов (быстро читает). «У северной стены сборочного, пять шагов от угла, восемь головок токарных. В подвале котельной за угольным ящиком — семнадцать резцов и одиннадцать шлифовальных камней. На втором литейном в стене замуровано...» — Двадцать шесть; девять; восемнадцать... Валерьян Авдеевич, вы понимаете? Сотни лет пройдут. Многие сотни. И праха нашего не останется. А эти бумажки... Эти слова... Эх, да что там!

Мартынова. Я ее на груди носила. Руки от нее боялась оторвать. Все вас ждала. Все ждала (замечает Хомутова). А этот — который? Уйди, уйди, не подходи... Не прикасайся. Ты серый.

Коновалов. Давайте. Кто там. Никаноров. Лопаты, кирки, ломы. Идем!

Зина (входит). Валерьян Авдеевич, я посмотрела танки. Моя бригада берется вручную.

Хомутов. Не надо.

Зина. Как это не надо? Это чьи фокусы? Дуськи Никифоровой фокусы?

Хомутов. На станках делаем.

Зина. А станки?

Хомутов. Будут.

(Все уходит, кроме Зины и спящего Сарафанова.)

Зина. Семь пятниц на неделе. Я знаю, чьи это фокусы.

Сарафанов (во сне). Богатырев, жми! Жми правый фракцион! Разворачивайся.

Зина. Кто это? Первый раз вижу. Разлегся. Товарищ майор, будьте любезны, встаньте. Вы мне мешаете убираться.

Сарафанов. А? Что? Пожалуйста. Извините, я немного уснул. А где же директор? Где старший инженер?

Зина. Ушли.

Сарафанов. Ушли? Ах, дьявол! Проворошил! Я их специально сторожил. Они мне танки должны сделать к девятнадцатому. Вот несчастье. А вы здесь, простите, кто будете?

Зина. Хозяйка.

Сарафанов. Судейкина? Зиночка?

Зина. Зинаида Васильевна.

Сарафанов. Родненькая моя. (Обнимает ее.)

Зина. Товарищ майор... Вы что?

Сарафанов. А кто тебе, безобразнице, однажды привез с Дальнего Востока беличью ушанку и беличьи варежки?

Зина. Дядя Миша (с визгом кидается ему на шею). Дядечка Мишечка! Так это ваши танки? И вы здесь у нас жить будете?

Сарафанов. Если не прогонишь.

Зина. Это просто замечательно. Вы себе не можете представить, до чего это здорово. Мы вас устроим в бывшей папиной. Сейчас я там уберу. Идите сюда. Вам нравится?

Сарафанов. Да погоди ты. Сядь. Первым делом дай на тебя поглядеть. Совсем мать покойная.

Зина. Такая взрослая? А мне все еще иногда кажется, что я совсем маленькая. И мне так иногда хочется, чтобы у нас в доме был кто-нибудь взрослый. Очень трудно в доме без взрослого человека. Надо самой думать, решать.

Сарафанов. Сиротка.

Зина. Другой раз вспомнишь мамочку или покойного папу, и до того грустно станет. Одни остались мы. Совсем одни. А нынче посмотрела на эти комнаты и, верите ли, дядечка, руки опустил. Но ничего не поделаешь. Надо жить.

Сарафанов. Да. Надо жить.

Зина. Приходится все сызнова начинать. Я вижу, дядечка, вы ранены. Вы ложитесь. Где ваша семья? Ведь вы, дядечка, женаты.

Сарафанов. Моя семейная жизнь, как бы это сказать, сложилась не совсем

ладно. Вернее, совсем не ладно сложилась. Моя супруга... Одним словом, мы расстались. Я, так сказать, живу один. Семьи нету, но я не люблю говорить на эту тему.

(Пауза. Проходят рабочие с телефонным аппаратом. Тянут провод. Вносят мешки, стулья. Уходят.)

Сарафанов (прислушивается). Помоему кто-то плачет.

Зина. У нас там одна женщина живет. Беженка. Кто там ходит? Коля, это ты? (Прислушивается.)

(Коля входит. Останавливается у двери. Молчит.)

Зина. У вас кто-то плачет?

(Пауза.)

Зина. Почему ты не отвечаешь?

Коля. Это мама плачет. У нас папу убили. Год тому назад.

(Слышен плач Волюшкиной. Ветер сыплет в разбитые окна снегом. Пауза.)

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Та же комната. Прощло немного времени, но в комнате заметны некоторые изменения. Она стала чище. Убраны нары. Появилась кой-какая мебель: табуреты, стол. На окнах затемнение. Две койки: одна вагина, другая зинина. В комнате слева живет Сарафанов. В комнате справа — Кюновалов и Хомутов, там же помещается и временная контора заводоуправления. Даже есть соответствующая надпись мелом на дверях. Вообще комната имеет несколько учрежденческий вид, так как на стенах имеются доска с объявлениями, диаграммы, плакаты. Но чувствуется также и женская, заботливая рука. Вечер. Поздний зимний вечер. Вьюга. На столе и на полке горят светильники, сделанные из медных гильз мелкокалиберных снарядов. Это очень известное на фронте освещение. В гильзу наливается бензин или тавот, вставляется фитиль из ваты и верх гильзы сплющивается. Получается нечто вроде большой медной свечи. Несомненно, это освещение принесено в дом Сарафановым. Светильники горят ярко, дымно и очень романтично. Колеблющийся свет озаряет обстановку. На сцене Сарафанов и Волюшкина. Они, видно, давно уже разговаривают, оба устали. Вьюга потрясает маленький дом. За правой дверью слышно, как иногда звонит телефон и как разговаривают по телефону.

Волюшкина. Зачем вы так говорите? Вы же сами знаете, что это неправда.

Сарафанов. Нет, правда.

Волюшкина. Моя жизнь кончена. Я вам скажу честно. Если бы у меня не было Коли, я бы не стала жить. Просто не стала.

Сарафанов. Ох, как вы легко рассуждаете. Жизнь — это один раз.

Волюшкина. И смерть тоже один раз.

Сарафанов. Вы меня извините, Полина Николаевна, за грубость, но мне тошно вас слушать. Глупоости говорите. Смерть: это раз — и кончено. Секунда. А жизнь — это жизнь. Это штука длинная. Если хотите знать, одна жизнь тысячу смертей перекроет. Смерть — это что ж. Это, конечно, неприятно. Я ничего не говорю. Но что поделаешь. Солдатское дело.

Хомутов (выходит из своей комнаты. Он в пальто, в шапке). Умоляю вас, электрический фонарик. На дворе такая темень, что при моей близорукости я непременно попаду в какую-нибудь яму и сломаю себе ноги.

Сарафанов. Слушайте, я чувствую, что вы нацелились на мой фонарик. В конечном счете вы его не веонете.

Хомутов. Клянусь жизнью. Всего на полчаса.

Сарафанов. Эх вы, строители. До сих пор не можете дать городу свет.

Хомутов. Даем, даем. В том-то и дело. Собирались пустить завтра, а кажется, пускаем сегодня. Ведь мы что сделали? Пока суд да дело, мы решили установить временную турбину на двести пятьдесят киловатт и приспособить к ней старый паровозный котел. Одна бригада монтирует

турбину, другая починает и устанавливает котел. И между этими бригадами такой бой идет — целое сражение.

Сарафанов. Это между кем и кем? Между вашими дегишками?

Хомутов. Не беспокойтесь. Мои дегишки вам еще покажут. Дайте фонарик. А то я боюсь — там без меня Зина и Дуся поцапаются. Спасибо. Вы не знаете характера вашей племянницы! (Уходит).

Сарафанов. Вот видите. Они за пятнадцать дней дают городу ток, то-есть, свет и воду. Это прямо невероятно. А вы говорите. (Пауза.) Ваш супруг, капитан Волюшкин, умер честно, как солдат.

Волюшкина. Но мне от этого не легче. Мне так тяжело, так трудно.

Сарафанов. Поверьте, это пройдет.

Волюшкина. Никогда.

Сарафанов. У каждого, Полина Николаевна, свое горе.

Волюшкина. Какое же у вас горе?

Сарафанов. Мало ли... Хотя бы видеть, как вы страдаете. Как тысячи людей мучаются. Разве это не горе?

Волюшкина. Вы добрый, хороший человек. Знаете, я очень полюбила Зиночку и Васю. Я здесь чувствую себя совсем как в родном доме. Они меня тоже любят. Я это знаю. И Валерьян Авдеевич, и товарищ Коновалов. Это чудесные, чудеснейшие люди. Но только с вами я могу свободно и просто говорить о своем несчастье. Это, вероятно, потому, что вы сами — отсюда, и каждый день видели смерть в глаза. Я отношусь к вам так, как будто бы вы были самым близким товарищем, самым лучшим другом покойного Николая Осиповича.

Сарафанов. Так и считайте.

Волюшкина. Скажите же, посоветуйте: как мне теперь жить, что мне делать? Что будет дальше с моим Колькой? Он два года не ходил в школу и отстал. Впрочем, это еще ничего. Школа откроется — нагонит. Он у меня мальчик способный. Но он совершенно одичал. Первое время после того, как мы вышли из подвала, он был тихий, какой-то надломленный. Потом отошел. А теперь совсем от рук отбился. Мать не слушает, бог знает где шляется, дерется.

Сарафанов. И здорово дерется?

Волюшкина. Нынче вот с такой шишкой пришел. Хоть бы вы на него повлияли, Михаил Сергеевич.

Сарафанов. Ладно. Повлияю.

Волюшкина (кричит в дверь). Коля, иди сюда.

Коля (входит). Чего?

Волюшкина. Подойди, подойди поближе.

Коля. А чего?

Волюшкина. Видите.

Сарафанов. Н-да. Основательная гуля. Кто ж это тебя так звезданул?

Коля. Борька. Мы в войну играли.

А я не хотел сдаваться. Тогда он меня как стукнул, а я ему как засадил!

Сарафанов. Ну и правильно сделал. Волюшкина. Вот тебе и раз. Как же вы на него влияете? Коля, ты дядю Мишу не слушай. Он шутит.

Сарафанов. А что? По-моему, я правильно влияю. Ты вот чего, братец мой. Сам ты, конечно, первый драку не затевай. Держи себя выдержанно. Но уж если тебя кто-нибудь первый стукнет, то ты не плошай. С ходу давай сдачи...

Волюшкина. Ну иди, иди, Коля.

Сарафанов. А то на нем ездить будут. Что там за шум на улице?

(С улицы доносится шум толпы, женские голоса, слышно как бьют в рельсу, как при пожаре.)

Волюшкина. Не тревога ли?

Мартынова (входит). Добрый вечер, товарищи. Извините, что беспокою. Не знает ли кто помочь нашему городу, у кого свободное время есть? Работа не мудрая. Чем больше народу пойдет, тем скорее отделаемся. А время не терпит. Нынче, сказывают, первый ток пойдет, так надо-но кое-где проводку наладить, столбы вкопать да в иных местах водопроводные трубы сменить. Ай вам не скучно сидеть без настоящего света и без воды? Вижу — скучно. А коли скучно, то нечего долго думать. Валенки на ногах есть? Плаatok на голове? Только шубу накинуть и айда. (Волюшкиной,) Слышишь, вдова, как мои бабочки шумят? Не тужи. У меня у самой на душе — туча. Нут-ка?

Волюшкина. А что надо делать?

Мартынова. Да что хочешь, голубка. К чему способна. Хочешь — провода тяни. Хочешь — изоляторы набивай. Хочешь — землю рой. Хочешь — трубы закладывай в траншею. Лопата есть?

Волюшкина. Нету.

Мартынова. Дадим.

Волюшкина (нерешительно). Михаил Сергеевич, как думаете?

Сарафанов. Я бы сам пошел, да у меня нынче ногу опять скрючило. К погоде, что ли.

Мартынова. Ты сиди. Ты свое отво-вал. Ну, вдова?

Волюшкина. Михаил Сергеевич, сделайте милость, последите за Колей. Чтоб он чего-нибудь не наделал. (Коле.) Ты не вздумай за ворота выходить!

Сарафанов. Будьте спокойны. У меня не развернется.

Волюшкина. Пойдемте. Я сейчас оденусь. Николай, картошка в кастрюле на подоконнике.

(Обе женщины уходят. Слышно как за стеной шумят женщины. Потом поток хорм и с песней уходят.)

Коля. Слушайте, чего я вас хотел спросить. Где танки, которые вы сюда привезли починять?

Сарафанов. Уж давно, брат, воюют.

Коля. А вы здесь остаетесь?

Сарафанов. А я здесь. Пока. Починюсь и тоже поеду.

Коля. Так знаете, чего я вас попрошу. Вы поскорей починяйтесь. И вы меня тогда с собой на фронт возьмете. Пусть я там буду сыном.

Сарафанов. Каким сыном?

Коля. Обыкновенным. У вас в танковых частях бывают какие-нибудь полки?

Сарафанов. Попадаются.

Коля. Так вы прикажите, чтоб меня там в каком-нибудь полку приняли сыном. А то здесь недавно останавливался один кавалерийский полк и у них был мальчик Шурка, сержант, ихний сын. Они его приняли за сына полка. Он был весь в военном обмундировании, в погонах, с красным башлыком, с пашкой, с трофейным пистолетом. Правда! Он приходил к нам на улицу играть. Ух, здорово понимает в войну играть! Он мне, знаете, чего подарил? Только вы матери не говорите. Он мне подарил маленькую немецкую мину.

Сарафанов. Вот как. Интересно. Где же она?

Коля. Я ее под плиту спрятал.

Сарафанов (вскакивая). Что? Мину под плиту? Ничего себе! (Убегает стремительно, за ним Коля.)

Коля (жалобно). Она же без взрывателя! Вот дурак, зачем сказал.

Сарафанов (возвращается, держа в руках маленькую сероватую мину с красивым стабилизатором). Сын полка. Не каждый полк выдержит такого сына. Сейчас же ступай спать. Ну, марш!

Коля (грустно). Спокойной ночи (уходит).

Сарафанов. Действительно, «спокойной» (уносит мину в свою комнату, возвращается и ворчит): нет, с этим сыном действительно надо что-то делать.

Вася (входит. Он с работы. Грязен. Весел. Возбужден). Ну, дядюшка, забирайте ваше окопное освещенье. Конечно дело. Будем освещать культурно. (Вытирает руки паклей, вынимает из кармана электрическую лампочку, становится на табурет и ввинчивает ее в патрон.) Дядя Миша, поверните-ка выключатель.

Сарафанов. Повернул. Не горит.

Вася. Ничего не значит. Скоро загорится. Сейчас ток дадут. С тем и до свиданья. Помоюсь и побегу.

Сарафанов. Ты ведь, небось, двое суток не спал. Ложись. Успеешь.

Вася. Вот-на! Ложись. Разве заснешь? Да мне, правду сказать, и спать не интересно. Я не устал. Я могу сейчас хоть целую неделю не спать. Кто нынче спит? Вы поглядите, что в городе делается. Старуха Мартынова всех женщин на ноги подняла. Кино приехало. «Радугу» будут показывать. Сейчас пойдем с Санькой в кино. Она меня дожидается.

Сарафанов. По крайней мере приведи себя в порядок. Побрейся.

Вася. А что — заметно?

Сарафанов. Этого не скроешь. Растут, черти. Бритвы у тебя, конечно, нет? Так поди моей побрейся. Только не обрежься. Впрочем, давай лучше я тебя сам побрею. Чище будет. У меня на фронте приятель был. Капитан Козырев. Так мы всегда друг друга брили. (Пауза.) Под Сталинградом погиб.

Вася. Дядя Миша. Когда мы сюда приехали и я посмотрел на все на это — мне до того тошно стало, что жить не захотелось. А сейчас совсем другое дело. Почему это? Я могу сейчас хоть сорок восемь часов подряд работать. Правду говорю.

Сарафанов. Сидён! Ну, ладно, жених, расстегивай ворот. Сейчас я тебя брить буду. Давай чистый утиральник.

Хомутов (входит). С благодарностью возвращаю. (Отдает Сарафанову фонарик.) Света еще нет? Сейчас будет. И вода сейчас пойдет. (Торопливо уходит к себе и запирается на ключ.)

(Зина вбегает злая и раскрасневшаяся. За ней Дуся.)

Дуся. Да ты погоди.

Зина. Не хочу ждать.

Дуся. Да ты послушай.

Зина. Ничего не желаю слушать.

Дуся. Ну и не надо. Пусть Вася рассудит. Вася, рассуди.

Вася. А что?

Дуся. Понимаешь, моя бригада начала на десять минут позже...

Зина. Это никому не интересно.

Дуся. Начала на десять минут позже, а кончила...

Зина. Вася, не слушай ее.

Дуся. Вася, слушай,

Зина. Вася, не смей слушать.

Дуся. Васечка, послушай.

Вася. Девочки. Отстаньте. Мне бриться надо. (Уходит с Сарафановым.)

Зина. Поняла? Он с тобой даже разговаривать не желает.

Дуся. Моя бригада...

Зина. Твоя бригада кончила на десять минут позже.

Дуся. Потому, что твоя бригада начала на десять минут раньше.

Зина. Моя бригада начала ровно минута в минуту.

Дуся. А моя бригада опоздала на десять минут, поэтому и кончила на десять минут позже.

Зина. Ничего не знаю. Мы кончили раньше? Раньше. Давай знамя!

Дуся. Не дам.

Зина. Не дашь? Хорошо. (Стучит в дверь Хомутова.) Валерьян Авдеевич! (стучит). Так я и знала. Заперся. Хорошо (стучит). Валерьян Авдеевич, Дуська не хочет отдавать знамя. (Голос Хомутова: «Девочки, я занят!») Товарищ Хомутов, я вам не девочка. Я к вам обращаюсь официально от имени своей бригады.

Хомутов (выходит). Да?

Зина. Чья бригада победила?

Хомутов. Формально твоя.

Дуся. Понимаешь: формально.

Зина. Формально, не формально — это мне интересно. Вы говорите прямо: моя бригада или ее?

Хомутов. Твоя.

Зина. Тогда пусть отдаст знамя.

Дуся. Валерьян Авдеевич, на одну минуту (отводит его в сторону, тихо). Вы же знаете, почему я опоздала.

Зина (услышала). Товарищ Хомутов знает, почему ты опоздала? Это его личное дело. А лично мне это совершенно не интересно. Лично я не опоздала. Отдай знамя.

Дуся. Я опоздала в первый раз.

Хомутов. Она опоздала в первый раз.

Зина. Валерьян Авдеевич, зачем вы ее покрываете? Хотя, конечно, я понимаю...

Хомутов. Что ты понимаешь?

Зина. Все понимаю. Все. Только вы, пожалуйста, не подумайте. Лично я против Дуси ничего не имею. Дуся Никифорова выдающаяся девушка. Но вы сами видите: она работает неровно. В условиях Великой Отечественной войны она опаздывает! Скажите, чтоб она отдала знамя.

Хомутов. Что ж делать, Дуся.

Дуся. Бери.

Зина. Как это бери. А условие? Сама принеси.

Дуся. Честное слово, мне даже как-то неловко.

Зина. Тебе неловко? А мне? А мне было ловко на Урале четвертого декабря тысяча девятьсот сорок третьего года, когда ты меня перекрыла на семнадцать процентов и я лично несла переходящее знамя цеха в твой штаб через всю заводскую территорию? Не знаю, как я тогда не сгорела от позора. У меня до сих пор щеки красные. И тогда меня никто не поддерживал. А теперь — ничего не знаю. Чтоб знамя было тут!

Дуся. Не принесу.

Зина. Принесешь.

Дуся. Я не обязана приносить знамя на частную квартиру.

Зина. Это не частная квартира. Это мой штаб. Видишь — это мои табели, это моя кривая. Я здесь планирую работу и даю задания. Понятно? Чтоб знамя было здесь!

Дуся. Хорошо, если ты хочешь стать на формальную почву.

Зина. Да. Я хочу стать на формальную почву.

Дуся. Хорошо. Ну, помни, Зинка! (Уходит.)

Зина (ей вслед). И чтоб знамя сопровождали твои ассистенты. И чтоб гармоника играла. По условию. Слышишь?

Хомутов. Ух, какая же ты злая.

Зина. Я не злая. Я только уважаю справедливость. (Вытирает рукавом слезы.)

Хомутов. Ты чего это? Плачешь?

Зина. Не имею такой привычки. А только мне обидно, что меня никогда никто не поддерживает и никто не жалеет. А Дуську все жалеют.

Хомутов. Кто же все? Один я и жалею.

Зина. Да. Один вы. Совершенно точно. Именно — один вы. И, пожалуйста, не воображайте. Я не за себя болею. Я за свою бригаду болею.

Хомутов. Чудачка. Чего ж ты плачешь? Знамя ведь у вас?

Зина. Да, знамя. А ваше отношение?

Хомутов. Самое прекрасное. А что касается Дуси Никифоровой...

Зина. Это касается вас, но только не меня. Ничего. Как-нибудь переживем.

Хомутов. Ведь она почему опоздала...

Зина. Мне не интересно.

Хомутов. Она жениха своего на фронт провожала. По-моему, причина уважительная, если, конечно, подойти по-человечески. Хотя формально...

Зина (быстро). А что разве у Дуськи жених есть?

Хомутов. Ну да.

Зина. Кто?

Хомутов. Андрей Апостолов, электротехник.

Зина. Первый раз слышу. Какая скрытная. (Кричит отчаянно.) Вася, Вася!

Вася (выглядывает с намыленной щекой). Что случилось?

Зина. Слышал новость? Дуся Никифорова после войны выходит за Андрея Апостолова!

Вася. Фу, чорт! Я думал, действительно, какая-нибудь новость. Чуть не порезался. Давно все знают (скрывается).

Зина. А я не знала, Валерьян Авдеевич. Я не знала. Тогда совсем другое дело.

Хомутов (сухо). Конечно, совсем другое дело (уходит).

Зина (одна. Прибирает комнату, вытирает тряпкой вещи. Напевает). Ничего. Как-нибудь переживем. Насорили тут, набросали!..

Вера (входит). Она в партизанской ушанке с красной ленточкой, в толстой ватной тужурке, подпоясана военным поясом. Она здесь, как выходец из другого мира, из партизанского леса, из мира снежных тропинок, засад. Дома?

Зина. Кого вам?

Вера. Тебя.

Зина (всматривается, узнает, бросается к Вере). Голубушка...

Вера. Замри! (Зина, на бегу, мгновенно, не переменяя позы, замирает. Это их старая детская игра в «замри». Условный рефлекс.) Умри! (Зина закрывает глаза.) Воскресни! (Зина складывает на груди руки крестом.) Два раза себя по ябу тресни.

(Зина два раза стучает себя по лбу.)
Отомри!

Зина (бросается к Вере). Верка!

Вера. А я думала, ты забыла.

Зина. Жива! Жива!

Вера. Дурочка, чего ж ты плачешь?
Ну-ну-ну. Не надо.

Зина. Откуда ты?

Вера (со странной, внезапно замерзшей усмешкой). Из Германии.

Зина. Ты убежала?

Вера. Ага. Три месяца шла. Три месяца и восемь дней. Днем шла, ночью лежала в какой-нибудь канаве. Потом была две недели у партизан.

Зина. Что-то невероятное. Живая Верка. Что это у тебя на лице?

Вера. Шрам от лопаты. Моя хозяйшюшка стукнула. Немка. Партизаны меня переправили через фронт лечиться. Видишь, сколько у меня зубов нехватает. Восемь зубов. Два от цынки, а шесть немка проклятая лопатой выбила.

Зина. Тебя били?

Вера. Конечно, били. Всех били.

Зина (в отчаянии, не в силах переварить эту чудовищную мысль). Тебя били?!

Вера. Ну, ну, Зиночка, не надо. Не стоит.

Зина. Как ты можешь? Боже мой. Тебя били, и ты можешь об этом спокойно говорить. Ты стала какая-то... деревянная.

Вера. Я уже плакала, Зинуха. Я уже вешалась. Я уже один раз резала себе стеклом вены на руках. Уже все было. Слезам не поможешь. Зинуха! До чего ж я рада тебя видеть.

Зина. А я! А я!

Вася (выходит. Он чисто побрит, припудрен, придет. В новом галстуке). Зинайда, дай чистый носовой платок.

Вера. Замри! (Вася не замирает). Ай-ай, ай, Вася. Мы ведь с тобой на пять лет заключались. А ты забыл.

Вася. Вера! Откуда ты?

Зина. Из Германии. Она бежала от немцев. Смотри, что с ней немцы сделали. Ее хозяйка лопатой ударила.

Вера. Не надо, Зиночка. Это потом. Потом я вам все расскажу по порядку.

Вася. Саня рассказывает.

Вера. Саня? Она здесь?

Зина. В том-то и дело. Подумай, как замечательно подгадалось: все три подружки опять вместе: ты, я и Саня.

Вера. Саня?

Вася. Я как раз иду к ней.

Зина. Ты ничего не знаешь. Тут у них опять старая любовь началась с Санькой.

Вера. Я думала, она давно в Германии.

Вася. Она из лагеря бежала. Она здесь.

Вера. Ах, вот как. Понятно. Значит, немец ее с собой не взял. Здесь бросил. Не до Саньки было. Свою шкуру спасал.

Зина. Постой. Что ты говоришь. Какой немец?

Вера. Помощник коменданта. Курт Абель. Была здесь такая сволочь. Она с ним полтора года жила. Дейчфолькс сделалась. Вот здесь же. В вашем доме. В той комнате. А тут у них караульное помещение было.

Вася. Это неправда.

Вера. Она проявила себя как прости-тутка. Хуже. Как последняя дрянь. Она все ваши вещи растащила. Вы у нее пойдите в сарае.

Вася. Ты лжешь.

Вера. Я никогда не лгу.

Зина. Значит, это она... украла наше пианино?

Вася. Ах, да поди ты к дьяволу со своим пианино!

Вера (вынимает из ватника документы, завернутые в газетную бумагу, показывает фотографию). Вот она вместе со своим фрицем. На. (Дает Васе карточку.)

Вася (смотрит на карточку. Ошеломлен). Вера, прости меня. (Уходит в комнату Сарафанова.)

Зина. Саня! Наша подружка Саня. Нет, ты только подумай!

Вера. Зиночка, не надо. Зиночка, успокойся.

Вася (выходит. Он возбужден. Он в пальто, без шапки). Где моя шапка? Зина, ты не видела моей шапки? (в ярости чуть не плача). Я тебя спрашиваю, где моя шапка? Ну и чорт с ней!

Зина. Ты куда? Без шапки? Постой.

Вася. Пусти.

Зина. Что ты хочешь? Не ходи, Вася. Постой. Что у тебя в кармане? Вера, держи его (кричит). Дядя Миша!

(Сарафанов входит.)

Зина. У Васи в кармане револьвер.

Сарафанов. Отдай оружие.

Вася. Я ее убью.

Сарафанов. Сейчас же отдай оружие. (Отбирает у Васи пистолет.) Что случилось?

Вася. Узнаете? (Показывает Сарафанову карточку.)

Сарафанов. Да.

(Тяжелая пауза.)

Зина. Товарищи, ток. (Лампочка медленно, нерешительно накаляется). Смотрите, смотрите. Горит! Васька, горит!

Хомутов (входит). Горит!

Зина. Ура!

Хомутов. Тише. Тсс! Не спугни электричество. (Лампочка, не успев разгореться, начинает медленно гаснуть, еле светится.) Я же говорил, оно еще очень нежное. (Лампочка снова разгорается.) Тсс! Тсс! Дышит.

(Все очарованно смотрят на лампочку, даже Вася.)

Вася. Горит. Как светло. И какая грязь на стенах. Только теперь стало понастоящему видно.

Вера, Зина, помнишь, нам в классе рассказывали про Эдиссона. Как он со своими учениками сидел и смотрел на свою первую лампочку. Лампочка горела, а они сидели вокруг и смотрели. Час смотрели, три часа, десять часов, восемнадцать часов.

Хомутов. Тише (прислушивается). Шумит.

Зина (шопотом). Что шумит?

Хомутов. Товарищи, вы слышите?

Коля (входит. Он в ночной рубашке). Из крана вода льется.

Зина. Ура! Вода идет из крана! Вода идет из крана!

Хомутов. Свет и вода. Солнце и дождь. Слушайте, слушайте.

Дуся (входит. Она несет знамя. Ее сопровождают два ремесленника — мальчик и девочка. За сценой слышна гармоника). Бери. Забирай.

Зина. Ради бога, прости. Я не знала. Не будем стоять на формальной почве.

Дуся. Нет, будем. Тогда ты не хотела. А теперь я не хочу. Будем стоять на формальной почве. (Официально, но с дрожью в голосе.) К знамени под салют. Передаю жеребящее знамя цеха бригаде-победительнице.

Зина (принимая знамя). Клянусь до конца жизни не выпускать его из рук.

Дуся. Это мы еще посмотрим.

Мальчик. Куда ставить?

Зина. Ставь сюда.

Саня (входит нарядная). Ох, какое большое общество. Я вам не помешала? Здравствуйте, товарищи. Как у вас здесь светло. Что я вижу. Электричество. Быстро пустили. Я не думала. Поздравляю. Вася, какой ты сегодня бледный, интересный. (Замечает какой-то страшный, ледяной холод.) Что ж это такое. Я тебя жду, жду... Чего же вы все молчите?

(Все молчат. Саня замечает Веру. Не узнает. Присматривается.)

Вера. Не узнаешь?

Саня. Н...не узнаю.

Вера. Всмотрись.

Вася (яросно). Вера! Понятно?

Саня. Вера...

Сарафанов (изо всех сил сжимая васину руку). Спокойно. Ни одного звука.

Зина (после страшной паузы). Как ты смела? В наш дом? (Больше она не может произнести ни слова. Пауза. Потом, вкладывая всю силу презрения и боли.) Уходи.

Саня' (вся изменившаяся, осевшая). Я извиняюсь... (уходит, боясь повернуться спиной).

Зина. Немецкая... немецкая овчарка!

Вася. Пустите меня!

Сарафанов. Спокойно! (еще сильнее сжимает Васю руку, почти выкручивает ее).

Вася. Что вы делаете? Мне же больно! (Пауза.)

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Грубо сколоченная из теса контора строительного участка на берегу реки возле взорванного моста. Идут работы по восстановлению моста. Они подходят к концу. Зритель видит внутренность этой тесовой будки. Столик, табуреты, длинная лавка. Железная печка. За перегородкой койка дежурного. Бак с водой, большая кружка рядом. На стенах — объявления, приказы, Телефон. Свертки чертежей. Громадное длинное горизонтальное окно, выходящее на мост. Зима. Февраль. Преждевременное потепление. В воздухе стоит сырой молочный туман. В этом тумане видна за окном часть фермы, которая время от времени немного подвигается. Момент очень напряженный. Как на матовом стекле, видны силуэты рабочих на мосту. Слышится изредка сигнальный свисток начальника строительства. Голоса. Движение. За окном, на первом плане видна Волюшкина с теодолитом. Она следит за движением фермы и время от времени передает свои наблюдения. «Вправо на один сантиметр. По вертикали на месте. Хвост фермы ушел на два сантиметра влево. По вертикали осадка головы на три сантиметра» и т. д. Ее слова тотчас подхватывают связные и нарस्पев передают по цепочке вдоль моста на тот берег начальнику строительства. Их голоса поют и тонут в туманном воздухе. Слышен скрип катков. На сцене Хомутов и генерал Севрюгин — начальник тыла фронта, специально приехавший проверить, как строится мост, имеющий важное значение.

Хомутов (в телефон). Катки первой, второй и третьей бригад подать на три сантиметра влево.

Севрюгин. (Он в походной форме, с биноклем и флажкой, в высокой серой генеральской папахе, которая делает его

высоким. У него сизые, здоровые щеки и бодрый голос.) Сколько осталось?

Хомутов. Четыре метра.

Севрюгин. Кончайте, кончайте.

Хомутов. Кончаем. Мобилизовали всю рабочую силу, какая была в городе.

Се в р ю г и н. Правильно сделали. А то у меня — вы видите — сколько оперативных грузов скопилось. На левом берегу ждут два литерных состава с боеприпасами и горючим, эшелон танков и бронепоезд. А на правом — санитарный с тяжело ранеными. Когда закончите? (Слышны паровозные гудки.) Слыхните, нервничают.

Х о м у т о в. Скоро.

Се в р ю г и н. К шестнадцати нольноль будет? Командующий фронтом приказал открыть движение к шестнадцати нольноль. Не позже. Курите. Трофейные.

Х о м у т о в. Спасибо. Не курю.

Се в р ю г и н. И правильно делаете. Хотя и трофейные, а невероятная дрянь. Эрзац-табак. Химически обработанная солома. Силос. Им хорошо коров кормить.

Х о м у т о в. Скажите, как обстановка на фронте?

Се в р ю г и н. Наступаем полным ходом. Теперь главная задача — не дать немцам оторваться. Бить и наращивать удары. Наращивать и бить. Ужасающая погода. Что это за зима, скажите мне на милость?

Х о м у т о в. Да, погода мерзкая.

Се в р ю г и н. Мало сказать мерзкая, а просто хуже не бывает. Дороги развезло. Аэродромы развезло. Ни пройти, ни проехать. Пехота-магущка наступают по колено в грязи. Артиллеристы на себе пушки носят. Тылы отстают. Отстают тылы — вот в чем беда. Сейчас для фронта хороший железнодорожный мост дороже танковой армии.

С а р а ф а н о в (входит). Разрешите войти? Майор Сарафанов по вашему приказанию прибыл.

Се в р ю г и н. Сколько там еще осталось?

С а р а ф а н о в. Три метра восемнадцать сантиметров.

Се в р ю г и н. Здравствуйте.

С а р а ф а н о в. Здравия желаю, товарищ генерал-майор. Представитель фронта при местном паровозостроительном заводе.

Се в р ю г и н. Чем занимаетесь?

С а р а ф а н о в. До сих пор танки ремонтировали. Сейчас — мост восстанавливаем — всех людей для этого дела с цехов сняли.

Се в р ю г и н. Отлично сделали. Курите?

С а р а ф а н о в. Так точно.

Се в р ю г и н. Курите. Трофейные.

С а р а ф а н о в. Покорно благодарю. А наших нет? «Казбек» или что-нибудь...

Се в р ю г и н. А трофейные?

С а р а ф а н о в. Солома.

Се в р ю г и н. Фокус не удался. Ну что ж. В таком случае курите «Казбек». (Прячет трофейные и достает «Казбек»). У меня так всегда. В левом кармане трофейные, а в правом — «Казбек». В левом для знакомых, в правом для себя. Но никто не поддается на провокацию. Подождите. Может быть сигару хотите? Дивная сигара.

С а р а ф а н о в. Трофейная?

Се в р ю г и н. Трофейная.

С а р а ф а н о в. Капуста.

Се в р ю г и н. Силён! Всё знает. Ну ничего не поделаешь. Закурим тогда свою, отечественную. (Закуривают.) Садитесь, пожалуйста. В связи с открытием железнодорожного движения через мост ремонт танков прекратите. Будете отправлять танки на ремонт в глубокий тыл по железной дороге. А завод пусть немедленно приступает к выпуску паровозов. По своему прямому назначению. Сейчас фронту нужны паровозы. Сроки самые сжатые.

С а р а ф а н о в. Слушаюсь. К сборке первого паровоза, собственно, уже приступили. Товарищ генерал-майор, разрешите обратиться с просьбой.

Се в р ю г и н. Пожалуйста.

С а р а ф а н о в. Засиделся в тылу. На фронт хочется. Я же, все-таки, в основном танкист.

Се в р ю г и н. Бойтесь, что не успеете? К шапочному разбору не хотите попасть?

С а р а ф а н о в. Было бы досадно.

Се в р ю г и н. Успеете. Комиссию прошли?

С а р а ф а н о в. Еще нет.

Се в р ю г и н. Пройдите сперва комиссию. Если комиссия разрешит, будем разговаривать. Но во всяком случае не раньше, чем выпустите первый паровоз. (Смотрит в окно.) Паршивое дело. Смотрите, как лед на реке вслучился. Ой-ой-ой. Ничего себе зима. Балаган! Лыдины крутятся. По льныи, Форменный ледоход. (Смотрит в бинокль.) Смотрите-ка, там грузовая машина возле берега под лед провалилась. Прикажите, чтоб немедленно прекратили движение по льду.

С а р а ф а н о в. Слушаюсь (уходит).

Х о м у т о в. Действительно, похоже на ледоход.

Се в р ю г и н. Слышите, как льдины ломаются? Надо немедленно начинать делать настил и пускать через мост, помимо поездов, автогужевого транспорт. Иначе фронт останется без горючего, и мы сядем.

Х о м у т о в. Уже делается.

Се в р ю г и н (смотрит на часы). Зима, будь она трижды проклята. Двигается?

Х о м у т о в. Идет.

Се в р ю г и н. Сколько осталось?

Х о м у т о в. Два с половиной метра.

Се в р ю г и н. Медленно, медленно.

В о л ю ш к и н а (за окном у теодолита. Рядом с ней К о л я, играющий полосатой палкой). Вправо на один сантиметр. По вертикали на месте. Коля, перестань баловаться.

К о л я. Мама, поезд скоро пойдет через мост? Я уже скоро поеду?

В о л ю ш к и н а. Скоро, скоро. Вправо на пять. По вертикали осадка головы фермы два сантиметра. Иди, Коля, иди. Ты мне мешаешь. По вертикали на месте. Только не смей уходить далеко.

Се в р ю г и н (смотрит в бинокль). Слу-

шайте, в чем дело? На правом берегу громадная толпа. Такое впечатление, что весь город вышел к реке.

Хомутов. Так оно и есть. Весь город вышел к реке.

Северюгин. Люди идут по льду, через полыньи. Один за другим. Цепочкой. Что-то на себе тащат. Женщины, какие-то ребята. Салазки.

Хомутов. Дайте-ка (смотрит в бинокль). Так и есть. Женщины Мартыновой. Это они перетаскивают через реку боеприпасы. Смотрите, катят бочку с бензином. Генерал, вы понимаете, что происходит? Это народ... Это весь народ помогает фронту гнать немцев.

Северюгин. Да. Народ. Народище! (На мосту слышится прерывистый свисток. Голос говорит «стоп». Скрип катков прекращается. Ферма вздрагивает, останавливается и поддается немного назад. Тишина.) В чем дело? Почему стали?

Волюшкина (заглядывает в окно. Она взволнована). Ферма осела на пятнадцать сантиметров и ушла вправо на двадцать.

Хомутов. Так. Спокойствие. (В телефон.) Левый берег. Давайте срочно высылайте на мост сорок человек. Возьмите откуда хотите. Ферма осела на двадцать сантиметров (Северюгину). Понимаете, как бы опора не подвела. На обрушенной ферме опора опасная. Вы видите, что делается на реке? Лед идет. При таком режиме воды...

Северюгин. Вы думаете? Надо выяснять (уходит).

Хомутов (в телефон). Левый. Давайте людей. Давайте, давайте.

Дуся (вбегает, запыхавшись и сразу же кидается к баку с водой. Жадно пьет. У нее на ватнике букетик подснежников). Фу, уморилась. Ух, какая холодная вичка. Красота. Долго простоим?

Хомутов. Минут пятнадцать.

Дуся. Можно отдохнуть. Я, кажется, сейчас засну. Валерьян Авдеевич, глядите, подснежники.

Хомутов. Откуда?

Дуся. Да их тут на левом берегу в дубяке под сугробами сколько угодно.

Хомутов. Ничего себе зима. Подснежники, ледоход. Может быть еще фиалки?

Дуся. Нет, фиалок нет.

Хомутов. И то спасибо.

Дуся. Вы сухой человек. Поглядите. Разве не красиво?

Хомутов. Слов нет. Прекрасно. Но сейчас мне нужна хорошая, устойчивая зима, а не сверхранняя весна.

Дуся. Хотите я вам приколю подснежники? Не смейте отказываться. Я обижусь.

Хомутов. Что-то ты сегодня, Дуся, чересчур резвая. С чего бы это?

Дуся. Я не резвая, а я счастливая. (Шопотом, наклонившись к Хомутову и прикалывая ему подснежники.) Я нынче

от одного человека письмо с фронта получила.

(Зина входит. Она направляется к баку, пьет жадно воду, видит краем глаза Хомутова и Дусю и, не глядя на них, идет обратно, поджав губы.)

Дуся. Зина.

Зина (останавливается). Я слушаю.

Дуся. Сядь, посидим.

Зина. Я не устала.

Дуся. Врешь. Устала. Все устали. Я тоже устала. Но тем не менее нынче я у тебя отберу знамя. Так и знай.

Зина. Увидим.

Дуся. Посмотрим.

Зина. Почему это именно сегодня ты в себе такая уверенная? (Садится.)

Дуся. Потому что нынче против меня нет на свете сильнее зверя. Верно, товарищ Хомутов? Нет, нет, Зиночка, я шучу. Что ты такая скучная, Зинуша?

Зина. Ужасно мне за Василия больно. Больно и обидно. Такое горе.

Дуся. До сих пор переживает?

Зина. Страшное дело. А ты думаешь, я не переживаю. Ведь это такая рана. Такое пятно. Бывает, знаешь, в доме на стене пятно. Его никто не замечает. И вдруг включают свет. Сильную, ясную лампочку..

Вера (входит). Ну, как дела? Поезда скоро пойдут?

Зина. Скоро.

Вера. Хочу письмишко ребятам на фронт передать с оказией. Только что у Васи была в больнице. Так он как будто бы ничего. Держится... Но.. Больно на него смотреть. Может быть потому, что голова коротко острижена. Шея тонкая. И, знаешь, такие тесемочки на рубашке. Больничные. Совсем мальчик. Сидит на подушке, читает. Руки худые-худые. Я его хотела поцеловать, а он мне вдруг говорит: замри! Ты понимаешь? И улыбнулся. Сам улыбнулся, а глаза не улыбнулись. Замри (вытирает слезы).

Зина. Верочка, не надо. Все будет хорошо.

Вера. Нет, ты подумай только, какая негодная, какая дрянь!

Хомутов (прислушивается). Тиме! (Слышен треск ползущего, разваливающегося дерева.) Кажется, на обрушенной ферме опора поползла. Стойте! (Все смотрят в окно. Видно, как немного сдвинулась и осела ферма. Треск. Пауза. Звуки ломающихся льдин.) Что там такое?

Мальчик (в окне). Это тот самый мальчик-ремесленник, который был ассистентом при знамени). На обрушенной ферме опора поползла!

Хомутов. Сейчас. (Торопливо уходит. Все молчаливо, неподвижно смотрят в окно. Пауза. Хомутов возвращается, быстро снимает пальто и сапоги.) Пошел лед. Ничего ужасного. Поползла опора. Спокойствие. Надо крепить ниже уровня воды, на дне. Ребята в воду полезли. бол-

таются среди льдин, а толком ничего не могут сделать. А там плевое дело, только тросс за нижний рязь зацепить. В моей практике уже такой случай был на магнитогорской плотине. Тут надо иметь известный опыт. Сейчас сделаем. Кто там — давайте тросс! Девочки, затопите печь. Ух, мамочки, какой пол холодный. (Снимает очки и кладет на стол.) Последите за очками.

Зина. Валерьян Авдеевич, это ж вернее воспаление легких.

Хомутов. Топите печь, девочки, топите печь (сдергивает с койки одеяло и уходит, неся его на руке).

Зина. Дуська, давай дров.

Дуся. Нету.

Зина. Руби табурет.

Дуся. Рублю (рубит табурет). Огонь в печке есть?

Зина. Угольки.

Дуся. Раздувай.

Зина. Раздуваю. Прямо какой-то бешеный человек. Никогда себе не представляла.

(За окном движение, несут бревна, шпалы, тросс. Бегут люди.)

Зина. Честное слово, он утонет! Товарищи, он утонет.

Дуся. Дуй, дуй.

Зина. Дую.

Дуся. Ты дуй, а не реви.

Зина. Я не реву. Это от дыма.

(Пауза. Затем за окном взрыв воящих голосов и движение.)

Зина. Что, что? Что там такое?

Вера. Поднимают. Вытаскивают. Вытащили. Идет.

Хомутов (входит. Он весь мокрый, дрожащий, с сиреневым от холода лицом, слышнейшей бородой, завернутый в одеяло). Ну, все в порядке. Где мои очки? Ни черта не вижу. Спасибо. Через пять минут опять начнем подвигу. Всего полтора метра осталось. Девочки, отвернитесь (он идет за перегородку и выбрасывает оттуда части своей мокрой одежды). Девочки, развесьте возле печки. Замерз.

Севрюгин (входит). Кружка какая-нибудь здесь есть?

Зина. Есть.

Севрюгин. Давайте ее сюда. (Зина подает очень большую жестяную кружку.) Вот-вот. Именно такая, как надо. (Наливает из фляжки полную кружку.) Где вы там, подолаз?

Хомутов (выходит из-за перегородки в чужой тесной и короткой спецовке, продолжая дрожать) Я здесь.

Севрюгин. Во-первых, выпейте.

Хомутов. Что это?

Севрюгин. Ром. Замечательный трофейный ром.

Хомутов. Трофейный?

Севрюгин. Это ничего не значит. Настоящий ямайский. Пейте.

Хомутов. А он крепкий?

Севрюгин. Русскую водку знаете?

Хомутов. Не знаю. Никогда не пробовал. Я ж непьющий.

Севрюгин. Непьющий? Так в два раза крепче.

Хомутов. Ой, нет!

Севрюгин. Пейте. Вам надо выпить. А то заболите. Видите, как вы дрожите.

Хомутов. Я никогда в жизни не пил. Честное слово.

Севрюгин. Пейте, вам говорят. Профилактически.

Хомутов. Профилактически?

Зина (умоляюще). Пожалуйста. Профилактически. А то вы непременно заболите.

Хомутов. Вся эту кружку?

Севрюгин. Обязательно. Только сразу. Ну? Во имя отца и сына и святого духа. Раз!

Хомутов. А я не умру?

Севрюгин. Умрете, если не выпьете.

Хомутов. Только я за себя потом не отвечаю. (Выпивает залпом всю кружку. Обалдело смотрит, не в силах произнести ни одного слова.) Ух!

Севрюгин. Что, сильно?

Хомутов (с трудом). И не говорите. Ух!

Севрюгин. Шибануло?

Хомутов. По-моему, у меня кожа языка слезает. Динамит.

Севрюгин. Вот видите. А вы еще не хотели пить. Ну-с, большое вам спасибо. От имени фронта. Выручили.

Хомутов. Не за что. А вы знаете? Согревает.

Севрюгин. Я думаю. А теперь рекомендую вам лечь и, как у нас говорят на фронте, часика на два всхрапнуть.

Хомутов. Ей-богу согревает.

Севрюгин. Вот и ложитесь.

Хомутов. Как это ни странно, но мне почему-то совсем не хочется спать (неожиданно для самого себя смеется). Курьезно, не правда ли? Это всегда так бывает? Мне совершенно не хочется спать, но, представьте себе, хочется курить.

Зина. Вы ж никогда до сих пор не курили.

Хомутов. Верно, не курил. А теперь мне хочется курить.

Севрюгин. Прошу вас.

Хомутов. Трофейные?

Севрюгин. Трофейные.

Хомутов. Чорт с ним. Закурим трофейные. Профилактически. Благодарю вас. Смотрите: курю. И, знаете, как это ни странно, мне нравится курить. Меня увлекает самый процесс. Обратите внимание — дым идет. Голубой, мечтательный дым. Теперь я всегда буду курить, братцы. Хорошо?

Зина. Валерьян Авдеевич, вы лучше прилягте и укройте.

Хомутов. Благодарю вас. Не стоит. Мне и без того жарко. А вы знаете, товарищи, здесь очень уютно. Печка горит. Вещи сушатся. Правда, славно? Как на

северном полюсе. Вокруг друзья, любимые девушки. Генерал присутствует. Позвольте, а где подснежники? Только что тут были подснежники.

Се в р ю г и н. Что вы! Какие там подснежники? Откуда? Ложитесь.

Х о м у т о в. Нет. Факт. Были подснежники. Я очень хорошо помню. Такие маленькие и отчасти чуть-чуть синенькие.

Д у с я. Верно, верно. Подснежники были. Я сама принесла.

Х о м у т о в. Вот видите. Девушка подтверждает. Дуся, дай руку. Товарищи, обратите внимание — я ее ужасно люблю. Она у меня лучший бригадир. Золото, а не девушка.

Д у с я (смущенно). Будет вам, Валерьян Авдеевич.

Х о м у т о в. Нет, нет. Я тебя очень люблю. Люблю любовью брата. Большое тебе спасибо за подснежники. Век не забуду. Чудесные подснежники. Если бы их подарила мне не ты, а другая девушка — им бы цены не было.

Д у с я. Вот тебе раз.

Х о м у т о в. Да, да, друзья мои. Извините, что я вас называю друзьями. Но ведь мы все здесь действительно друзья. Не так ли? Товарищ генерал, вы согласны?

Се в р ю г и н. Обязательно. И по этому поводу давайте часок соснем. А?

Х о м у т о в. Нет. Мне хочется высказаться. Слушайте меня, друзья мои. Я полюбил. Я очень и очень полюбил. Не правда ли, это курьезно? Мне самому странно. Это так же странно, как то, что я Валерьян. Валерьян Хомутов. Глупо. Какой же я Валерьян? Разве я похож на Валерьяна? Просто моя матушка читалась в юности sentimentalных романов и поговору назвала меня так возвышенно: Валерьян. А я теперь всю жизнь должен страдать. А в глубине души я просто Пахом. Пахом Хомутов. Правда, здорово? Но вы не обращайтесь внимания на мою внешность.

Д у с я. Идите спать.

Х о м у т о в. Не хочу. Под грубой оболочкой в нем билось благородное сердце. На тридцать втором году жизни меня постигло большое восхитительное чувство. Я полюбил. А борода — это пустяки. Не обращайтесь на нее внимания. Что борода, когда у меня душа молодая. Верно, Дуся?

З и н а. Валерьян Авдеевич, ложитесь.

Х о м у т о в. Кто это сказал? Зина? Милая, дорогая Зиночка, добрая моя, хорошая. Разве вы не понимаете, что я давно вас люблю. Прости, что я говорю тебе вы.

З и н а. Валерьян Авдеевич, что вы говорите..

Се в р ю г и н. Кажется, мы здесь лишние.

Х о м у т о в. Нет, не лишние. Наоборот. Я хочу, чтобы все слышали. От моих друзей у меня нет тайн. Слушайте все. Иди сюда, мальчик. Ты тоже слушай. Зинаида Васильевна, я понимаю, что это безнадежно.

но. Но что же мне делать, если так случилось? Это сильнее меня. Это первый раз в жизни. Я знал, что вы придете. Вы пришли.. нет, не вы пришли, а мы пришли. Мы пришли в безлюдную, пыльную степь и разбили палатку. И на нас обрушился буран. Это было великолепно. И я знал уже тогда, что встречу вас когда-нибудь на своем пути. Дайте мне вашу руку. Не бойтесь. Я ее даже не поцелую. Я ждал вас всю жизнь. И в Магнитогорске ждал, и в Хибинах ждал... (Берет ее за руку.) (За окном слышится свисток производителя работ.)

Д у с я. Начала. Я побежала. Зинаида! Се в р ю г и н. Нуте-ка, нуте-ка. (Уходит быстро.)

З и н а. Валерьян Авдеевич. Я опоздаю. Д у с я. Опоздаешь — не посчитаюсь. Имей в виду.

Х о м у т о в. Подождите, одну секунду. Я так много собирался вам рассказать.

В е р а. Побегу письмо отдавать (вынимает из сумки письмо, уходит).

Д у с я. Зинаида, последний раз.

З и н а. Валерьян Авдеевич. Я потеряю зная. Что вы со мной делаете?

Д у с я. Имей в виду (уходит).

Х о м у т о в. Я люблю вас.

З и н а. Зачем вы так говорите? Зачем вы надо мной смеетесь?

Х о м у т о в. Можете вы понять одну простую вещь: я люблю вас.

З и н а. Что вы со мной делаете. Зачем вы меня дразните, стыдно вам... Разве вы не видите, что я люблю вас.

Х о м у т о в. Что?

З и н а. Люблю вас.

Х о м у т о в. Вы?

З и н а (с досадой). Ну, конечно. Уже целый год. И самое ужасное, что это все знают. Все, кроме вас.

Х о м у т о в. Постояйте. Вы меня любите? Вы? Меня? (Недоверчиво, но счастливо смеется.) Не говорите. Вы не подумали. Идите. Это не сейчас. Нет, это так сразу всё не может быть. Это не сейчас. Сейчас я хочу спать. Это будет потом. Будет сияющий весенний день. И я приду к вам.

З и н а (сердито). Отпустите меня.

Х о м у т о в. Бегите к своим ребятам. (Зина уходит.) Желаю вам успеха. Будет сияющий весенний день. И тогда я приду к тебе. Позвольте. А где подснежники? Только что здесь были подснежники. Ужасно спать хочется. Я прилягу. (Идет за перегородку, зевая. За сценой оживленные голоса, крики.)

Се в р ю г и н (входит, смотрит на часы). Засечем. Пятнадцать часов тридцать две минуты.

С а р а ф а н о в. (Он входит и вытягивается перед генералом.) Мост готов для движения поездов.

Се в р ю г и н. Пускайте санитарный. С а р а ф а н о в (в телефон). Давайте санитарный.

Волюшкина (входит). Колька пропал. Боже мой. Вы не видели Колю? Ему же на санитарном ехать. Вот наказание. Коля! Коля!

Сарафанов. Товарищ генерал-майор. Санитарный вышел.

Севрюгин. Отлично.

Бондаренко (входит вместе с мокрым, оборванным и счастливым Колей). Я его аж на левом берегу поймал.

Волюшкина. Николай! В каком ты виде? Посмотри на себя, на кого ты похож. Что ты делал?

Коля. А я с мальчиками через реку по льду боеприпасы носил. Ух, интересно было мины на салазках возить.

Волюшкина. Как же ты теперь в таком виде поедешь?

Бондаренко. Ничего, как-нибудь доедем. Вот уж и поезд подходит. Где вещи? Пойдем в вагон садиться.

Волюшкина. Товарищ Бондаренко. Я вас умоляю..

Бондаренко. Ничего. У меня баловаться не будет. Я его довезу как положено.

Волюшкина. Ну, Колюшка. (Пауза.) Веди себя хорошо. Не забывай свою маму. Пиши. Учись лучше всех. Не обижай товарищей, не ссорься. И помни.. Помни всегда, что твой папа был честный офицер (обнимает его). Ты будешь помнить? Скажи, будешь?

Коля. Не беспокойся, мама.

Волюшкина. Ну пойдем.

Бондаренко. Разрешите итти?

Севрюгин. Идите. (Бондаренко поворачивается по уставу и уходит.)

Коля (подражая Бондаренко). Разрешите итти?

Севрюгин. Идите.

(Коля лихо поворачивается через правое плечо.)

Севрюгин. Стой! Отставить. Через какое плечо надо поворачиваться?

Коля. Через левое.

Севрюгин. А ты повернулся через какое?

Коля. Через правое.

Севрюгин. Повторить.

Коля. Разрешите итти?

Севрюгин. Идите.

(Коля четко поворачивается через левое плечо, идет строевым шагом, уходит.)

Севрюгин. Ваш мальчик?

Волюшкина. Мой. В Суворовское отправляю. Как вы думаете?

Севрюгин. Выйдет.

(Волюшкина уходит.)

(Мимо слева направо медленно проходит санитарный поезд.)

Севрюгин. Теперь давайте с левого берега все литерные, один за другим.

Сарафанов (в телефон). Левый? Начинайте пропускать литерные.

Волюшкина (входит). Уехал мой Коля.

Сарафанов. Садитесь, Полина Николаевна. Вы устали. Вы нынче целый день на ногах.

Волюшкина. Вот уж никогда не думала, что мне когда-нибудь пригодится моя геодезия. Уехал Коля.

Сарафанов. Вы не огорчайтесь.

Волюшкина. Как же мне не огорчаться, когда я еще никогда в жизни не расставалась с Колей ни на один день.

Сарафанов. Ничего, Полина Николаевна. Ничего. Вы об этом не думайте. Вы лучше думайте о другом. Вы лучше представьте себе такое зрелище. В один прекрасный весенний день раздается стук в дверь и приезжает на каникулы ваш Колька в полной парадной форме Суворовского училища: в мундире, в погонах, в штанах с красными лампасиками..

Волюшкина (смеясь сквозь слезы). Мой Колька? С лампасиками?

Сарафанов. А что вы думаете. (Хомутов выходит из-за перегородки. Он несколько отрезвел. Вид у него взъерошенный, смущенный.)

Севрюгин. Ну, как вы себя чувствуете, водолаз? А мы тут без вас мост открыли и уже один состав прошел.

Хомутов. Да что вы говорите?! Чудеса да и только. Страшный напиток, этот ваш трофейный. Слушайте, я тут ничего такого не наговорил лишнего?

Севрюгин. А вы не помните?

Хомутов. Смутно.

Севрюгин. И не помните, что вы сделали?

Хомутов. Вы меня пугаете. А что я сделал?

Севрюгин. Вы сделали предложение одной девушке.

Хомутов. Не может быть. Какой девушке?

Севрюгин. Если не ошибаюсь, ее зовут Зина.

Хомутов. Вы.. шутите? Нет, в самом деле..

Севрюгин. Какие уж тут шутки, батюшка.

Хомутов. И что же она мне ответила?

Севрюгин. Вот этого мы не знаем. Не присутствовали.

(Справа налево со свистом пронесится воинский эшелон с танками, часowymi, зенитными пулеметами.)

Сарафанов. Товарищ генерал-майор. Литерный подходит.

Севрюгин. Великолепно. Водолаз, вы слышите? Литерный идет.

Хомутов (рассеянно). Литерный идет..

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Прошло еще немного времени. Зрелая весна. Погода почти жаркая, но пасмурная. Собирается гроза. Комната первого и второго действия. Она стала намного лучше. Теперь она почти такая, как до войны. Конторы уже нет. Хомутов и Коновалов живут в другом месте. Появилось старое пианино. Оно ободрано. Окна открыты. За ними на первом плане виден тополь. Дерево наполовину сломано и обуглено. Видно, в него когда-то попал снаряд. Но тем не менее на нем кое-где зеленеют свежие побеги. Это соединение ярко-черного и ярко-зеленого — жизни и смерти — особенно резко выделяется на асфальтовом фоне пасмурного весеннего дня, на фоне грозových графитных облаков, кое-где как бы запачканных свинцовыми белилами. Кроме тополя в окна видны остатки разрушенных стен, провалы окон, ржавые, скрученные железные балки, кучи мусора, поросшие могучими лопухами, и новенькие светложелтые телефонные столбы с новенькими, ярко-белыми изоляторами. Издали слабо доносятся звуки оркестра. На сцене С а р а ф а н о в, укладывающий свои вещи, и Б о н д а р е н к о. Слышны гудки паровозов, звуки кленки, вздохи пилы.

С а р а ф а н о в. Отнесите вещи в машину, а потом езжайте на станцию и грузите машину на площадку. Только аккуратно. Поездом поедом.

Б о н д а р е н к о. Слушаюсь! (берет вещи, выходит).

В е р а (входит). Михаил Сергеевич, я слышала, вы на фронт уезжаете. Меня с собой не захватите?

С а р а ф а н о в. Да ведь я не на машине. Прошло то время, когда на фронт машиной добирались. Утром выехал, в обед — на передовой. Теперь машиной надо трое суток ехать. Я на поезде. До второго эшелона на поезде, а потом на своей машине. Поедем, если хотите, вместе на поезде, а дальше я вас подброшу до самой точки на своем вилайсе. Вещей много?

В е р а. Один мешок и автомат.

С а р а ф а н о в. При вас?

В е р а. Дома.

С а р а ф а н о в. Так вы их скорей несите, а то Бондаренко сейчас выезжает.

Б о н д а р е н к о (входит). Шинель при себе оставите или тоже в машину?

С а р а ф а н о в. Шинель — в машину. Плащ-палатку при себе оставляю. Наверное дождь будет. Вы пока подождите, не уезжайте. Девушка сейчас свой мешок принесет.

Б о н д а р е н к о (берет шинель). Слушаюсь.

В е р а. Зины нету?

С а р а ф а н о в. На митинге.

В е р а. Ах да, совершенно верно. Ведь они нынче первый паровоз выпускают. Как быстро!

Б о н д а р е н к о (прислушивается). С музыкой нас провожают.

(Пауза. Звучит отдаленная музыка.)

С а р а ф а н о в. А тебе, небось, не хочется уезжать? Привык, небось, к тыловой обстановке?

Б о н д а р е н к о. Какая ж это обстановка? Вон ребята пишут, что они немцев гонят по сорок километров в сутки. Мама-лягу румынскую кушают. По бабушкиному аттестату. Это обстановка!

В е р а. Вася из рейса еще не возвратился?

С а р а ф а н о в. Ждали нынче. До сих пор нет. Наверное уже сегодня не придет.

В е р а. Как нескладно. Значит, я пойду за вещами. Ужасно нескладно (уходит).

Б о н д а р е н к о. Автомат я тоже в машину положу. Разрешите идти?

С а р а ф а н о в. Да. Постойте. У вас личное оружие в порядке?

Б о н д а р е н к о. Так точно.

С а р а ф а н о в. Дайте. (Он берет у Бондаренко пистолет, разряжает его, щелкает, оттягивает ствол и смотрит на свет.) Это у вас называется в порядке? (Наливается густой краской.) В каком состоянии вы держите оружие? Когда вы его в последний раз чистили? Распустились! По приезде на место — под арест. Ступайте.

Б о н д а р е н к о. Слушаюсь (уходит с вещами).

С а р а ф а н о в. Шляпа! Ну-с. (Осматривается.) Кажется, все.

З и н а (входит). Уезжаете?

С а р а ф а н о в. А что, разве уже митинг кончился?

З и н а. Я не стала дожидаться. Пришла с вами проститься. Сейчас я вам покушать соберу. Еще надо посуду помыть, обед поставить. Да чтоб на смену не опоздать. Замечательный паровоз получился. Василий из рейса еще не вернулся? Обещался быть сегодня.

С а р а ф а н о в. Не приезжал.

З и н а. Я очень рада за Василия. Смотрите, как он за последнее время вырос. Уже его пускают помощником с лучшим машинистом, стариком Фаддеевым. На фронт эшелоны с боеприпасами водят. Шутка сказать! Я очень боялась, что Вася после того случая совсем у меня сломается. Нет. Ничего.

С а р а ф а н о в. У вас порода крепкая. Судейкинская. Полину Николаевну на митинге не видала?

Зина. Нет, ее не было.

Сарафанов. Обидно. Знаешь, кто вместе со мной на фронт едет? Подружка твоя, Вера.

Зина. Тоже уезжает?

Сарафанов. За вещами побежала.

Зина. Ну вот. И Вера тоже уезжает. И когда только эта проклятая война кончится; когда мы, наконец, этих мерзавцев окончательно добьем. Я б их собственными руками давила!

Сарафанов. Милая девушка — эта твоя подружка Вера. Видать, боевая.

Зина. Она очень гордая, дядя Миша. И несчастная. Она так переживает.

Сарафанов. Да, хлебнула горюшка у немцев.

Зина. Это тоже. Но я не об этом. Ах, дядечка Мишечка, вы ничего не знаете. Этого никто не должен знать. Если кто-нибудь узнает, ей будет страшно больно. Но вам я скажу. Она очень любит нашего Васю. Еще с того времени любит. С детства. Только вы не думайте. Она его не просто так любит. Не как брата. Она его любит совсем серьезно, совсем. Только она этого ни за что не скажет. Хоть вы ее убейте. А теперь в особенности. Понимаете — нас бы и три подруги: Вера, я и... эта. И Вера его любила. И Вера всегда была лучше той. И Вася это знал. И все-таки он выбрал не Веру. Почему, спрашивается, — неизвестно. Как все это непонятно. Объясните мне, дядя Миша...

Сарафанов. Ну, если б это можно было объяснить...

Зина. Вы же большой, взрослый. Вы все должны знать.

Сарафанов. Ничего я не знаю, Зиночка. Век живи, век учишь.

Вася (входит. Он осунулся, повзрослел, вытянулся. Черты лица стали тверже. Несколько сутулится. Лицо потемнело от солнца и ветра. Он в тужурке. На шее платок. Сапоги. В руках сундучок и железнодорожный фонарь. Настоящий машинист. Говорит неохотно, несколько замедленно). Ну, здравствуйте.

Зина. Как? Благополучно? А мы тебя еще утром ждали.

Вася. Мы бы приехали вовремя, по графику, да нас на четыреста двенадцатом километре немецкая авиация малость задержала.

Зина. Бомбили?

Вася. Немножко. Гляди, какой осколок в тендер попал. (Показывает осколок.)

Зина (рассматривает осколок). Зубчатый. Колючий. Ах, мерзавцы!

Сарафанов. Да. Вещица. Спрячь. Боевое крещение. Приносит счастье.

Вася. Зинаида, как бы мне помыться и пообедать?

Зина. Утиральник на кровати, а обед я мигом. (Ставит кастрюлю на электрическую плитку и начинает собирать на стол. Вася уходит.) Ведь это что делается?

Сарафанов. Стало быть, Полины Николаевны не было?

Зина. Нынче отряд Мартыновой с утра приводит в порядок десятилетку на центральной площади.

Сарафанов. Ну, во всяком случае, передай ей от меня большой привет.

Зина. Дядечка Мишечка, мне так жалко, что вы уезжаете.

Сарафанов. Верно? Мне тоже жалко. Славно перезимовали. Милый дом.

Зина. Чего тут не было! И контора заводу управления, и штаб бригады, и общежитие. Все тут жили: и директор, и Валерьян Авдеевич... Терем-теремок, кто в тереме живет? Кто в низеньком живет? Тук, тук, тук. Никто не отключается. Вошла мышка и стала в нем жить. Дядя Миша?

Сарафанов. Что, мышка-норушка?

Зина. Посоветуйте, что мне делать. Обещался притти весной. И уже весна. А он не идет. И ничего не говорит. Не могу я больше так. Не могу.

Сарафанов. Это кто? Бородка?

Зина. Ага.

Сарафанов. Ничего. Придет. Если не дурак, то придет. Ты жди. Куда тебе торопиться. У тебя впереди целая жизнь. (Пауза.) Обидно. Очень обидно.

Вася (входит). Ну, Зинаида, чего настряпала? Подайвай.

Зина. Сейчас подаю.

Вася (садится к столу. Как взрослый, ставит локти на стол, смотрит на стенку). Придется еще раз белить.

Зина. Дядя Миша, пожалуйста.

Сарафанов. В последний раз. (Вдруг спохватывается.) Подождите! (Многозначительно поднимает палец вверх, уходит.)

Зина (берет с пианино серый платок и набрасывает его на плечи). Здесь холодно или это мне так кажется?

Вася. На дворе жарко. Гроза собирается. Парит. А в комнатах еще сыро, прохладно. Весной это бывает.

Зина. Да, весной это бывает. Вася, только ты не сердись. Ты еще до сих пор переживаешь?

Вася (яростно обрушивает кулак на стол, так что подпрыгивает посуда). Зинаида!

Зина (нежно). Васюк. Я понимаю. Тебе тяжело. Но это пройдет.

Вася (остыл. Угрюмо). Можешь не сомневаться. (Пауза.)

Вера (входит с автоматом. Вдруг останавливается, как бы пораженная чем-то). Чудно как!

Зина. Здравствуй, Верочка. Неужели ты тоже едешь?

Вера. Погоди. Замри. Вот, так вот все и было. Я очень хорошо помню. Ваша мама, Ольга Сергеевна, сидела в сером платке, а напротив нее Василий Васильевич, в тужурке. И они обедали. А вы бежали на улице. А на полу стоял сундук и фонарь. Я зашла в комнату и... Я была совсем ма-

Зина. Нет, ее не было.

Сарафанов. Обидно. Знаешь, кто вместе со мной на фронт едет? Подружка твоя, Вера.

Зина. Тоже уезжает?

Сарафанов. За вещами побежала.

Зина. Ну вот. И Вера тоже уезжает. И когда только эта проклятая война кончится; когда мы, наконец, этих мерзавцев окончательно добьем. Я б их собственными руками давила!

Сарафанов. Милая девушка — эта твоя подружка Вера. Видать, боевая.

Зина. Она очень гордая, дядя Миша. И несчастная. Она так переживает.

Сарафанов. Да, хлебнула горяшка у немцев.

Зина. Это тоже. Но я не об этом. Ах, дядечка Мишечка, вы ничего не знаете. Этого никто не должен знать. Если кто-нибудь узнает, ей будет страшно больно. Но вам я скажу. Она очень любит нашего Васю. Еще с того времени любит. С детства. Только вы не думайте. Она его не просто так любит. Не как брата. Она его любит совсем серьезно, совсем. Только она этого ни за что не скажет. Хотя вы ее убейте. А теперь в особенности. Понимаете — нас было три подруги: Вера, я и... эта. И Вера его любила. И Вера всегда была лучше той. И Вася это знал. И все-таки он выбрал не Веру. Почему, спрашивается, — неизвестно. Как все это непонятно. Объясните мне, дядя Миша...

Сарафанов. Ну, если б это можно было объяснить...

Зина. Вы же большой, взрослый. Вы все должны знать.

Сарафанов. Ничего я не знаю, Зиночка. Век живи, век учишь.

Вася (входит. Он осунулся, повзрослел, вытянулся. Черты лица стали тверже. Несколько сутулится. Лицо потемнело от солнца и ветра. Он в тужурке. На шее платок. Сапоги. В руках сундучок и железноружный фонарь. Настоящий машинист. Говорит неохотно, несколько замедленно). Ну, здравствуйте.

Зина. Как? Благополучно? А мы тебя еще утром ждали.

Вася. Мы бы приехали во-время, по графику, да нас на четыреста двенадцатом километре немецкая авиация малость задержала.

Зина. Бомбили?

Вася. Немножко. Гляди, какой осколок в тендер попал. (Показывает осколок.)

Зина (рассматривает осколок). Зубчатый Колючий Ах, мерзавцы!

Сарафанов. Да. Вещица. Спрячь. Боевое крещение. Приносит счастье.

Вася. Зинаида, как бы мне помыться и побезать?

Зина. Утиральник на кровати, а обед я мягом. (Ставит кастрюлю на электрическую плитку и начинает собирать на стол. Вася уходит.) Ведь это что делается?

Сарафанов. Стало быть, Полины Николаевны не было?

Зина. Нынче отряд Мартыновой с утра приводит в порядок десятилетку на центральной площади.

Сарафанов. Ну, во всяком случае, передай ей от меня большой привет.

Зина. Дядечка Мишечка, мне так жалко, что вы уезжаете.

Сарафанов. Верно? Мне тоже жалко. Славно переживовали. Милый дом.

Зина. Чего тут не было! И контора водоуправления, и штаб бригады, и общежитие. Все тут жили: и директор, и Валерьян Авдеевич... Терем-дерезок, кто в тереме живет? Кто в низеньком живет? Тук, тук, тук. Никто не откликается. Вошла мышка и стала в нем жить. Дядя Миша?

Сарафанов. Что, мышка-норушка?

Зина. Посовещуйте, что мне делать. Обещался прийти весной. И уже весна. А он не идет. И ничего не говорит. Не могу я больше так. Не могу.

Сарафанов. Это кто? Бородка?

Зина. Ага.

Сарафанов. Ничего. Придет. Если не дурак, то придет. Ты жди. Куда тебе торопиться. У тебя впереди целая жизнь. (Пауза.) Обидно. Очень обидно.

Вася (входит). Ну, Зинаида, чего настряпала? Подавай.

Зина. Сейчас подаю.

Вася (садится к столу. Как взрослый, ставит локти на стол, смотрит на стенку). Придется еще раз белить.

Зина. Дядя Миша, пожалуйста.

Сарафанов. В последний раз. (Вдруг слохватывается.) Подождите! (Многочисленно подымает палец вверх, уходит.)

Зина (берет с пианино серый платок и набрасывает его на плечи). Здесь холодно или это мне так кажется?

Вася. На дворе жарко. Гроза собирается. Парит. А в комнатах еще сыро, прохладно. Весной это бывает.

Зина. Да, весной это бывает. Вася, только ты не сердись. Ты еще до сих пор переживаешь?

Вася (яростно обрушивает кулак на стол, так что подпрыгивает посуда). Зинаида!

Зина (нежно). Васюк. Я понимаю. Тебе тяжело. Но это пройдет.

Вася (остыл. Угрюмо). Можешь не сомневаться. (Пауза.)

Вера (входит с автоматом. Вдруг останавливается, как бы пораженная чем-то). Чудно как!

Зина. Здравствуй, Верочка. Неужели ты тоже едешь?

Вера. Погоди. Замри. Вот, так вот все и было. Я очень хорошо помню. Ваша мама, Ольга Сергеевна, сидела в сером платке, а напротив нее Василий Васильевич, в тужурке. И они обедали. А вы бегали на улице. А на полу стоял сундук и фонарь. Я зашла в комнату и... Я была совсем ма-

ленькая... До чего ж похоже! Да, еду. Здравствуй, Вася. Ты только что?

Вася. Только что.

Вера. Ну, значит, здравствуй и до свиданья.

Зина. Что за несчастье! Одни приезжают, другие уезжают. (Васе.) Ты и вправду, Василий, стал на отца похож.

Вася. А ты на мать.

Зина. Вера, что это такое? Может быть мы уже в самом деле взрослые? Как это странно. Садись, Верочка, обедай с нами. Это наверно потому, что я в мамином платке, а Вася в отцовской тужурке. Много вещей нашлось. И сундучок нашелся, с которым папа в рейс уезжал.

Сарафанов (входит. У него в руках фляжка и кружок колбасы). Зинуша, родненькая, у тебя стопочек не найдется? Надо на прощанье. Василий, а?

Вася. Одну можно.

Сарафанов. А я тебе больше и не дам. Ты сперва машинистом стань. А тебе, Зина?

Зина. Самую малость.

Сарафанов. Девушка, вам можно?

Вера. Можно.

Сарафанов. Тебе, Зинка, половину; подружке твоей тоже половину. Остальным по целой (разливает). Ну, будем здоровы. За нее!

Зина. За кого нее?

Сарафанов. Она у нас одна. За нее. За победу-матушку (пьет).

Бондаренко (в окно). Товарищ майор, так я поеду.

Сарафанов. Езжайте.

Волюшкина (входит, она немного взволнована, в рабочем платке. У нее в руках ведро с зеленой краской и длинная малярная кисть). Кто уезжает?

Зина. Дядя Миша уезжает.

Волюшкина. Правда?

Сарафанов. Совершенно точно.

Волюшкина. Извините, что я в таком виде. Крышу, наконец, кончили. А чем будем двери красить, неизвестно. Невозможно же той губийственной краской. Ребята просто заболели. А другой краски нету. Впрочем, райком обещал выдать лимиты. Слушайте, вы действительно уезжаете? Но зато какая школа получается!

Зина. Садитесь с нами. У нас зеленый борщ.

Волюшкина. Спасибо. С наслаждением сяду. Устала. Жарко. Дождь будет.

Сарафанов. Может выпьете стопочку под колбаску?

Волюшкина. Нет, вы, правда, уезжаете?

Сарафанов. Правда. Так что очень вероятно, что мы уже больше с вами не увидимся. А если и увидимся, то очень не скоро.

Волюшкина. Тогда налейте. Нашему брату, маляру, полагается дернуть с

устатка. Как же это так, вдруг? Да вы не шутите ли?

Сарафанов. Вот и девушка едет. И вещи уже с машиной на вокзал отравила.

Волюшкина. Ну, что ж. В таком случае налейте себе тоже. Спасибо вам за хорошее отношение, за Колю, за все.

Сарафанов. И вам.

Волюшкина. Желаю вам всего самого лучшего. Главное — живите долго.

Сарафанов. Спасибо, Полина Николаевна (чокаются, пьют).

Вера. Вася, всего самого лучшего. Не хочешь?

Вася. Я уже выпил, Верочка.

Вера. Будем здоровы (пьет).

Зина. Товарищи, а вы знаете что? Меня развезло!

Вася. С чего это, с полрюмки?

Зина. Честное слово, развезло (смеется). Я вам сейчас играть буду. (Садится за пианино.) Верочка, помнишь, как нас учили играть в музыкальной группе... (Играет. Она играет старательно, немного деревянно, по-детски подсаживая, «Вальс Джульетты».)

Вася (резко). Зинаида, я не люблю, когда ты дрымаешь.

Зина (продолжая играть). А мне хочется играть. У меня сегодня такое чувство. Вася (с трудом владея собой). И вообще это пианино надо выкинуть из нашего дома.

Вера. Вася, голубчик, успокойся.

Зина. А я хочу играть!

Вася. Тогда я уйду. (Уходит в свою комнату.)

Зина. И уходи. Только сбил. Вера, давай на прощанье вспомним старину. В четыре руки. Только — нежно, музыкально. (Играют в четыре руки.)

Волюшкина. Январь, февраль, март, апрель, май. Пять месяцев. Ох, как мне тогда было худо, если б вы знали. А теперь... — я знаю, что эта рана никогда не заживет... — но теперь, по крайней мере, у меня есть работа. Коля учится. Я дышу, живу. Спасибо, Михаил Сергеевич. Вы мне очень помогли. Все-таки, по-моему, сегодня гроза будет. (Смотрит.) Ого! Смотрите-ка, смотрите-ка. Зенитки как бьют. Все небо в разрывах.

Сарафанов. Это далеко. (Слышно частое, но очень слабое, чуть слышное хлопанье зениток.)

Волюшкина. Еще летают...

Сарафанов. Какой-нибудь обезумевший одиночка. Разведчик дальнего действия. Ну вот и все. Сеанс окончен. Ушел, мерзавец, Полина Николаевна, у нас в армии не принято загадывать вперед. Никто не знает, что с человеком будет завтра. Но, как ваше мнение, встретимся мы с вами после войны?

Волюшкина. Вы всегда останетесь моим самым лучшим другом. Но... (с жи-

востью) Михаил Сергеевич, не будем сейчас об этом говорить.

Сарафанов. Не забывайте меня. Волюшкина. Послушайте, как они смешно играют.

Сарафанов. Лихо жарят.

Волюшкина. Это еще слишком больно. Ну, так и есть. Уже молния мелькнула. Вы обратили внимание на этот тополь. Я не думала, что на нем может что-нибудь вырасти. Однако смотрите. Необыкновенно выносливое дерево. Старушка копается в обгорелом кирпиче. Каждый день копается. Значит, что-то надеется найти. Вы знаете, это будет очень красивый город. Когда вы приедете, вы его не узнаете. Смотрите, смотрите, какие потешные два мальчика идут по улице. Два солдатика.

Сарафанов. Где?

Волюшкина. Вот на той стороне. Что это за форма?

Сарафанов. Это форма Суворовского училища.

Волюшкина. Приличные. Подтянутые. Неужели и мой Колька стал такой аккуратный?

Сарафанов. Слушайте, по-моему, это и есть ваш Коля.

Волюшкина. Какой же это Коля. Вы думаете?

Сарафанов. Конечно, он.

Волюшкина. Ей-богу, Коля. Товарищи, Коля приехал!

Зина. Где, где Коля?

Коля (входит). Товарищ майор, разрешите войти?

Волюшкина (бросается к сыну). Колька, мальчик мой. (Объятия, поцелуи.) Как же ты доехал? Хорошо? Благополучно?

Коля. Хорошо. Мама, со мной еще один наш воспитанник приехал. Это ничего?

Волюшкина. То-есть, я не совсем понимаю, как с тобой приехал?

Коля. Ну так. Обыкновенно. На каникулы вместе со мной к нам приехал. У него никого нет. Ему некуда на каникулы ехать. Он круглый сирота. Его родителей немцы убили. Он у партизан был. У него медаль есть. Он даже один раз из противотанковой пушки стрелял, честное суворовское, Харитон, идите сюда.

Харитон (попяляется в дверях. Он маленький, серьезный, с партизанской медалью, держит себя необыкновенно чопорно и корректно). Товарищ майор, разрешите войти?

Сарафанов. Пожалуйста.

Коля. Харитон, познакомьтесь с моей мамой.

Харитон. Друг вашего сына, воспитанник Суворовского военного училища, Харитон Усыпкин.

Волюшкина. Очень рада. Вы наверное с дороги умыться хотите? Коля, пойд

покажи товарищу, где умыться и вообще где всё.

Харитон. Коля, вы не беспокойтесь, пожалуйста.

Коля. Вот пустяки какие. (Говорит по-английски.) Как вы себя чувствуете, сэр?

Харитон (отвечает по-английски). Благодарю вас, сэр. Я чувствую себя не плохо.

Коля. Мы решили все каникулы тренироваться с Харитоном по-английски.

Сарафанов. Наповал!

(Коля и Харитон уходят, обмениваясь английскими фразами.)

Волюшкина. Я вам сейчас полотенце дам (уходит за ними).

Зина. Одни приезжают, другие уезжают.

Сарафанов. Между прочим, который час? Семнадцать часов пять минут. Надо двигаться. (Вера надевает автомат.)

Зина. Уже надо? Верочка, голубушка... (Подруги обнимаются.) Дядя Миша! (Обнимаются.) Вы поскорей возвращайтесь, слышите? И постарайтесь, чтоб вас не убило. Эта комната всегда будет ваша. Она всегда будет ждать вас. Я ее каждый день буду убирать.

Сарафанов. Спасибо, родная.

Зина. Погодите. У вас на рукаве пуговичка еле держится. Пойдемте, пришью.

Сарафанов. Опоздаем.

Зина. Я мигом. А то некрасиво. Вы же офицер. Неаккуратно (уходят в комнату Сарафанова).

Вера (стучит в дверь к Васе). Вася! Мы уезжаем.

Вася (выходит). Уже?

Вера. Да. Простимся (оба долго молчат. Грустно). Так они стояли и молчали. (Тряхнув головой.) Ну, ладно. Не сердись на меня, Вася. Прости меня.

Вася. За что?

Вера. За то, что я тебе сделала так больно. Но посуди сам — могла я поступить иначе?

Вася. Не могла. (Живо.) Слушай. Вера. Об этом я ни с кем еще не говорил. Не мог. Даже с Зиной. А с тобой могу. Скажи, Вера — вот мы все вместе росли, дружили: ты, я, Зина и... она. И я вас обеих любил, как сестер. Нет, не как сестер. Тебя я любил, как сестру, а ее совсем не так. Я ее ужасно любил. Я иногда ходил, как очумелый. А ведь я знал, что ты лучше. И все-таки я ее любил гораздо сильнее. Нет, я не так говорю. Я тебя любил крепче, а ее сильнее. И я знал, ты меня прости, Вера, я знал, что ты меня любила больше всех. Даже, может быть, больше Зинаиды. Я не так говорю.

Вера. Нет, ты так говоришь.

Вася. Почему же это, Вера? Почему это так случилось? Почему я не видел?

Вера. Ты не видел потому, что ты слишком сильно любил. И потому, что у

тебя была слишком нежная и слишком чистая душа. И за это я тебя всегда тоже любила. Да, собственно, и теперь люблю.

В а с я. Прости меня, Вера.

В е р а. Что ж прощать. За что? (С увлечением.) Я любила тебя, Зину. Я любила твоего папу и твою маму. Я так хорошо их помню. Я любила этот дом. И этот тополь. Ты помнишь, я вырезала на нем лезвием от самобрейки наши буквы! Васенька, родненький мой! Мне так тебя жалко. Я тебя очень прошу. Пожалуйста. Если ты меня хоть капельку любишь. Соберись. Сожми зубы. И больше не... и больше никогда.. Я хочу, чтобы ты жил. Дай мне честное слово.

В а с я. Честное слово.

В е р а. Не люби ее. Оно этого не стоит.

В а с я. Любить ее? Да я говорить о ней не могу спокойно! Не в этом дело. Ты понимаешь — мне обидно.. Мне обидно, что столько силы, столько жизни я отдал этой дряни. А ведь я... А ведь мы... А ведь это могла быть — ты. И этого уже никогда не будет. Вера — ты замечательная. Мы с Зиной всегда говорили, что ты замечательная. Мы гордимся тобой. Ты наша сестра, правда?

В е р а. Правда, Вася. Прощай. Я тебя поцелую. Можно?

С а р а ф а н о в (входит. За ним Зина). Спасибо, Зинуша. Ну, братцы, ехать так ехать. А то, глядите, уже дождик начался. Вымокнем. Ты, Зиночка, на вокзал разве не пойдешь?

З и н а. Я бы с радостью, да мне еще столько работы. Боюсь на смену опоздаю. С а р а ф а н о в. Стало быть, здесь простимся (целуются).

З и н а. До свиданья, Вера. Скорей возвращайся.

В е р а. Прощай, Зиночка (целуются). Прощай, Вася. Милый мой брат.

В а с я. Я тебя провожу.

С а р а ф а н о в. Спасибо, родные. Двинулись.

З и н а (идет вслед за ними в коридор, там слышны возгласы прощанья. Потом возвращается в комнату. Одна. За окном, пошестому усиливаясь, идет дождь). Терем-теремок, кто в тебе живет... (плачет).

В о л ю ш к и н а (входит). Что? Ушли уже? Давно?

З и н а. Только что.

В о л ю ш к и н а (подбегает к окну, высывается на улицу, кричит). Вася! Вера! Погодите. Я вас провожу. Зиночка, посмотри за мальчишками. Я Михаила Сергеевича провожу.

З и н а. Ох, вымокнете.

В о л ю ш к и н а. Пусть. (Уходит.)

(Зина одна. Она быстро и энергично начинает убирать посуду, приводит комнату в порядок, подбирает с полу бумажки. Потом вдруг садится к пианино и начинает играть все тот же «Вальс Джульетты».)

(Гром, молния, шум ливня. Это короткая и бурная весенняя гроза, звуки которой сливаются с звуками пианино.)

(Хомутов входит. У него в руке зеленая веточка ландыша. Его изрядно вымочила гроза. Останавливается, отряхивается. Слушает. Зина поглощена музыкой — ничего не видит, не замечает. Тогда он присаживается к столу и, облокотившись на руку, с блаженным счастливым видом смотрит на Зину. Дождь утихает. Зина продолжает играть. Хомутов робко кашляет. Она не замечает. Тогда Хомутов вынимает из кармана газету, протирает очки и читает. Начинает увлекаться чтением. Шелестит газетой.)

З и н а. Коля, это ты?

Х о м у т о в. Простите. Это я. Зинаида Васильевна.

З и н а (быстро обернувшись). Валерьян Авдеевич.

Х о м у т о в. Здравствуйте.

З и н а. По-моему, мы уже сегодня с вами виделись на выпуске паровоза. Вы уже давно здесь?

Х о м у т о в. Порядочно.

З и н а (после паузы). Вы по делу?

Х о м у т о в. Нет, почему же. Сегодня такой превосходный день. Дождь, молния и все прочее. Видите, какой я?

З и н а. Вы опять мокрый?

Х о м у т о в. Как цыцки. Вы видите, я пришел к вам. Просто пришел.

З и н а (смущенно). Садитесь.

Х о м у т о в (грустно). Я уже сажу. (Пауза.) Может быть, вы заняты?

З и н а. Да. Я занята. Мне еще надо помыть посуду, поставить белье, переодеться, не опоздать на смену. Вы мне что-то хотели сказать?

Х о м у т о в. Да. Я хотел вам сказать...

З и н а. Ага. Я понимаю. Не говорите. Вы не подумали. Идите и подумайте. Этого не может быть. Семь раз отрежь. Это не сейчас. Сейчас я хочу спать. Пожимают: спать. (Хомутов в пятится.) Подождите (с раздражением). Подождите, вам говорят. (Подходит к нему вплотную и кладет на его мокрые плечи свои нежные, но крепкие руки.) Что ж ты так долго не приходил?

(Пауза. Дождь уже прошел, за окнами падают последние сверкающие капли. По уличному репродуктору начинают передавать московские позывные. Чистые звуки вызывают известную всему миру музыкальную фразу.)

З и н а. Слышишь? Тише!

(Они оба слушают. Музыкальная фраза повторяется.)

З и н а. Знаешь, на что это похоже? Это похоже на веточку ландыша. Каждый шарик отдельно. Верно?

Х о м у т о в. Верно.

З и н а. Подожди. Слушай. Сейчас нам скажут что-то очень хорошее.

ДИДМОУРАВИАНИ

Грузинская поэма XVII века о Георгии Саакадзе

ИОСИФ ТБИЛЕЛИ

Перевод Г. ЦАГАРЕЛИ.

★

Поэма Иосифа Тбилели «Дидмоуравиани», написанная во второй половине XVII века, является замечательным памятником грузинской литературы. Она занимает особое место в литературном наследии грузинского народа. Будучи посвящена жизнеописанию знаменитого грузинского военачальника и политического деятеля первой половины XVII века — «великого управителя», «диди моурави» — Георгия Саакадзе, поэма является не только художественным произведением, но и значительным историческим документом.

Содержание напечатанного здесь отрывка из поэмы относится к событиям 1609 года. В Грузию вторгаются крымчаки под предводительством Татархана. Георгий Саакадзе возглавляет оборону страны и наносит жестокое поражение превосходящим силам врага. Моурави спасает неподготовленного к отпору царя Луарсаба от разгрома и грозящего ему плена.

Блестящая победа упрочила положение моурави Саакадзе при дворе, но обострила его от-

ношения с сепаратистски настроенными феодалами, считавшими выскочкой моурави — выходца из сословия мелкопоместных дворян.

Вскоре царь Луарсаб вступает в брак с сестрой Георгия Саакадзе. Моурави предвидит, что родство его с царской семьей вызовет недоброжелательство соперников. И действительно, князья убеждают царя Луарсаба развестись с сестрой Саакадзе, а самого моурави убить. Предупрежденный об этом, Саакадзе отвозит семью в безопасное место, а сам отправляется в Иран — к шах-Аббасу. Он питает тайные надежды — использовать могущество Ирана, чтобы сокрушить мощь феодалов и объединить раздробленную на мелкие владения Грузию в единое сильное государство.

«Дидмоуравиани» принадлежит к тем памятникам грузинской литературы, которые, в отличие от придворно-панегирической поэзии, намечают новое направление, характеризующееся реализмом, глубокой человечностью и миризмом.

★

Время шло. По Триалети, нашу землю попирая,
Рать спустилась Татархана, все в пути уничтожая.
Властелин велел Яралу: «Защити пределы края,
Вместе с доблестным Закаром гор проходы запирая!»

В Кветли схвачен был Тевдоре — иерей немолодой.
Настоятеля пытали: «Укажи нам путь прямой!»
Так достиг он Ерикали с чужеземною ордой.
Посмотрите, что он сделал, ближним жертвуя собой!

Крымчаки и настоятеля трудный путь одолевали,
«Укажи, — пришельцы молвят, — нам тропу на перевале!»
И священника седого двое за руки держали.
Он решил: «Спасу владыку, как бы мне ни угрожали!

Если укажу дорогу, если испытаю страх,
То нагрянет враг безмерен, как песок в морских волнах, —
Он победой насладится, словно яством на прах,
Мы же беды испытаем, будем брошены во прах».

Эртацминду с Квенадриси вражьи полчища прошли.
Проводник их вед сторонкой у границ чужой земли.
И пришельцы иерея лютой смерти обрекли,
Но пред тем, как обезглавить, полумертвого секли.

Царь, не чуя бед, в Цхирети проводил досуг тогда.
 Был я в свите Луарсаба, как и в прежние года.
 Глянул с кручи я и вижу — затопила все орда;
 Но решил, что силу Картали враг запомнит навсегда!

«Царь, — сказал я, — будь спокоен. Просьбы нет к тебе иной!
 Семь часов отмерь на дело, замышляемое мною.
 Пусть мне гибель угрожает, поклянись перед тобой.
 Что, ведя искусно войско, я победой кончу бой».

Семь часов прошло. К владыке я дружинников призвал,
 Чтоб на орды чужеземцев двинуть этот грозный шквал.
 Вместе с Заза Цицишвили, что врагов смятенных гнал,
 Я врубался в строй, из трупов громоздил за валом вал.

За Ниаби, возле рощи, что густой стеной стояла,
 С Заза мы держались смело, но людей имели мало.
 Вслед Закарию — Ярала рать уже подоспевала, —
 Час, — и вот уж кровь обоих пашню щедро обаграла!

Оба воина погибли. Смерть друзей подстерегла.
 Мы — за копья, чтоб вернее вражья сила полегла.
 Бьем сперва султан носящих, вышибая из седла, —
 Я дивлюсь, какие Заза в этот день творил дела!

У паши единым взмахом шею он перерубил
 И бурнус его зеленый алой кровью обагрил,
 Голову схватив зубами, на коня опять вскочил,
 Прочь отбросив чужеземцев, утоляя бранный пыл.

Подосел Дзали-Махмада семисотенный отряд,
 И сардар-союзник молвил: «Я разить пришельцев рад.
 Мы одетым в волчьих шкуры не дадим уйти назад, —
 Пусть мечи и копья наши чужеземцев поразят!»

Есть сказанье, что герои, переплывшие Евфрат,
 Неприятеля любого остановят и сразят.
 Хорошо, когда с удачей возвращаешься назад.
 Если враг за стол садится, влей ему в приправу яд!

К нам пробрался из Ниаби незнакомый пешеход,
 И для нас в чаду сраженья была находкой вестник тот.
 Я спросил: «Хотят сразиться иль сомненье их берет?»
 Молвил он: «Враги в раздумье, Страшно им идти вперед.

Вновь гадают по песчинкам, как гадали уж не раз,
 И хотят узнать по стрелам, что несет грядущий час?
 Звездочеты смотрят в небо, от людей уединясь.
 Враг возмездья ожидает и, видать, боится вас».

Стало ясно — басурманы богом брошены своим.
 Мы лазутчику сказали: «Знать, противник уязвим».
 Молвил он: «Их сила — в стрелах с наконечником стальным,
 Копий я у них не видел, не знакомы ружья им».

Вражий лагерь отовсюду окружили мы стрелками.
 Дымом скрыли все пищади, извергающие пламя.
 Кто бы мог бежать дорогой, перерезанною нами?!
 Мы пустили в дело копья, чтоб расправиться с врагами.

Вшестеро превосходивший оттеснили мы отряд,
 И, удачей окрыленный, каждый был победе рад.
 Поведя бойцов бесстрашных и не ведая преград,
 Я в орду врубился вражью и погнал ее назад.

Подоспел и царь. Он пикой повергал врагов во прах —
 Разъяренный сеял горе в неприятельских рядах.
 Словно львы грузины бились, закаленные в боях.
 Зря враги пощады ждали, распростерты, в слезах.

Бой гремит. Свинец сражает вместе с конным и коня,
 А иных копыта давят — им уже не видеть дня!
 Бьется свита, как пристало от врагов царя храня.
 Подоспевшая подмога поддержала тут меня.

Пусть опасность мне грозила, я рубился без пощады,
 Гнал разбитых басурманов, как рассеянное стадо;
 Для меня сражать сардаров было высшею отрадой.
 Пот стереть не успевал я в этом пекле жарче ада!

Три копыя, о повелитель, в этой битве я сломал.
 После палицей сражался, громоздя из мертвых вал.
 Булаву сломав, булатом я пришельцев поражал, —
 Кто же царских супостатов так еще уничтожал?!

Бьются доблестно грузины. Меч броню сечет со звоном.
 Гибнут люди Татархана, дали оглашая стоном.
 Пасть не страшно ратоборцам, пылом боя упоенным!
 Гул стоит — как будто громы катятся под небосклоном!

Каждый пикой защищался и удары наносил,
 Промажнувшись сардаров насмерть яростно разил.
 Булавой сраженный всадник падал с лошади без сил.
 Стрел впилось в меня двенадцать, но отвагу я хранил!

Да, тех стрел неотвратимых в панцырь мой впилось немало.
 Наконечником двуострым мне кольчугу разорвало.
 Сердца, жаждущего мести, вражья кровь не утоляла,
 Но не знал я, что в грядущем ждет меня еще опала!

Мы громили, отесняли, истребляли вражью рать.
 Что еще царю и Картли оставалось пожелать?!
 Столь блистательной победы и пером не описать, —
 Обезглавленных в сраженьи царь не мог и сосчитать!

Молвил он: «Мы сохранили нашей родины алтарь!
 Будет подвигом героев горд отныне государь.
 Головы пашей сраженных шаху отошлем как встарь.
 Вас же, как сынов и братьев, будет чтить отныне царь!»

Время шло. Мне захотелось пригласить к себе царя.
 Он пожаловал в мой замок, мне внимание дая,
 Щедр и сердцем добр, со взором светочным, как заря, —
 Но познал я злоключенья и роптал, судьбу коря.

Пир устроил я владыке, на услады не скупясь,
 И моя сестра-подросток находилась среди нас.
 Царь следил за несравненной, отвести не в силах глаз,
 И нежданно-неожиданно надо мной беда стряслась.

Даже выпив, за трапезой строгий чин у нас блюдут
 И пьянющие гости сами пить перестают.
 Молвил царь: «Пускай мне дева поднесет с вином сосуд!»
 Что же, послужить владыке — издавна почетный труд!

Но владыкой овладела оскорбительная страсть.
 Нашей матери пришлось свой удел тяжелый клясть.
 Царь велел ее утешить: «Царь не смеет низко пасть!»
 Но едва ль познал кто-либо бед моих хотя бы часть...

Я к царю посла направил: «Ты позоришь честь мою!
Как сестры моей обиду от людей я утаю?
Обхождения иного при дворе я вправе ждать.
Ведь развеял я в сраженьи крымчаков поганых рать!»

Царь поклялся: «Полководца своего унижу ль честь?!
Я с его сестрой венчаюсь, — вот моя благая весть!
Бог судил сестре героя на картлийский трон воссесть!»
Я ответил: «Этим можешь только горе мне принести».

Самодержцу не пристало брать жену в семье простой!
Есть у нас вельмож немало, знати много родовой —
В жены дочь дадут охотно, чтобы двор украсить твой,
Но избавь, молю об этом, нас от доли роковой!..»

Чтоб приблизить час желанный, свадьбу вскоре справил он.
С той поры узнал я горечь, на терзанья обречен.
За грядущее тревожась, потерял покой и сон:
Как спасти сестру родную, кем властитель мой пленен?

Луарсаб в Цавкиси прибыл. Было то в исходе мая.
Царь писал мне: «На охоту приглашаю. Дичь стреляя,
С верным луком и колчаном обойдем простор Караи». —
Сам же гибель мне готовил, все дороги запирая!

Козней сеть плела и свита, и дворцовые круги.
Но, бывало, царь ответит приближенному: «Не лги!
У меня среди вассалов нету лучшего слуги, —
Кто, как он, сражаться будет, если явятся враги?»

Верьте, лжи или притворства вовсе нет в моих словах.
Спас меня он, сея ужас в неприятельских войсках.
Чем же с ним родство опасно? И откуда этот страх?
Согрешит? — Царицу брошу, а его повергну в прах!»

Молвят: «Царь, хранить согласие с моуравом — пользы нет!
Одного тебя оставим, перед небом дав обет.
В трудный час бывает нужен постороннего совет.
Лучше пусть один погибнет, но страну спасем от бед!»

И соперники решили до зари убить меня,
Но пришел Херхеулидзе, клятву верности храня, —
И готовивших мне гибель ненавидя и кланя,
Дал совет бежать немедля, сесть на быстрого коня.

От Дидгори до Гостиба нелегка была дорога.
Взяв с собой лишь самоцветы, драгоценностей немного,
Я семью укрыл надежно, истомленную тревогой...
Породнившись с властелином, неугоден стал я богу.

Я взглянул с горы — отряды мчались к замку моему.
Вскоре пламя показалось в за клубившемся дыму...
А добро мое — от предков, также от трудов моих —
И немалое богатство вихрь развеял в краткий миг.

Я собрал семью и чаюдь, лишь ночные падали тени.
Без вины принять погибель? Быть невольником сомнений?
Пусть людей моих минует горечь поздних сожалений!
Пусть погибну я с родными — ни к чему печаль и пеня!

Мы у озера лесного спали в сумраке ночном
И одни проснулись утром, потерявши отчий дом.
Мы могли беды избежать с небольшим своим добром.
Думал я: «На что решиться? И чего добьюсь копьём?»

ДАВИД-СТРОИТЕЛЬ

Исторический роман

КОНСТАНТИНЭ ГАМСАХУРДИА

Перевод с грузинского ЭЛИСБАРА АНАНИАШВИЛИ

★

ПЕРВАЯ КНИГА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

РЫЦАРЬ С ДВУМЯ МЕЧАМИ

В то лето царь Грузии Георгий II стоял со своею ратью под стенами Вежинской твердыни¹, а владетель Кахетии Ахсартан, запертый в крепости, бился жестоко с осаждающими его войсками.

По ночам выходили с факелами из крепости ахсартановы люди и, вооруженные мечами, нападали на царский лагерь.

Подконец кахетинские дворяне отрезали пути, по которым подвозилось продовольствие войскам грузинского царя. Голодающим воинам остались в пищу лишь собственные их кони.

Под вечер богородицына дня в Гегутский замок² прискакал гонец.

На другой же день Георгий Чкондидели разослал призывные грамоты в Мегрельскую, Абхазскую, Джавахетскую и Таойскую области. Был отправлен скорый ход и к эриставу клдекарскому Липариту IV, сыну Ивана Багуаш-Орбелиани.

Войска должны были собраться в условленный день.

Царевичу Давиду сообщили в Цагвляставский замок: пусть держит царевич наготове карталинскую рать, чтобы присоединиться к идущим в Вежини полкам грузинской державы.

От эристава Липарита пришел ответ: на помощь царскому войску выйдет его спасалар³ с пешей дружиной, а сам эристав

со своими азнаурами будет ждать проходящие полки у себя, в Клдекари¹.

Георгию Чкондидели — первому вазису грузинского царя показалось странным решение эристава. Несмотря на желтуху, которою страдал первый вазис, он принял руководство над полками западных и восточных грузин и повел в поход объединенное войско. Не отдыхая нигде, пересекли царские полки Сурамский хребет.

В поздний час, после полуночи, стражи с пылающими факелами ввели первого вазиса в большую палату Цагвляставского замка.

Монах-постельничий Анфимо спал с псалтырью в руках. Хранитель царского шатра Махара сидел в кресле, держа на шуйце кречета с залепленными воском глазами, и кричал в ухо хищной птице:

— А-а-а-а-а...

Вазис улынулся и сказал Шергила Липартиани, спасалару полков мегрельских и абхазских:

— Думается мне, что и всемирный потоп не смог бы оторвать этого чудака Махару от его соколов.

— Тс... — зашипел Махара на первого вазиса и, нахмурясь, махнул ему рукой, что должно было означать: «Не мешай!» Махара не двинулся с места, ибо во дворце грузинских царей он один имел право сидеть, когда входили царь, царица или вазисы.

Мандатурор² он бил по головам, епископов выпучивал, любая дверь была перед ним открыта, любые уши рады были его слушать, любые уста готовы были улыбаться его словам.

Шергила Липартиани удивленно рассматривал сидящего в кресле хранителя

¹ Вежини — крепость в Кахетии.

² Гегута — замок около Кутаиси.

³ Спасалар — полководец.

¹ Клдекари — крепость в 60 километрах к югу от Тбилиси.

² Мандатур — придворный чин.

Скоро я достиг с роднею долгожданного села.
Я увиделся с Нутзаром, чьи прославлены дела.
Молвил он: «Пусть мир неверен, тверд я духом, как скала.
Я хочу, чтоб сабля тестя послужить тебе могла!»

Выслушал Нутзар подробно, как мою позорят честь,
Как меня оклеветали, как готовили мне месть.
Дочь свою в унылые видя, не колеблясь, молвил тесть:
«Я пойду с тобой, готовый все напасти перенести!»

Я готов с тобой погибнуть — это мною решено!
Что родство вернее дружбы, это сказано давно.
Верен я тебе! Остаться или ехать — все равно.
А моей перечить воле даже небу не дано!»

Я в ответ: «В семье у тестя не могу обузой быть.
Ты, конечно, не позволишь, как слуга, тебе служить.
Мне земля своих не видеть и в своем доме не жить!
Клясть я буду горький жребий и судьбу свою корить.»

Я в Иран поеду к шаху, но когда вернусь назад?
Только так избегну смерти. Быть в изгнании не рад, —
Ни владыка, ни завистник пощадить не захотят.
Раньше я блистал в зените, ныне вижу свой закат!»

Я немедля снарядился для далекого пути.
Мне сказали: «У Аббаса будешь ты в большой чести.
Что за польза понапрасну здесь слезами изойти?!»
Пусть судьба меня терзает, все решил перенести.

И услышал я Нутзара: «Крепок в дружбе, словно сталь.
Буду я с тобой, пустившись в неизведанную даль.
Мы владыке и отчизне этим повредим едва ль.
Изучу повадки шаха, затаив в груди печаль!»

царского шатра. Никогда не бывал он до сих пор во дворце абхазских царей, и потому не видал старого Махара.

Обритый наголо череп старика был покрыт следами сабельных ран; не было видно шрама только на темени, прикрытом чубом, как у сельджуков, половцев и печенегов. Правое ухо Махара было отсечено, на безволосых щеках проступали пятна, как на коре тополя весенней порой. Был он одет в старый, времен Баграта куроपालата¹, желтый скараманг², затканый золотом; длинные разрезанные рукава были откинута за спину и заткнута за пояс. На шее висели кресты и пятерика золотых и серебряных нагрудных образков.

— Где изволит быть царица? — спросил Чкондидели.

— Молится, — сухо ответил Махара.

— Не почивает ли царевич?

— Царевича одевают в доспехи.

Волновалась мать царевича, венценосная царица Елена: на завтра царевич готовился выступить в поход, а супруги его, Русудан, не было в замке.

Молодая царица, в сопровождении большой свиты, отправилась с игуменьей в Кинцивскую женскую обитель. Еще прошлой ночью должна была она возвратиться, а вестника все еще не было.

На рассвете затрубили рога. Зазвучали медные кимвалы, заржали лошади. Собачий лай примешался к разноголосому гаму лагеря.

Георгий Чкондидели втихомолку наблюдал за царевичем: не волнуется ли перед походом? Но лицо царевича было спокойно и постуки его не выдавали волнения.

Царевич отказался от золоченого панцыря Баграта куроपालата, а надел простые, серые, багратовы же оплечья, бахтерец, наручи и поножи.

Оружничий подал ему меч, который не раз вздымали против сельджуков отец царевича — Георгий II, и дед — Баграт IV.

Благословив царевича, Чкондидели препоясал его дедовским мечом.

Без усталости суетился, хлопотал Махара. Говорил:

— Довелось дожить — дитя, что носил я на плечах, отправляется на войну.

Сова таисманы за пазуху юному рыцарю, шептал молитвы и заговоры. Сам же надел панцырь и привесил к поясу, по обыкновению, два меча, один — Григория

¹ Подразумевается царь Грузии Баграт IV, Багратион, дед Давида Строителя. Куропалат — византийский титул, который носили члены императорского дома Византии, а также ряд царей Грузии и Армении.

² Скараманг — одежда царедворца.

Бакуриани, великого domestика¹ Запада, другой — подарок императора византийского, Романа Диогена.

Царица Елена уговаривала Махара, удерживала, остерегала от простуды — время ли старому ходить в походы? — но был непреклонен Махара, отвечал: «Мое место — в шатре царевича». Бритую голову Махара прикрыл шашаком.

Царица обняла Давида, довела его до порога большой палаты, трижды обернула слева направо и, проливая слезы, благословила в поход.

К полкам Георгия Чкондидели присоединилось в Цагвластиви немногочисленное картлийское войско: три тысячи маргветских всадников, и при них пять катапульта да три тарана с изогнутыми наподобие турьего рога стальными хоботами, прозванные в войсках «баранами».

Впереди, возле мулов, нагруженных шатрами царевича и Чкондидели, ехал Махара в желтом скараманге, опоясанный двумя мечами.

★

В годы сельджукского засилья в выжженных селах. — на рассвете, когда начинают шевелиться косые тени. — не было слышно петушиного крика.

На тропах, застланных утренним туманом, показывался порой одинокий всадник и, завидев ощеренные копыта полков, пускал вскачь своего коня.

Люди разоренной страны, заслышав на тайном своем пути к пещерным убежищам конский топот, падали наземь и ползком добирались до леса.

С боевых башен, на скрещенных больших дорог, окликали дозорные и, узнав царское знамя, били в медные кимвалы, звонили в колокола.

Из пещер, высеченных в отвесных скалах, глядели беглые поселяне; проносился слух: «Едет царь», — из скал выходили мужчины, женщины с детьми на руках махали издали белыми головными платками.

★

Поднялось солнце, наполнились шумом леса, легкой рысью побежали олени, затрещали сухие ветви, в зарослях завозилась испуганные кабаны.

Беспокоился первый вазир: не было видно Гуарама, владельца Бечисцихе. Когда подъезжали к Мохиси, он собрался уже отправить к нему гонца, как вдруг на пригорке показалась увенчанная шлемом голова седобородого эристава.

¹ Доместик — верховный главнокомандующий византийской армии, иногда — адъютант императора.

Когда джаваетцы¹ приблизились к царскому знамени, эристав Гуарам легко соскочил с коня, бросил поводья оруженосцу, обнажив голову приложился ко кресту, сделанному из животворящего дерева, и подошел к руке первого вазира. Он собрался было поцеловать руку и царевичу, но Давид, опередив старого эристава, обнял его сам и расцеловал.

Умилезным взором глядел владетель Бечисцихе на молодого царевича, любящего его каштановыми кудрями, пролившимися из-под шелома на юношески-чистые щеки.

Багартов панцырь сверкал в лучах утреннего солнца, еще мужественнее, еще стройнее казался в нем не по летам рослый царевич.

После приветственных поцелуев и распросов о родне, эристав Гуарам вскочил без помощи оруженосца в седло и, обогнав свиту джаваетских азнауров, повел своего коня слева от мерина, на котором ехал первый вазир.

Чкондидели осведомился о таойской² дружине.

— Ниания Бакуриани с таойскими азнаурами пойдут ахалкалакской дорогой и встретят царские полки в Кледекари, — ответил эристав.

Услышав имя Ниании, друга детских лет, обрадовался царевич. Хотел расспросить подробнее о друге, да на мосту, когда переправлялись через поток, заупрямился арабский жеребец царевича Турок.

Всадник осаживал коня, а конь насто-раживал уши, косил на лошадей крестоносителя и царского знаменосца, горячился: кто посмел обогнать его?

Наконец, укротил царевич непокорного коня и повел его рядом с конем Чкондидели, по правую руку от него.

— Отчего не поехал Ниания вместе с вами через Тасискари? — почтительно спросил царевич эристава.

— Мне приказано было заехать в Цаг-влаистави, а Ниании — в Кледекарский замок.

При упоминании о Кледекари. нахмурился Давид.

Прислушался к беседе и понял; лишь до Тедзмийского ущелья должен был эристав Гуарам сопровождать Чкондидели, а дальше его путь к Вежини лежал по северной границе владений тбилисского мира³.

Одно только не было понятно Давиду: зачем стремился в Кледекари первый вазир? Если был ему неудобен путь через Тианети, то ведь быстрее было бы прове-

сти войска в Кахетию через Мухатгаерди, коджорской дорогой!

Хотел царевич спросить своего воспитателя о причине такого решения, но не осмелился; он знал: одному лишь царю Георгию доверял свои тайные намерения первый вазир, выступая в поход. И царевич предпочел промолчать, дожидаясь, чтобы Чкондидели сам рассеял его сомнения.

И еще хотелось царевичу откровенно сказать Чкондидели о своем нежелании заезжать в Кледекари, — пусть первый вазир отпустит его, вместе с эриставом Гуарамом, в Вежини. Но и тут сдержался Давид.

Гуарам сказал:

— Липарит и его азнауры, должно быть, уже выступили к вежинскому лагерю, на помощь царю Георгию.

Станным показалось это известие первому вазир, но все же не отменил он своего решения, ибо не раз был испытан им в войнах Липарит. Да и не могло случиться никакой беды, если пойти с войсками через триалетское¹ эриставство.

«А кто же встретит гостей в Кледекари? — подумал Давид. — Вероятно, главный мандатар Тиркаш».

И еще говорил эристав Гуарам, владетель Бечисцихе:

— Малик-шах, султан иранский, вторгся в Армению. Тревожно в эриставстве триалетском, Липарит укрыл своих людей за стенами замков. Супруга Липарита Ката и дочь его Дедисимеди заперлись в Кледекарском замке.

Было не по душе царевичу это известие.

Опять заупрямился жеребец царевича, пошел боком, перебирая ногами, и опять овладел конем седок. пришпорил его, догоняя ускакавших вперед всадников.

«Все обернулось не так, как чаяло сердце» — подумал царевич печально.

Исполнилось желание кутаисского, бедийского, урбнисского архиепископов и эриставов Мегрелии, Абхазии, Сванетии и Внутренней Картли. Не вяжи даже совету Георгия Чкондидели. Не спросясь Давида, царь Георгий привел наследнику жену на пять лет старше его — некрасивую, меченую оспой Русудан.

Так оборвалась юношеская любовь царевича. Как же ему теперь взглянуть в глаза Дедисимеди, бывшей своей невесте? Просить у Чкондидели разрешения не ехать с ним в Кледекари? Но тогда придется объясниться ему и причину.

Заволновались кони, и оборвалось течение мыслей царевича.

В Уплисцихе², завидев царевича и первого вазира, ударили в било.

¹ Д ж а в а е т ц ы — жители провинции Джаваети, нынешнего Ахалкалакского района.

² Т а о — южная провинция древней Грузии.

³ В те времена Тбилиси управлял сарадинский амир из рода Бану-Джаффар.

¹ Т р и а л е т и — провинция к югу от Тбилиси, простирающаяся до границ Армении.

² У п л и с ц и х е — ныне мертвый город, высеченный в скале, около Гора.

Зазвонили и в пещерной церкви Квахври. Загудели большие колокола, гулко эхо разнеслось по выжженным, покинутым деревням.

Оглушительный гам встревожил даже смиренного мерина, на котором сидел Чкондидели.

Взглянув на Махара, беседующего с Давидом, первый вазир улыбнулся. Опоясанный двумя мечами, трясся Махара на громадной кобыле. Панцырь и шлем омолодили старого соратника Баграта куропалата.

Усилился звон бряцающих кимвалов. На башенных венцах и крышах Уплисцихе развевались стяги. Приветствовала царское знамя собравшийся под крепостными стенами народ. Воины — защитники крепости, держа в руках деревянные кресты, возглашали восторженно:

— Многие лета нашему царевичу!

Чкондидели указал сложенной плетью на крепость Уплисцихе и молвил царевичу:

— Целый год осаждал эту крепость дед твой, благословенный Баграт куропалат; лишь после столь долгой осады покорил он твердыню и взял в плен Ивана, сына Липарита III, и Липарита, сына Ивана.

— Меняются времена, — заметил эристав Гуарам, — когда-то были Орбелиани заклятыми врагами Багратионов, а ныне сын Ивана, Липарит IV — в числе сторонников царя.

— Так уж оно ведется, эристав, — вставил свое слово Махара, — мир наш подобен петушину хвосту в ветреную погоду: куда ветер, туда и хвост.

Рассмеялись Давид и Гуарам, Чкондидели едва сдержал улыбку.

— В день сошествия святого духа посетил Бечисихский замок главный мандатур Липарита, Тиркаш. Говорил он, что собирается эристав триалетский с большою ратью в Вежини, на помощь царю.

— На помощь какому из царей, Георгию или Ахсартану? — спросил Махара. Эристав Гуарам ничего не ответил ему и продолжал:

— «Господин мой Липарит и я, прах под стопами царя царей Георгия, мы готовы положить головы за него», — так говорил Тиркаш. Когда же вино ододело главного мандатура, — добавил Гуарам, — то еще сказал Тиркаш: «Один лишь Уплисцихе остается занозою в сердце триалетского эристава; но все же мы верны клятве, что принесли в Экранта».

— Немалая же заноза застряла в глотке у Липарита! — сказал Махара.

— Разве в Экранта отец мой обещал Липариту Уплисцихе? — спросил Давид.

Помоача Чкондидели, — лишь топот лошадиных копыт раздавался на дороге, — а затем опустил и поднял густые ресницы, окинул взглядом сначала эристава Гуарама, затем царевича и сказал:

— Царь Георгий в Экранта пожаловал Липариту Самшвиале и Каджари, а Ахсартану, царю кахетинскому — Рустави. Махара вмещался опять:

— Поящий змею молоком удваивает яд ее жала.

Давид улыбнулся, подумал: «Любопытно, кого разумеет Махара, кахетинского царя или триалетского эристава?»

— Ключи от обеих крепостей были в наших руках, — сказал Георгий Чкондидели, — мы могли вздернуть на дыбу и Ивана и Липарита, но царь Георгий незадолго перед тем получил титул кесароса¹, греческий император просил нас покончить дело миром, Мааж-шах стоял у наших ворот, — мы сочли за благо отдать просимое.

— Видел я однажды славную казнь на дыбе, — сказал Махара. — Когда царь Баграт схватил живьем Липарита III и Ивана, правитель замка Орбелиани Анамор укрепился в Каджари и не хотел отдавать ключей от крепости. Тогда вздернули на дыбу отца вместе с сыном, и мгновенно твердыня сдалась царю.

— Анамор был порождением ехидны, а главный мандатур Тиркаш... — Тут Чкондидели прервал свою речь.

Воздев руки к небу и голоса, толпою бежали вниз по горе люди, выславшие из пещер, вырубленных в скалах; оборванные, с растрепанными волосами, окружили они всадников, бросились под копыта коней.

Чкондидели остановил лошадь: это были покинувшие свои селенья крестьяне; за мужчинами бежали женщины, неся детей на руках.

Длиннобородый белокурый человек шел впереди толпы; он был одет в черное платье и опоясан черным мечом, большой деревянный крест висел у него на шее. На правой щеке темнело родимое пятно, величиною с деньги.

Оказалось, что в прошлую субботу напали на Мухатвердский замок войска амира тбилисского. Влаомиться в крепость они не смогли и пошли вдоль берегов Курры, вверх по течению, хватая беглецов в тайных убежищах, уводя из пещер женщин вместе с их плачущими детьми.

Народ просил помощи у первого вазира. Плакали женщины, просили укрыть хотя бы детей от беды. Жаловались: и в тайниках не спасешься от басурманов!

Чкондидели обнадежил крестьян, обещал обо всем доложить царю Георгию.

— Приведем к покорности Кахетию, а там повернемся лицом и к тбилисскому амиру, — говорил первый вазир.

¹ Кесарос греч. — византийский титул, который носили лишь члены императорского дома и соправители императора.

— Вот, возмужал ваш царевич, молишься о нем, дети мои!

Человек с родимым пятном подошел к Давиду, хотел приложиться к стальной поноже, но вздыбился, скакнул в сторону жеребец царевича.

Давид соскочил с коня, обласкал приветливым словом потерявших надежду. Ободрились люди, человек с родимым пятном, осмелев, поцеловал руку царевича.

Чкондидели подробно расспросил беглецов. Узнал, что защитники Мухатгверди вышли из крепости, погнались за сельджуками, взяли в плен шестьдесят басурманов и семь азнауров — грузин.

Не по сердцу пришлось это известие Чкондидели; тотчас был отряжен гонец в Мухатгверди с приказом: всех семерых отправить в крепость, в Уплисхихе.

— Из какого ты рода, отец? — спросил Давид человека с родимым пятном.

— Хоргай, государь.

Странно было царевичу; впервые назвали его государем.

★

В триалетском эриставстве войска грузинской державы были встречены колокольным звоном. На церковных площадях встречали царевича хлебом-солью, звенели увешанные колокольчиками знамена, деревенские священники вели за собою толпы народа.

— Да продлится жизнь царевича! — возглашали стар и млад.

Пятьсот рыцарей, одетых в доспехи, ожидали Давида около Кледекарского замка — азнауры из верхнего и нижнего ущелий, владеющие и не владеющие замками.

Но тщетно Чкондидели искал взглядом среди закованных в броню рыцарей Липарита и сына его Рати.

И все же не пожалел он, что держал с полками путь через Триалети.

Столь напряженны были в ту пору отношения между царем Георгием и Липаритом Орбелиани, что без войска, даже со свитой, опасно было бы отправиться в триалетское эриставство.

А теперь выпал случай увидеть самому, как примет эристав расправу грузинского царя над Ахсарганом кахетинским.

Приблизившись к царевичу и его свите, спешили триалетские азнауры и пали ниц, воздавая почесть Давиду.

Ниания Бакуриани также сошел с коня: радостно обнял царевич друга детских лет. По очереди подходили таойские азнауры, целовали колена Давиду и Чкондидели и шеями присоединялись к их свите.

По левую руку Чкондидели шел дворецкий Липарита, по правую руку — главный мандатур. Тиркаш вал под уздцы

свою лошадь и говорил вазиру почти тельно:

— Занедужил великий эристав Липарит, болят у него почки, поэтому не мог он отправиться к Вежини и даже выехать навстречу вам, ваша светлость! Мне, праху ног ваших, приказал он сопроводить гостей до Кледекарского замка.

Чкондидели молчал. нахмурился и, часто моргая черными ресницами, глядел грозно в сторону крепости Кледекари.

Вспомнил, как разбилось о стены этой твердыни греческое войско в былые дни, когда император Константин VIII послал на нее паракойменона¹ Николая с большою ратью.

Вазир прищипорил лошадь, чтобы лопнул от бега «детеныш ехидны» Тиркаш.

— Войска тбилисского амира напали на крепость Мухатгверди, а потом пытались подступить и к Гаманской твердыне, — рассказывал запыхавшийся Тиркаш, — великого эристава застала эта весть на одре болезни, но я, прах под стопами вашей светлости, тотчас отправил ратных людей на помощь. Наше войско обратило сельджуков вспять, ваша светлость.

Давид и Ниания намеренно отстали от первого вазира. Липаритовы азнауры, спешившись, следовали за Чкондидели на почтительном расстоянии.

Встреча с Нианией заставила царевича позабыть об усталости.

— Что нового ты выведал в Кледекари? — вполголоса спросил друга Давид.

— Не думаю, чтобы Липарит собирался итти к Вежини, — отвечал Бакуриани, — а если и соберется, то не для помощи царю.

Вчера беседовал я в манглицкой церкви наедине с Зосимом, управителем замка Орбелиани. Доверенные люди Баркиарока — сына Малик-шаха — то и дело ездят в Кледекари; какие-то темные сети плетет эристав. А четыре недели тому назад прибыл заполночь к Липариту наследник кахетинско-эретского трона Квирике. Встречали его Липарит и Тиркаш, а на рассвете Квирике уехал обратно, но Зосиму не удалось выведать, о чем у них шла беседа. «Знаю только, — сказал Зосим, — что вскоре придут к нам войска Малик-шаха; проговорилась однажды Ката, супруга Липарита: пусть, мол, готовятся все к великим событиям». Эристав укрывает в Кледекарском замке свое семейство. Монах Козман и сын Липарита — Рати куда-то исчезли. Отправился к царевичу Квирике — так полагает правило замка Зосим.

Безмолвный, погрузившийся в думу сидел царевич на коне и, нахмутив брови, смотрел на переломленные бурей сос-

¹ Паракойменон греч. — постельничий византийского императора. Упомянутый в тексте свух Николай был одновременно и домашним Востока.

новые стволы, что свисали по склонам ущелья.

Потом подъехал совсем близко к Бакуриани и спросил почти шопотом:

— А не знаешь ли ты, где теперь Дедисимеди?

— Здесь, — ответил Ниания, — в триалетском эриставстве. Лишь эти двое верны нам всею душой: Дедисимеди и Зосим. Азнауры, что приветствовали тебя, простерлись ниц, кланутся денно и ночью солнцем Липарита. Триалетцы уже не скрывают своих темных намерений: подстеречь царя Георгия и вонзить ему в спину клинок. Даже Кагу подговорил Тиркаш: — «Покончим, мол, с царевичем: каково-то будет царю Георгию, когда полюбный Махара останется единственным наследником престола?»

— Вспоминает ли меня Дедисимеди? — тихо спросил царевич.

— Ты знаешь, что всегда относилась ко мне с доверием дочь эристава, а теперь она избегает даже упоминать о тебе. Только вчера, возвращаясь от вечерни, она сказала мне: «Никто не посмеет в моем присутствии хулить царевича».

Послышались звуки било из Кладжарского замка.

Навстречу гостям вышли из крепости Ката, Дедисимеди, архиепископ манглиский Кирион, главный казнохранитель и мандатуры триалетского эристава.

Царевич взглядом искал Липарита, но не было видно эристава.

Насулился царевич, но предпочел промолчать.

Супруга эристава ввела царевича, Чкондидели, епископа Бедиа, Нианию Бакуриани, Шергила Липартиани и свитских азнауров в большую палату.

Перед камином, на ложе, усталом шкурами гепардов, лежал богатырь с медно-красной от хны бородою, обвязанный вокруг пояса зеленой кирманской шалью.

Когда гости вошли, он приподнялся на ложе, оперся локтем на подушки и холодно приложился к руке Чкондидели, а царевича обнял и расцеловал.

— Как быстро идет время, милостивый боже! Вот и царевича довелось мне увидеть идущим на войну.

— Царевич поступает по примеру славных своих предков, — сказал Чкондидели, — тринадцатилетним отроком искусился в воинском деле царь Георгий, а новеллссимуе всего Востока Баграт куропалат — четырнадцатилетним.

Первый вазир даже не взглянул в лицо Липариту и прикоснулся губами ко лбу его дочери.

В златокованные кресла усадили царевича, первого вазира, архиепископа Бедиа и Кириона.

Ниания Бакуриани, начальник гаюйского войска, и Шергил Липартиани, предво-

дитель рати мегрельской и абхазской, расположились на подушках. Свита осталась стоять.

Долго все молчали, затем Георгий Чкондидели поднялся, чтобы приготовиться к вечерней молитве. Дедисимеди подала ему золотой умывальный таз, сама же взяла в руки серебряный кувшин.

Тут вбежал в палату возбужденный Махара и обратился к царевичу:

— Сорвался с привязи твой жеребед, царевич! Конюхи бегают за ним с арканами.

— Успокойся, Махара, коня не замедлят поймать; ты скажи лучше, как твое здоровье? — спросил Липарит.

— Лучше, чем твое, эристав; хотя почки болят и у меня, но в поход я все же отправился, как видишь.

Липарит заметно омрачился: прошелся-таки насчет его больных почек, шут!

Чтобы смягчить впечатление, спросил:

— Зачем тебе два меча, Махара?

— Одним бы отсек я голову тебе, а другим — царю кахетинскому, Ахсартану.

— Слишком многого захотел, Махара. Доброму воину хватит и одного меча.

— Верному мало и двух, а изменнику не следует оставлять и одного!

Липарит принужденно рассмеялся, потом подозвал дворецкого, приказал ему увести старика и угостить.

Чкондидели, вслед за Дедисимеди, ушел на молитву. Царевич и Ниания почувствовали неловкость, воцарившуюся после грубых шуток Махары. Царевич бросил украдкой взгляд на лежавшего перед огнем красавца; выкрашенная хною огненная борода скрывала его истинный возраст. Белолицому, высоколобому эриставу к лицу был даматик дуетканного сукна, расшитый по вороту золотом.

Изумленно оглядывал княжескую палату Шергил Липартиани. Как во дворцах мусульманских востелинов, и здесь вдоль всех четырех стен палаты, шли двумя рядами, одна над другою, полки, уставленные посудой пленяющей око прелести: персидской фаянсовой, цвета лазури, византийскими золочеными тарелками и блюдами, журавлиногорлыми лекифами, золотыми и серебряными чеканными кувшинами, ферсийскими виночерпальными ковшами, а пониже висели шлемы, золотые и серебряные кольчуги, чеканные щиты, мечи и серебряные луки. По углам стояли медные полужвери-полуптицы — грифоны и тяжелые золотые канделябры.

Богаче гостиной палаты Гегутского дворца показалась эта гридница Шергила Липартиани.

Ниания был привычным гостем в замке Орбелиани; знал он, что любит похвалиться предками Липарит.

— Не из Византии ли этот золоченый панцырь, эристав? — спросил он наме-

ренно, чтобы рассеять неловкое молчание.

— Дед мой получил его в дар от императора Исаака Комнена. Когда Липарит Великий овладел Двином¹ после победы над сельджуками, кесарь немедленно возвел его в сан продрра² и прислал ему золотого соловья, голос которого вы скоро услышите.

Липартиани и абхазские азнауры приехали за шутку слова эристава: никогда не приходилось им слышать золотого соловья.

Взгляд Ниании обратился теперь к мечу с золотым эфесом.

— Меч этот подарен кесарем светлопаятному отцу моему Ивану в ту пору, когда был он правителем Гачиана и Аршамуника, в Армении.

Шергил Липартиани подошел к стене: там висел серебряный лук длиною в пять локтей, с укрепленной на тетиве огромной стрелой.

— Это — тот самый лук, который султан Тогрул-бек подарил деду моему Липариту III, когда отпускал его на свободу из плена. Десять тысяч драхманов предлагал султану император за освобождение Липарита. «Я не торговец рабами! — ответил султан. — Да и можно ли продать столь доблестного рыцаря?» И расцеловав деда моего, подарил ему вот этот лук.

В разговоре Липарит помогал себе жестами.

На большом пальце его руки заметил Шергил Липартиани перстень червонного золота с львиной головой, какие носили некогда Багуаш-Орбелиани, предводительствуя царскими войсками.

Ниании было прекрасно известно, что серебряный лук не был подарком Тогрулбека. Он сделал знак царевичу: «замечай!» — и смолк.

Липарит приказал подавать кушанья. Заботу о яствах взял на себя главный мандатур. Перед царевичем поставили золотой поднос.

Кирион манглисский благословил трапезу, монахи спели вечерний псалом.

Подали джейраньи шашлыки, зажаренных целиком фазанов, гурачей, вареного лосося и сметки.

Почетных гостей всегда потчевали эти яствами, подавая их на золотых и серебряных подносах и блюдах, подаренных византийским кесарем, султаном Малик-

¹ Д в и н — древняя столица Армении, ныне в развалинах.

² П р о д р — высокий византийский титул. Его имели Липарит III Орбелиани и философ Михаила Псела.

шахом или властителем сельджуков Тогрул-беком.

И царевичу вспомнилась «казна великая, украшение царского стола — серебряные и золотые чаши и чары багратионовы и ковши добрые» — что похитили сельджуки из Квелисцихе.

Много раз бывал Ниания Бакуриани на пирах и выходах во дворцах византийских кесарей, но посуда, какую он увидел на столе Орбелиани, могла поспорить даже с тою, что была в кесарском дворце.

Большие, в человеческий рост, канделябры зажгли по углам палаты, двое слуг со светильниками стояли над головою Чкондидели, трое — за спиной царевича.

Супруга эристава Ката передала Чкондидели овечью арису; немного откушал первый вазир; безмолвно сидел он за трапезой, похожий при свете свечей и светильников на святого угодника, истощенного долгим постом.

Не прикоснулся к яствам и Липарит.

Лулуфровым шарбетом поила его Ката.

— Постарели мы, господин мой первый вазир, миновали как видно наши времена... И для тебя приготовила снадобье моя дочь. От матери моей — блаженна ее память! — научилась врачеванию Дедисимеди. Уходит вместе с дочерью кормилицы своей Лелой в поля на целые дни, искать целебные цветы и травы. А занеужит кто-нибудь в замке — под рукою бесплатный врач.

Девушка встала, почувствовав на себе взоры гостей. Слегка заалели ее нежные щеки. Протянула вазиру приготовленное в маленьком горшочке питье и сказала:

— Это — сок атрафиля, господин мой первый вазир.

Когда закончился ужин и начался почестный пир, посреди палаты встал чашнагир¹, а чашники в ковках разносили гостям вино. Ниания Бакуриани не сводил с чашнагира глаз: смотрел, все ли вина пробует слуга эристава?

Подле сурового Чкондидели сидела Дедисимеди, тихая, словно горlinka. Иногда опускала она ресницы, а когда поднимала на что-нибудь взгляд, казались удивленными ее изумрудные глаза.

Укрывшись за стоявшим на столе византийским лекифом, на котором вычеканена была Диана, охотящаяся за оленем, царевич украдкой наблюдал за Дедисимеди.

Удивительно, что даже и следа обиды не было на лице девушки. На всех взирала она с одинаково учливой доброжелательностью.

Какими странными путями направи-

¹ Ч а ш н а г и р — дегустатор вина, стоящий у царского стола.

лась жизнь, и как стремителен был ее бег!

Когда-то простодушно верили они оба, что никакая земная сила не властна их разлучить, — но пришла черед, и встала между ними печаль вечернего часа.

Фиалковое шелковое сакко, украшенное жемчужными пуговицами, было надето на дочери эристава, золотой кушак опоясывал ее, золотые запястья блестели на руках.

Царевичу вспомнились дни, проведенные вместе с Нианией и Дедисимеди в замке Сажориа — давняя, счастливая весна, цветение персиковых деревьев в замковом дворе. А ныне между ними, словно крепостная стена, воздвиглась глухая, неодолимая преграда.

Вот так близко от него сидит дочь эристава, и на щеках ее оттенок персиковых цветов, — но как она стала далека!

Лишь в минуты беседы с Дедисимеди сбегали морщины с чела Чкондидели.

Когда возглашали здравицу дочери эристава, поднялся первый вазир с наполненной чашей в руке и, с непривычным для него красноречием, воздал хвалу ее христианским добродетелям: смиренности, кротости и любви к ближнему. Не забыл он восхвалять и ее красоту и назвал дочь эристава «любимым чадом своим».

— В наше время лучше иметь уродливую дочь, господин мой первый вазир, — сказал Липарит. — К иранскому шаху прибыл однажды в гости армянский царь. Был у шаха застольный шут, по имени Чортман, неразлучный с шахом в бою и на пирах. Во время пира занемог владетель Армении, стало худо ему за столом. Между тем, все больше вина подливал венценосцу бритоголовый шут. Чтобы отвязаться от шута, обещал ему в шутку царь Сеннахерим в супрути дочь свою, прекрасную Шушаник. Чортман подскочил к царю и завязал ему узел на поясе. Прошло несколько лет. Повелитель Ирана сделал шута военачальником. Во главе адарбаганского войска Чортман ворвался в Армению и напомнил царю об узле. Конечно, отказал нечестивцу повелитель Армении. Больше тысячи селений было сожжено в Армении. К замкам и монастырям приставляли лестницы и по ним взбирались на стены. Более пятидесяти крепостей разрушили басурманы и столько же храмов.

Рассказ эристава опечалил гостей.

Тогда крикнул Липарит завести золотого соловья. Механический свист золотой птички напомнил царевичу дни, когда гостил он в Липаритис-Убани вместе с царем Георгием. Соловьиный свист пробуждал его по утрам; начало дня было радостно для него, потому что песнь со-

ловья предшествовала встрече с Дедисимеди.

Эристав Липарит поднял большой здравный кубок за царя Георгия. Воздал хвалу «прославленному кесарюсу, щедрейшему из всех царей грузинских и гостеприимнейшему из всех людей».

— Спасаларами Вагратионов были Багуаш-Орбелиани, — сказал эристав, — всегда верные престолу, они предводительствовали царскими войсками, несущими белое знамя на красном древе. За это царь Георгий и пожаловал Орбелиани — Самшвиладе, Каддекари и Лоцобани.

Тут вспомнилось Чкондидели, как отец Липарита — Иван коварством выманил у царских вельмож крепость Гаки и продал ее амиру ганджийскому Фадлону.

Глядя в глаза первому вазиру, обещал Липарит назавтра же отправить обоз с продовольствием для вежинских войск.

— А если не будут болеть у меня почки, выведу и сам за тобою вместе с азнаурами и конной дружиной.

Опять завели золотого соловья, и Липарит перешел к византийским новостям. Прибыл из Константинополя Козман, монах, рассказывал: — большие события происходят во владении кесарей. Бесчисленные орды печенегов ворвались в пределы Византии и дошли до Велиатов¹. Навстречу им выслал император великого доместика Запада Бакуриани и армянского дворянина Вараза с большою ратью. Разбили неверных греки, обратили их вспять.

Наконец, помянул эристав почтительным словом царицу Мариам, тетку царевича Давида.

— С большой свитой из духовенства собирается приехать в Гегути царица Мариам, супруга покойного кесаря Никифора Ботиниата, — сказал Липарит. — Говорят, сам никопольский архиепископ будет в числе сопровождающих царицу. Весьма расположена к нашему роду царица Мариам.

В это мгновение вошел в палату высокий, сутуловатый монах; черные как смоль волосы ниспадали ему на плечи, сквозь свисающие пряди взглянули на Давида неприятные глаза-щелки. Долговязый монах ползком добрался до царевича и Чкондидели и поцеловал им колени.

Затем поднялся, обратил смиренно к пирующим общий привет и, облобызав руку эристава, присел у него в ногах.

— Так сообщил нам Козман, монах, — продолжал Липарит, — Вараза убили печенеги. Язычники неисточислимы, как морской песок. И орды их — не войско, а кочующая вместе с женщинами и детьми —

¹ Велиатова — город в Византии, вблизи Балканских гор.

ДАВИД-СТРОИТЕЛЬ

толапа. Путей к отступлению для них нет: с тылу теснят их половцы — недруги христианства.

Скрестив на груди руки, сидел монах Козман, внимая собственному рассказу так, словно слышал его впервые, и украдкой наблюдал за царевичем.

Почтительно поднял за здоровье Липарита кубок Шергил Липартиани, пожелал долгой жизни эриставу.

Липариту хотелось вновь завести золотого соловья, но пропели в третий раз петухи. Чкондидели поднялся с места и, попросив хозяйина не гневаться, сказал царевичу и свите:

— Идущим на брань не пристало долго пированье.

Тогда встала с места и Дедисимеди, взяла светильник из рук слуги, повела гостя в спальные покои; царевичу освещали путь к опочивальне трое слуг, Ниани же и Шергилу Липартиани — каждому по двое.

Как только покинули горницу гости, Липарит повернулся лицом к стене и погрузился в раздумье. Собирал воедино, слышал все, что подметил и услышал за этот вечер. Были не по душе ему ледяная учтивость Чкондидели и упорное молчание царевича.

«Немалый выгрос дракон, — пробормотал он почти вслух, — как он изменился за этот год!»

Угадывал Липарит: рано созрел в этом юноше умудренный муж. Заранее взвешивал царевич каждое слово. Сколь рано познал он, почти еще отрок, что речь — серебро, а молчание — золото! Даже с Дедисимеди не обменялся ни единым словом после встречи и приветственных вопросов.

«Знают, как видно, в Гегутском дворце о чем-то, что должно пока оставаться тайной... Уж нет ли здесь, у меня в доме, предателя?» — думал Липарит. Пересчитал всех; подозрение пало на управителя замка Зосима.

Но что может знать глупый старик, кроме того, что делается в эриставстве триалетском среди бела дня?

Подумал еще о семи триалетских азнаурах, схваченных защитниками Мухатвердской крепости; вспомнил вчерашнее донесение лазутчика — не признались ни в чем триалетские азнауры.

Проклинал в душе Липарит Бану-Джаффар, амира тбилисского, слишком рано втянул он в игру эристава. Тщетно убеждал его Орбелиани повременить до прибытия войска Баркиарока, а потом уже обложить кольцом стоящие под стенами Вежини царские войска и поймать царя Георгия, словно гусенка.

А дальше уже не трудно будет овладеть и Цагвлиставским замком. Царевич Давид будет посажен на кол. Липарит, Бану-Джаффар и Ахсартан кахетинский по-

делают между собой вслед за правым и левое побережье Куры, — да исполнится написанное на гербе Багратионов: «Разделиша ризы моя себе, и об одежде моей меташа жребий».

В этот миг появился в дверях Махара.

— О, дьяволова добыча! — сказал Липарит громко и повернулся.

Взгляд его встретил глаза безбородого, — глаза цвета купороса. Липарит заметил: напоили Махару мандатуры. Слово петух с отрезанной головой, метался из угла в угол, шатаясь на ногах, старик в желтом скараманге и кричал:

— Найдите мне царевича, я хранитель его шатра, никто, кроме меня, не имеет права его раздевать!

Вбежал мандатур. Липарит велел ему принести кубок и уйти.

Обняв обеими руками золотой канделябр, стоял захмелевший старик, едва поднимая веки над глазами цвета купороса.

Липарит подманил его наполненной чашей и ласково заставил испить вино до дна. Потом принял чашу из рук Махары и, играя кубком, посулил еще вина старуку.

— Скажи мне, сделай милость, Махара, пришла ли ко двору молодая царица?

— Прекрасна, прекрасна царица наша — с самим солнцем спорит своею красотой — хотя лучше бы солнцу не видеть ее никогда.

— Для кого же лучше — для солнца или для царицы?

— Ни для кого из них, эристав, а скорее всего — для нас!

С минуту стоял Махара, щурия водянистые глаза, потом сказал:

— Прекрасна, прекрасна царица наша, каждый день перед зеркалом бреет она себе ланиты.

— Эге, так она с бородой? — захохотал Липарит.

— А что, если однажды она не успеет вовремя сбрить щетину с лица? — сказал Махара, принимая кубок из рук Липарита, и добавил: — Видел ли ты Гагика, армянского царя? Неотлично похожа на него царица Русудан.

— Зачем же взял царевич в жены такого уroda? — спросил Липарит с ехидством, словно в самом деле не знал о том, как женили Давида.

— Другую любил царевич, ты знаешь это и сам, эристав! — сказал Махара и подмигнул Липариту, — и я тоже другую жала увидеть царицей, но такова уж судьба царевичей: скорее советуются с ними об охолощении жеребцов на конюшне, нежели о выборе собственной невесты.

— А кого же ты метил в царицы, Махара? — едва успел спросить Липарит, как отворилась дверь и вошла в палату Деди-

симеди, ища молитвенник, забытый Чкондидели.

— Ее! — вскричал безбородый и направился к девушке, — ее, вот этого ангела! Смutilась Дедисимеди, не знала, как поступить.

С изменившимся, просветлевшим лицом приблизился к деве Махара.

— Расцвели ланиты твои, горлица, сладость истекает из уст твоих, как мед из сот... «Вертоград мой замкнутый, источник опечатанный!»

Пробормотал и пал к ее ногам, облобызал шитую жемчугом сакко дочери эристава.

Дедисимеди очнулась, схватила молитвенник Чкондидели и убежала прочь.

А Махара лежал ничком на земле, борюча какую-то греческую молитву.

Наконец, пришли за ним мандатуры ж с трудом увели хмельного.

★

Глубоко задумался эристав Липарит над столь невоздержанным восторгом Махара. Было прекрасно известно ему, кто такой безбородый — Багратион, сын, хотя и незаконный, Баграта IV куропалата. От простой женщины, осетинки, прижил его охочий до любовных пождений царь Баграт.

Сначала как сына наложницы лишили его подобающего царевичу наследства, но под конец, настояла на своем царица, мать Баграта куропалата, и, перед тем как отправиться в Иерусалим, заставила сына выделить юноше земли в Аргвети.

Часть своего владения Махара продал и деньги роздал неимущим, остальное пожаловал царь Баграт Ивану Багуаш-Орбелиани, чтобы примирить его с собой.

Баграт IV не хотел, чтобы у сына его Георгия оказался соперник, добывающийся престола, а потому он взял Махара с собой в Константинополь и оставил его там, во дворце Акрополе, что на берегу Босфора и называется ныне Старым Сералем.

В этом дворце содержали, обычно, взятых в заложники грузинских и армянских царевичей, сельджуцких амиров, находившихся в почетном плену, и болгарских вельмож.

Во времена кесаря Романа Диогена своим человеком был в царском дворце иверийский дворянин Махара. В боях с печенегами прославил он свое имя, был ранен неоднократно. Искусный наездник, стал он под конец тристадом — троеборцем кесарева ипподрома.

Приверженный к любовным похождениям, вступил он в связь с женою дром-логофета¹; ему грозила изгнание из Кон-

стантинополя, но заступилась императрица Евдокия за рыцаря — пэборника христианства. И тогда разнесся слух во дворце, будто сама супруга кесаря — любовница иверийского рыцаря.

Чтобы укротить злые языки, отправили Махара на войну против сельджуков. На войне попал он в руки Альф-Арслана в сражении под Манцикертом, где султан попрап стопою пленного кесаря Романа Диогена.

Выкуп в миллион византийских сестерший был уплачен за кесаря, а за Махара отдала двадцать тысяч драхм золота кесарева супруга.

Возвратясь из плена, Махара залечивал в Константинополе свои раны. Уже объявил его дейтерий² кандидатом на титул себаста³, уже назначили день возведения в сан — но в ночь, накануне этого дня, был застигнут Махара у царицы, перодетый в женское платье, и тогда оскоспили не в меру любвеобильного рыцаря.

Под конец занедужил горемыка, привязалась к нему падучая болезнь.

После того, как императрицу Евдокию постригли в монахини, была он назначен постельничьим в дворцовую гинекею³.

Сестра его и царя Георгия, царица Мариам, привезла Махара в Грузию. Обиженный судьбою, остался Махара во дворце абхазских царей сокольничьим и хранителем шатра.

Многие любили Махара за неподкупную прямоту и сердечность, но большинство ненавидело безбородого, ибо смелость его колебалась между отвагой и безумием. И все же пользовался он во дворце царя Георгия большими правами, нежели любой другой единокровный родственник Багратионов.

Поэтому заметил его настроение Липарит и заключил:

«Не потерял еще царевич Давид надежды называть когда-нибудь Дедисимеди своею».

Ныне казалось это Липариту особенно желанным, ибо с недобрými вестями вернулись из Исфагани его послы.

В триалетском эриставстве знали уже, что подсылаа послов Липариту и Кате старший сын Малик-шаха Баркиарок (первенец султана от жены его Зубайд-Хатуи), просил отдать за него Дедисимеди.

Роптал правитель замка Зосим, недозвольны были архиепископ манглисский и некоторые из триалетских азнауров, но не прислушивался к ним Липарит. И оправдывался перед самим собой: пусть сын султана — последователь ислама, разве

¹ Дейтерий — сановник, ведавший раздачами титулов.

² Себаст — высокий придворный чин.

³ Гинекея — женская половина дворца византийских императоров, покои императрицы.

¹ Логофет дрома — то же, что современный министр почты.

кеду Баркиарока — Альф-Арслану не отдал в жены свою племянницу всехристианнейший царь Баграт куропапат?

Великие возможности сулило триалетскому эриставу родство с династией Малик-шаха; одною рукой прихватил бы тогда Липарит к своим владениям часть армянского царства, другую наложил бы на всю восточную часть грузинской державы.

Но теперь вставали совсем иные преграды перед намерениями Липарита.

Уже на пороге старости привел себе Малик-шах жену половецкого племени, Тюркан-Хатун; и она родила ему сына, царевича Махмуда. Исфаганский двор раскололся на две враждебных партии.

И, хотя амиры держали сторону Баркиарока, боролась ожесточенно Тюркан-Хатун; дено и ночью молила она повелителя, чтобы тот, пока жив, назначил наследником малолетнего Махмуда. Никто не мог угадать, каков будет исход этой борьбы. Другими делами был увлечен сам Малик-шах: старшая дочь его, супруга халифа, родила царевича, и султан старался возвести на халифский престол внука своего, шестилетнего младенца.

Эти новые обстоятельства заставили поколебаться Липарита.

Конечно, был предпочтительнее сомнительного наследника исфаганского престола единственный царевич дома Багратионов. Тем более, что знал эристав, — недоволен правлением царя Георгия Совет старейшин, под тяжестью введенных царем поборов ропщет народ. Уже шептались во дворце и в замках эриставов, что возможно отречение царя Георгия, и тогда будет коронован царевич Давид.

Предчувствовал эристав: многое станет ясным после Вежини.

О, если бы стала Дедисимеди царицей грузинской!.. Пусть хотя бы женщина из дома Багуаш-Орбелиани достигнет венца, ради которого Липарит III, сын его Иван и сам Липарит IV вместе со всем своим родом борются вот уже больше столетия с Багратионами!..

Не так уж трудно было бы царевичу развестись с супругой своей Русудан; гораздо тверже Багратионов в православии были византийские императоры, но и они не останавливались перед разводом. Сама царица Мариам, сестра Георгия II, благочестивейшая из цариц, была женою двух византийских императоров и, по словам монаха Козмана, собирается за третьего, Алексея Комнена.

Липарит ждал: новый свет на все это дело должен будет пролиться, когда прибьет царица Мариам; она сумеет обуздать «упрямого и кругого» Георгия Чкондидели, «злейшего демона Гегутского двора», как называл его Липарит.

Теперь уже твердо решил эристав; в

самом деле, отправить в Вежини живо обещанный им Чкондидели обоз и отозвать немедленно сына своего Рати, отряженного в Кахети на помощь царю Ахсаргану вместе с триалетскими азнаурами. А если бы удалось войскам Чкондидели очистить отрезанные пути и вызвать Георгия II, то и сам Липарит присоединился бы к царю и царевичу, чтобы вместе с ними двинуться на кахетинские твердыни.

★ |

Не спал в ту ночь и царевич Давид. Он не жалеет теперь, что попал в Кледеари, хотя кроме известия о скромном прибытии царицы Мариам ничего не узнал приятного за весь этот вечер.

С детства слышал царевич немало рассказов о коварстве эристава Липарита и предков его, но многому в этих рассказах не давал веры рано умудренный юноша. Он считал раздутой лаяучиками и шпионами историю якобы издревле бушующей вражды между Багратионами и Багуаш-Орбелиани.

Еще в прошлом году очаровал царевича в Липаритис-Убани любезностью и хлебосольством триалетский эристав. По приказу гостеприимца, ловили охотники джейранов, три дня продолжалась охота, а пирам не было конца. Была устроена необычайная джигитовка; подконец, вскочив на подаренного Малик-шахом арабского жеребца, состязался с абхазскими азнаурами в искусстве наездника сам седеющий эристав.

Успокоенными вернулись тогда в Гегути царь и царевич: казалось, — все же удастся перекинуть мост через эту давнюю пропасть между Багратионами и Багуаш-Орбелиани.

Если в этот вечер и не узнал царевич ничего приятного, зато обогатился ценными наблюдениями.

Непривычно разговорчив был Липарит, а все же иной раз красноречивее слов было его молчание. Сокровища эристава также заставили царевича крепко раздуматься. Перед отходом ко сну рассказал ему Ниания: то, что видели они — лишь десятая часть богатств Липарита. В тайных хранилищах Манглиси видел правитель замка Зосим много золота и самоцветных камней. Мулы и верблюды, нагруженные драгоценными шелками и парчой, прибыли на прошлой неделе от Баркиарока.

Сколь бедными, рядом с замком Липарита, казались многократно ограбленные дворцы Гегути и Кутаиси или замок Цагвлистави.

В триалетских церквах при богослужении вновь величали Липарита III «проздром, магистром и властителем всего Востока».

Страна истекала кровью, безнаказанно опустошали грузинскую землю сельджуки. Теряла силы единоверная Византия. Иранский султан Малик-шах отнял у Грузии Аниси и Карисцихе¹. Византия утратила Малую Азию. Никеей и Дарилеумом владел брат Малик-шаха Солиман, и сам кесарь уже величал его «султаном всего Востока». Старую союзницу Грузии, Армению также затопила сельджукская волна.

Обремененный годами царь Георгий II пил вино без меры, охотился и хотя все еще сражался ожесточенно, но «сей отменный стрелок из лука и всадник» был уже не тот несгибаемый воин, что когда-то разгромил под Парцхиси сельджуков и обратил их в бегство.

Изнуренный войной с сельджукскими ордами, отправился он в Исфагань, к Малик-шаху, и помог ему покорить Антиохию, а под конец обязался платить дань; грузинский народ был измучен этими ежегодными поборами.

Ни царевичу, ни Чкондидели не нравилось то, что делал царь в последнее время, но упрямя и вспыльчивым стал Георгий, никто не осмеливался ему перечить.

И вежинский поход не одобряли в Гегутском дворце — поход, в который взял Георгий с собою сельджуков, и необдуманно начатой битвой поставил в опасное положение себя самого и всю свою рать.

Раздирали Грузию в смутах цари кахетинские и Багуаш-Орбелиани, торговали должностями развратные князья церкви. Темным представлялось царевичу будущее.

Доселе не знал он еще утех юности, а уже шептались в Гегути, будто еще при жизни царя Георгия собираются послать его на престол соправителем царя и препоясать державным мечом. У самого же царевича срывалось с уст:

«Господи! Еще возможность есть.. да мимо идет мене чаша сия!»

И еще одна тягота прибавилась в сердце царевича: какую странной оказалась встреча! Увидеть еще раз желанное лицо и не посметь обратиться ни единым словом к той, кто была когда-то его невестой! «Вертоград замкнутый, источник печатанный!»

Приподнялся царевич на ложе: не услышал ли кто-нибудь его слова?

Безмятежным сном спал Ниания. Раздались частые звуки рогов — трубила крепостная стража.

Рослое привидение шагнуло бесшумно в опочивальню.

Поцеловал отрока в лоб Георгий Чкондидели и шепнул ему на ухо:

— Вставай, царевич! Отец ждет твоей помощи!

На пуховой перине, покрытой шкурами

серн, нежился царевич в дремоте; хотелось ему еще помечтать в тиши, но в словах Чкондидели, произнесенных тише молитвы, услышал он бряцание стали. Во мгновение ока, без слов, вскочил с одра влюбленный воин.

★

Сдержал свое слово эристав Липарит: снарядил огромный обоз в Вежини. И все же хмурился первый вазир.

Нежелание Липарита лично отправиться в Вежини пугало расчеты Чкондидели, — выступи вместе с ним войско и дружина триалетского эристава, первый вазир повел бы царские полки из Кадекари Алгетским ущельем прямо к Вежини.

Весь край от восточных пределов триалетского эриставства до самой Куры был опустошен войною; голодные орды сельджуков рыскали невозбранно между Курой и Алгети; войско, идущее с обозом этой дорогой, вынуждено было бы оружием пролагать себе путь.

Поэтому счел разумным Чкондидели, выйдя из Манглиси, направиться по ущелью речки Вере мимо Ластисцихе и, перейдя Куру в Мухаттверди, пройти к Вежини через Марткони.

Царевича он хотел взять с собою.

Шергил Липартиани — храбрый воин: если будет нужда, он сумеет с боем провести до Рустави порученные ему полки.

Но заупрямился непривычно царевич, заметив, что бережет его от опасности Чкондидели. Был настойчив, сам пожелал вести Алгетским ущельем к Рустави полки. «Он становится мужем, — думал первый вазир, — вот, уже рвется к опасности».

Углубившись в такие мысли, вел свою лошадь шагом первый вазир. Ляпшь когда отъехали на порядочное расстояние от Кадекарского замка, повернулся он к царевичу и Ниании.

— Прежде чем обложить Рустави, спросите совета у Шергила Липартиани: много раз участвовал он в осаде крепостей. Был у меня в Уплисцихе один грек, — от него научился добрый воин Шергил искусству взламывать крепостные стены. Возьмите с собою тараны и катапульты. Если мы введем в Рустави наш гарнизон, не трудно будет покончить и с амиром тбилиским. Ахсартана задушим я и царь Георгий; Липарита также не минует казнь на колу. Подобно деду своему, всегда склонялся к кахетинцам триалетский эристав.

Первый вазир умолк и вновь погрузился в раздумье. Ясно было ему: взятие Рустави расторгло бы союз трех врагов Грузии: царя Кахетии, триалетского эристава и амира тбилисского.

С давних пор затаил в сердце своем это

¹ Карисцихе — Карс.

желание Георгии Чкондидели, но так неудачно начал царь осаду Вежини, что трудно теперь рассчитывать на счастливый исход.

Повернув лошадей, подъехал первый вазир к царевичу: хотел обратиться с ласковым словом, но не умел он высказывать открыто свои чувства, а потому только спросил своего воспитанника:

— Веришь ли ты в большие почки Липарита?

— Сдается мне, что без нужды пил эристав лулуфровые шарбеты, — ответил Давид.

— Серебряный лук прислан в дар Липариту Баркиароком, — заметил Ниания.

— Знайте, что если мы дадим ему спустить тетиву, острые стрелы вонзятся в кашу груди! — сказал Чкондидели.

В последний раз оглянулся царевич на Кадкарский замок.

Теперь уже верил он твердо, что добьется желанного сына султана, Баркиарок. Царица Елена и Русудан надеялись на это, и Совет старейшин в Гегутском дворце был убежден: возьмет Баркиарок в супруги дочь эристава, и успокоится царевич, утратив надежду.

С болью в сердце покидал Давид леса и горы Кадкари. В последний раз показало ему небо свой лик: привелось ему увидеть избранницу своего сердца — а он не сумел даже связать и двух учтивых слов, хоть сказать тихонько — «прощай!».

Вспомнил племянницу деда своего Баграта куроपालата, что была женой Альф-Арслана; в сельджукском гареме оставила она свою юность и красоту, а к старости снова привела ее в Грузию горькая судьба и одела в монашескую рясу.

Та же доля уготована и Дедисимеди: — сначала — страдания серала, под конец — черные одежды скорби.

Волчий вой раздался где-то в ущелье; царевич осадил метнувшегося коня, догнал Чкондидели и его свиту.

Было рано; еще не скрылась на западе молодая луна, небо было цвета рыбьей чешуи.

2

НАСТАВЛЕНИЯ МУДРОГО И СОВЕТ БЕЗУМЦА

«... Лишь легкомысленный начинает битву без предательского совета...»

Кевкамен Катаклон.

Был испытан в боях Чкондидели, знал: не годится утомлять полки перед сражением, потому спокойно, с передышками вел он войска.

Шергил Липартиани выслал лазутчиков в сторону Рустави: разведать дороги

к крепости, сосчитать сельджукские толпы на берегах Куры и Алгети.

Втайне тревожился первый вазир. Хотелось ему быть свидетелем того, как впервые взмахнет царевич мечом, хотелось не спускать взгляда с новопосвященного.

Иначе решила судьба. Возле Манглиси должны были они расстаться. Чкондидели шел с главным войском мартконской дорогой к Вежини; путь царевича лежал через ущелье Алгети к Куре.

Первый вазир советовал провести ночь на правом берегу Куры, ниже Рустави, против брода Саирме, а на рассвете, переправившись через реку, приступить с востока к Руставской крепости.

— Боюсь, не выказал бы горячности в битве царевич, — говорил вазир Шергилу Липартиани, — всякий мудр до начала сраженья, а в битве подчас человек голубиной кротости разъярится, как гепард, и, наоборот, зрелище крови может утишить у иного и тигриную ярость.

Царевич и Ниания догнали беседующих. Было приятно Чкондидели их приближение. И теперь уже слышимо для всех троих продолжал он свою речь:

— Каждый, идущий на войну, должен запомнить: горячность — враг успеха. Чрезмерно пылкий военачальник падает духом после первой же проигранной битвы, а мудрый станет еще тверже, из одного неудачного сражения он почерпнет умения выигрывать целые войны. Мудрый воин вначале притихнет, как черепаха, стерпит неизбежные удары, — но придет его час, и взвывается он, подобно дракону.

Следуя за четырьмя беседовавшими рыцарями, хранил молчание обычно многоглаголивый Махара.

В глубине души он чувствовал себя оскорбленным: не ему, а Шергилу Липартиани поручил Чкондидели Давида.

Первый вазир повернулся к царевичу.

— В том самом году, когда сарацины сожгли Тбилиси, они разрушили одну из стен Руставского замка; помнится мне, то была южная стена. Приснопамятный царь Баграт куроपालат приказал отстроить ее из кирпича и тесаного камня, связав их известкой, замешанной на козьем волосе. Старайся приставить тараны к этой стене, другие придется долбить дольше. Самое важное — взять крепость без крови. Среди защитников Рустави есть и кахетинцы. Начальник крепости Али-Бахадур — ширванец. Боевые башни защищают сельджуки.

Потом, взглянув в лицо Ниании и Шергилу, добавил:

— Пытайтесь овладеть крепостью врасплох.

Махара повел своего коня бок о бок с царевичем, заговорил, понизив голос:

— Накануне битвы полководец может выслушать со вниманием любой совет. Но лишь у собственного сердца должен он спросить, в какую минуту обнажить свой меч. Первый залог победы — внезапный удар: перед лицом неожиданной опасности поколеблется и храбрейший. В ту пору, когда Кевкамен Катаклон был нашим domestиком, бились мы однажды с печенегами на берегах Дуная, в лесу. Сердце у печенегов заячье, и много их было, как зайцев, но, собравшись вместе, бились они с храбростью рыси, надеясь на свою многочисленность. Долго гонялись мы за ними по лесу. Не было у печенегов ни возов, ни выючных верблюдов с продовольствием. Наконец, окружили мы их в одной долине, отрезали дороги. Дозорные донесли мне, что печенеги, изголодавшись, питаются мясом пленников-христиан. Тысяча окруженных печенегов попала ко мне в плен; я приказал начальникам сотен обращаться с ними ласково, досыта накормить их, а троим намеренно позволил ускользнуть из лагеря. Беглецы рассказали своим, что греки обошлись с ними, как подобает милосердным христианам. Всего лишь один стадий отделил нас от стоянки печенегов. Я приказал воинам отсечь головы печенежским пленникам и положить каждому воину в мешок по голове. Лунною ночью подкрались мы к слящему лагерю печенегов. По моему приказу воины вздели на копья мертвые чубатые головы пленников и забросали ими с деревьев лагерь. Страх оладед печенегами, даже не притронулись они к своим копьям, так и сдались мне в плен всем лагерем.

Аульгнулся царевич, ответил Макаре:

— Легко скатить глыбу с горы, но тяжело поднять ее на вершину; чего проще слушать рассказ о подвигах другого, но как трудно применить самому его науку!

— Неразумный государь выслушает мудрый совет, а поступит по-своему и, погубивши дело, обвинит в неудаче вазира; мудрый, напротив, выслушает и разумного, и безумца, но поступит, как того требует время и обстоятельства.

— Это потому, мой добрый Махара, что не было еще нигде мудреца, не свершившего ни одной ошибки, как не было и глупца, хоть раз не изрекшего мудрой мысли.

Еще не достигли они Манглиси, как догнал их гонец.

Сообщал из Вежины царь:

«Освободил нам пути ериван Гуарам, но теперь ширванцы и горцы присоединились к Ахсартану. В Руставской крепости — наследник кахетинский Квирике. Пусть не медлит первый вазир».

Тогда приказал Чкондидели затянуть погуже подпруги коням; впереди войска пустил он гонца, приказав: при вступлении в кахетинскую землю не брать никакой добычи, кроме оружия.

Затрубили рога и сотники двинули войска Чкондидели ускоренным шагом.

Первый вазир расцеловал царевича и повторил:

— Помни, царевич, на правом берегу, против брода Саирме, ты заночуешь с войсками. и перед рассветом переправившись к Рустави. Остерегайтесь бесцельных стычек с шайками сельджуков по дороге, — добавил он, обращаясь к Ниании Бакуриани и Шергилу Липартиани.

3

«МУХАММЕД ДОЛГОВЯЗИ»

Неспеша подвигалась вперед рать царевича. На берегу Алгети, в лесу, провели ночь, лишь на следующее утро подошли к Куре.

Уже содиною осеребрилась в битвах голова Шергила Липартиани. Ученик Чкондидели, свято верил он каждому слову своего наставника.

Смутился Шергиа, узнав, что царевич не собирается немедленно переправляться через реку.

С отроческих лет не раз охотился Давид на побережьях Куры. Здесь каждый куст был ему ведом.

Вместе с Шергилом и Нианией, на конях, осмотрели они луг, раскинувшийся по опушке леса, против Рустави. У берега реки луг переходил в болото, с юга был окаймлен лесом.

Здесь приказал царевич сделать вырубку для лагеря. Велел поставить шатры на расстоянии полета стрелы один от другого, соорудить в лесу завалы, чтобы враг не мог подойти оттуда, а поле между болотом и лесом окопать рвами с востока и запада. И добавил: большую часть шатров разбить в лесу, лишь несколько пусть стоят на лугу — так, чтобы было видно их из Рустави.

Ниани и его дружине приказал он расположиться на востоке, Шергилу с его войском — на западе; посредине, вокруг шатра самого царевича, разбила лагерь карталинская рать.

Днем выводил он людей из лагеря, заставляя упражняться в стрельбе из лука, учил вскакивать без стремени в седло, подхватывать с земли на полном скаку серебряную монету, перепрыгивать на коне через колючие кустарники — вместо барьера, пользоваться рвами. Учил всадников пешему бою, чтоб умели они за-

ставить коня лечь на землю, а сами укрыться за его тушей.

Все это видели издалека защитники Рустави. По вечерам царевич отдыхал в шатре на ложе из волчьих шкур, читал псалмы при свете факела, доспехов же не снимал до сигнала первой стражи. Всю ночь доносился до его ушей визг шакалов, волчий вой, немолчное гоготанье диких гусей.

Иногда покидал царевич шатер, обходил часовых, проверял — бодрствуют ли стоящие на страже?

Он любил ночные прогулки по берегу реки — среди ночи, когда сон нисходит на людей и только жители леса не знают покоя — ведут и во мраке битву за жизнь; а месяц сияет в небе, словно лампада, и мигают очами звезды, будто это возлюбленная обещает возвращение любви, которую и по сей день не может постичь сердце.

По ночам засыла л лазутчиков в Рустави, а причину того, почему так медлил с переправой, держал в тайне и от Ниании и от Шергила.

Был изумлен и начальник Руставской крепости Али-Бахадур. Уже давно имел он сведения о том, что войско царевича двинулось из Триалети. Сначала думал Али-Бахадур, что царские полки переправятся немедля через Куру и обложат крепость. Потом решил: лишь для того, чтобы рыскал в долине Куры, вышли грузины в поход.

Ночью прибыл лазутчик из Рустави. В своем шатре, наедине, допросил его царевич.

На следующее утро он поднялся до света, взял с собою Шергила, Нианию и небольшую свиту и выехал верхом из лагеря. К востоку, вниз по течению Куры направились всадники. Когда приблизились к броду Саирме, царевич поднялся на пригорок и, указывая на лес по ту сторону реки, сказал Ниании и Шергилу:

— В этом лесу стоит отряд Абу-Мухаммеда Аттавиля, пять тысяч всадников на добрых конях; с ними и Квирике, наследник кахетинский, вместе с сыном Липарита Рати. Если бы мы стали переправляться у Саирме, войско Мухаммеда Аттавиля не выпустило бы нас на берег, — а если бы даже нам и удалось подойти к Рустави, в тылу у нас оказался бы враг.

★

Абу-Мухаммед Аттавиль, или Мухаммед Долговязый, как называли его грузины, был некогда начальником крепости Тбилиси. Но захотелось Мухаммеду стать амиром, и он попробовал подсунуть яд амиру тбилисскому, Бану-Джаффару.

Заговор был вовремя раскрыт, и Мухаммеда ожидала казнь на колу, но он

бежал из Шурисцихе¹, переодевшись пекарем, собрал дружину из сельджуков, грабивших по дорогам, и рыскал с этой дружиной по всей стране, вояя за всех, кто платил золотом. Помогал он и Липариту Орбелиани, и Вардану, сванскому эриставу, когда они подняли смуту в землях Георгия II и когда «Ниания Квабулидзе похитил казну кутаисскую».

В течение трех лет опустошал Абу-Мухаммед Армению. Он пособлял в покорении ширванских крепостей, вступил в торг и с царем Георгием — предлагал сокрушить Вежинскую твердыню, но как только достигла Вежины весть о приближении эристава Гуарама, заупрямился царь; двадцать тысяч золотых солидов² запросил Мухаммед Долговязый за помощь. Подконец переманил его Квирике и привел к начальнику крепости Рустави — продажного к продажному.

И все же не унимался Шергил Липартиани: советовал переправиться через реку и сразиться с Абу-Мухаммедом.

Молчал Ниания, безмолвен был и царевич.

На третий день снова прибыл к царевичу лазутчик.

— В Руставской крепости, — донес он, — держали долгий совет четверо: Квирике, начальник крепости Али-Бахадур, Мухаммед Аттавиль и сын Липарита Орбелиани Рати.

Но вестник не мог разведать, каково было решение этого совета. Вечером Абу-Мухаммед Аттавиль уехал из крепости. И еще добавил разведчик: голова Мухаммеда была обвита чалмою, зеленый плащ покрывал его плечи, черный кинжал висел у пояса; до рукояти кинжала спускалась длинная, красная борода Мухаммеда.

Отпустив лазутчика, царевич послал мандатура за Нианией и Шергиллом.

Махара сидел на земле, скрестив ноги перед дымящимся кальяном, тянул пьянящий дым, надувая щеки.

Теперь и Ниания Бакуриани советовал царевичу воспользоваться лунными ночами, переправиться не ища брода — благо взяли с собою надувные мехи — через реку пониже Рустави и, обойдя крепость издалека, напасть на Абу-Мухаммеда Аттавиля.

Но царевич хранил упорное молчание; не говорил он и того, до каких пор будет сидеть его войско в прибрежных болотах.

— Чрезмерно утомляет воинов тревожное ожидание, — сказал Ниания.

Не выдержал молчания царевича Шергил Липартиани и осмелился сказать ему в лицо:

¹ Шурисцихе — одна из башен тбилисской цитадели, сохранилась и поныне.

² Салид — византийская золотая монета.

— Не чтением же молитвенника выиграем сражение, царевич?

Была приятна царевичу откровенная прямота Шергила, подумал: «Смелое слово лучше низкой лести», хотел он ответить Шергилу Липартиани, но Ниания опередил его вопросом:

— В самом деле, долго ли нам еще ждать в этом болоте, царевич?

— Пока не придет час...

И опять не могли понять военачальники, какие замыслы таил в своем сердце царевич.

— Но знайте, все должны быть готовы подняться в любое мгновение. Следите за бдительностью лагерной стражи. Пусть начальники сотен проверяют почаще часовых.

— Я встаю по три раза в ночь, обхожу и осматриваю лагерь, расставляю стражей и рассылаю дозорных, наблюдаю за смелю часовых, — сказал Ниания.

— А я вообще не сплю по ночам, — сказал Шергил.

Царевич ничего не ответил, вышел из шатра и устремил на звезды свой взор.

Послышался звук шагов; омянувшись, царевич увидел возле себя Махару.

— Вглядись-ка вон в ту звезду, царевич, что на самом краю млечного пути, — уж не дурное ли это око? На этом же самом месте была звезда, которую видел в Константинополе двадцать три года тому назад. Докидой прозвали ее, она походила на висялицу и двигалась, подобно луне, с востока на запад. Звездочеты говорили, что появление ее предвещает великое сельджукское иго, — сказал Махара и сам вперил взор в далекое светило.

Прошла еще неделя, и убедился весь лагерь, что царевич вовсе и не собирается брать Руставскую крепость. Иные, из более нетерпеливых, полагали, что царевич, не будучи опытным военачальником, колеблется дать битву: вероятно, он ждет, чтобы сдалась Вежинская твердыня, и лишь тогда он обложит Рустави.

Однажды, вечерней порой, Ниания Бакуриани пожелал самостоятельно осмотреть берег реки и, взяв с собою сотню лазутчиков на крешконовых конях, поехал лугами к востоку, вниз по течению Куры.

В густых чащобах с треском ломали ветви дикие кабаны, по лугам мчались стада джейранов, многочисленнее овечьих отар. Но следа человеческой ноги не было видно нигде, лишь вдалеке, за Курой, отыскал взор Ниании небольшую толпу сельджуков, кочующих вместе с женщинами и детьми. Кочевники вскоре скрылись в лесу вместе со своими возами и скотом.

Вокруг раздавался оглушительный гомон болотных птиц, к нему примешивались мяуканье рысей и волчий вой.

Ниания был страстный охотник, искусный подражатель голосам зверей и птиц.

Когда для оленей наступала трубная пора, он уходил в леса и, закрывшись листвою, трубил оленьим голосом, подманивая ищущего подругу самца. Столь же похоже воспроизводил он львиный рык, мяуканье рыси, рев и ворчанье медведя.

И теперь, в этих нетронутых, диких местах, лесной гомон пробудил в нем страстное желание поохотиться, но тотчас же вспомнилось ему, что царевич строго-настрою запретил охоту в лагере, чтобы не отвлекались люди лесною забавой и не отходили далеко от шатров ни днем, ни ночью.

На обратном пути увидел Ниания, как из придорожной заросли выскочил огромный кабан и понесся вперед по конной тропе. Не выдержало тут сердце юноши и, прищиприв коня, понесся Ниания с поднятым копьем за убегающим зверем.

Почув, что всадник настигает его, кабан свернул с дороги направо. Ниания перегнулся в седле и вонзил копьё кабана под ухо: раненый зверь бросился в болото. Всадник не успел сдержать коня, и все трое очутились они в топкой трясице. Соскочив с лошади, Ниания вонзил в кабана клинок.

Подоспели воины, вытащили из трясины зверя и лошадь. Ниания был обмазан грязью с ног до головы.

К ночи началась у него лихорадка.

Убитого кабана бросили перед его шатром.

Накинув медвежью шкуру, Ниания бодрствовал, лежа в шатре.

Около полуночи вздумалось ему выйти проверить стражу, но сильная боль в коленях удержала его на месте. Он позвал оруженосца, приказал ему выйти с лучниками ко рвам, проверить, бодрствуют ли стражи, охраняющие лагерь?

Холодный ветер гулял по лугам, оруженосец поленился пойти к тем шатрам, что стояли в лесу, и взять оттуда ратных людей, он снял часовых от шатра Ниании и отправился с ними в дозор.

Луна уже высоко стояла в небе, когда таоские лучники различили скачущий по полю конный отряд. Молчаливые, как привидения, сидели на конях одетые в железо всадники, слышалось лошадиное фырканье и топот копыт, блестели в лунном свете панцири и шлемы.

В один миг стража у рвов была перебитая. Оруженосец метнул дрот в одного из всадников, но был пронзен копьём; нападающие перескочили через рвы и ворвались в лагерь.

Услышав лошадиный топот, подумал Ниания, что прибыли лазутчики из Рустави, хотел было их окликнуть, но воздержался. Всадники поровнялись с его шатром и заметили валявшегося на земле кабана.

— Свинья! — произнес один из них.

Тогда Ниания вскочил, схватил меч и завернулся в медвежью шкуру. В шатер просунулась обвитая чалмой голова сельджука. Медвежьим ревом встретил его Ниания, — так обычно ревет медведь, застигнутый охотниками в чаще.

Сельджук сказал:

— Ручного медведя держат в шатре грузины: людей тут нет!

Ниания взрезал мечом холщевую стенку, подождал позади шатра, пока нападающие вновь сядут на лошадей, а потом побежал в ту часть лагеря, которая стояла в лесу.

Затрубили в рога часовые, вскочили таойцы и схватились за копыя. У ослабленного лихорадкой Ниании подкашивались ноги, все же сел он в седло и приказал воинам преследовать врага.

Махара, присев на корточки, держал в руке зажженный факел, царевич читал стихи псалма:

«... Господи, неверные восстали на меня, и сомнища сильные искали гибели моей».

В этот миг послышался снаружи топот копыт, звон оружия и доспехов, крики стражей.

Царевич вскочил с ложа, надел шлем, схватил одной рукой меч, в другой так и остался псалтирь. В шатре появилось трое сельджуков. Длиннобородый великан, с черным кинжалом у пояса, шел впереди.

Махара узнал Мухаммеда Долговязого и швырнул ему в лицо горящий факел. Великан успел отклониться в сторону, замахнулся мечом на царевича, но, задержанный подпорным столбом шатра, клинок лишь рассыпал искры по шлему Давида.

Тогда взмахнул мечом царевич, и покатилась по земле обвитая чалмой голова. Двое остальных обратились в бегство. Их встретили снаружи люди Ниании, одного поразил мечом сам Бакуриани, другого пронзило чье-то копые.

Царевич не пожелал сесть на коня, подведенного к нему Нианией.

— Лучше биться пешими против конных, — сказал он, — чтобы легче было отличить врагов от друзей.

До шатров Шергила Липартиани сельджуки не успели добраться. Выстроенные в четыре шеренги, с копыями наперез, шли уже к месту стычки войска Шергила. Мегрелы и абхазцы разили безжалостно всадников дротами.

Все новые и новые воины выходили из лагеря на помощь грузинам. Многие были уже на конях.

Царевичу была понятна ошибка, допущенная Мухаммедом Долговязым: сельд-

жукам нужно было оставить лошадей за рвами.

Приказав конникам сойти с лошадей, царевич пошел впереди пеших, поражая дротом дюжих всадников-сельджуков.

Махара вздел на острие меча голову Мухаммеда Аттавиля, украшенную белой чалмой, взгромоздился на лошадь белого и кричал по-тюрки:

— Убили грузины Абу-Мухаммеда Аттавиля!

Узнав о смерти своего предводителя, дрогнули сельджуки, отступили к западу, ко рвам, и напоролись на копыя мегрелов и абхазцев.

Тогда попытались они укрыться в лесу, но были встречены воинами царевича; без устали разили копыя грузинских бойцов. И так как много не оставалось пути, кинулись сельджуки в тянувшееся вдоль берега болото.

Словно гладко утоптанное гумно, поблескивала при лунном свете стоячая вода.

Скоро увидели сельджуки, что их передние ряды проваливаются в трясину, лошади вязли в топкой грязи, всадники валялись через головы коней и тонули в болоте.

Тут могучими волнами с трех сторон пошли на них картлийские, таойские, мегрельские и абхазские полки. Теперь уже мечи засверкали в руках у воинов.

★

Наутро полное спокойствие царило в лагере.

Ниания Бакуриани был ранен. Лишь сотни три всадников из отряда Мухаммеда Долговязого сумели выбраться из болота и переправиться на другой берег реки. От них узнал о ночном сражении начальник Руставской крепости.

На другой день, по приказу Махары, высокий шест был воздвигнут перед шатром царевича, а на шесте красовалась голова Абу-Мухаммеда Аттавиля.

Когда смрад, шедший от разлагавшихся трупов сельджуков и их лошадей, стал непереносимым, царевич поднял полночной порою лагерь и переправился с войском через реку у брода Саирме.

Квирике и Рати бежали из крепости, но Али-Бахадур приказал запереть ворота.

К нему был послан бедийский архиепископ: царевич предлагал Али-Бахадuru сдать без боя.

— Пусть рассудит нас меч! — ответил Али-Бахадур.

Руставскую крепость с трех сторон окружали заросли колючего кустарника. Шергил Липартиани приказал его выжечь.

Шесть раз пытались войска царевича взять приступом крепость, но храбро бились ее защитники. Тогда решили перейти к длительной осаде. Двумя рядами рвов была опоясана крепость Рустави. Иания приказал навести мосты из бревен, перекачать по мостам тараны и катапульты.

Осадные машины подвели ко всем четырем стенам; без устали забрасывали они большими камнями крепостную ограду.

По ночам осажденные делали вылазки, поднимали крик, потом убегали обратно.

Наконец, вспомнил царевич совет Чкондидели.

Подкатили все тараны к южной стене и до тех пор долбили ограду, пока стена не растрескалась. В трещины нацелили катапульты. Сотня воинов, прикрывшись щитами, подползла к основанию стены и начала заступами подкапывать фундамент. А потом опять задолбили тараны, и обвалилась с грохотом южная стена.

И приказал царевич: никому не входить в Рустави, вернуться в шатры и ждать, подготовившись к любой неожиданности.

Растерялся начальник крепости Али-Бахадур, — непонятна была ему медлительность царевича.

Три дня стояло войско, не выходя из шатров. В эти дни выпал снег. Али-Бахадур выслал ключи от крепости.

Царевич помиловал кахетинцев, горцев и ширванцев, а наемных сельджуков приказал заковать в кандалы. Начальник крепости Али-Бахадур получил шестьдесят ударов кнутом.

Наступила зима; солнце, покинув созвездие Стрельца, приближалось уже к созвездию Козерога.

Рустави занесло снегом.

Царевич выделил гарнизон, который должен был остаться в крепости для ее защиты, сам же собрался уже вести войска к Вежини, — как вдруг гонец привез ему среди ночи письмо.

Извещал царевича Чкондидели:

«Как только запорошило Вежини снегом, захотелось царю Георгию развлечься кабаньей охотой, и, сняв осаду, отправился он вчера в Кутаиси охотиться на кабанов».

Царевича глубоко взволновало это известие. Впервые в жизни почувствовал он гнев на отца; поспешно снявши лагерь, пошел он самгорской дорогой и догнал у Квахврели Георгия Чкондидели.

4

ЦАГВЛИСТАВИ

«...Цагвлистави, ставка царей». *Из хроники Давида-Строителя.*

После вежинского похода ничем не заполнимая пропасть возникла между Да-

видом и его супругой. Охладел Давид и к отцу.

Достаточно было одной кадекарской встречи с Дедисимеди, — и стало ему тяжело даже видеть Русудан.

Не хотелось царевичу возвращаться в Имерети, где, после отступления от Вежини, безвыездно жил в Гегутском дворце царь Георгий. Лишь скороходы поддерживали связь между царским дворцом и замком Цагвлистави¹, где находился царевич.

Последнее время супруга царевича выказывала неподобающую ей по возрасту склонность к религии. Монахи и священники не выходили из дворца.

Собственно говоря, Цагвлистави и не был дворцом, а всего лишь «малую царской резиденцией» Баграт IV куропалат восстановил разрушенный бастион, руины которого сохранились поныне и именуются «галавани» — оградой. Он же провел к замку воду с холма Чорчана и соорудил бассейны во внутреннем дворе.

Внутри замковой ограды стояло несколько небольших каменных построек, в которых находились конюшни, пекарни, помещения для ратных людей.

Замок, возведенный на открытом луку, с трех сторон окружали холмы Чорчана, Ткоци и Брелосани, с четвертой стороны расстиалась широкая равнина карталинского нагорья.

С севера Цагвлистави огибало ущелье Галавнис-Хеви, изрезанное труднопроходимыми оврагами.

С трех других сторон Цагвлистави покрывали искусственные обрывистые подступы, защищенные волчьими ямами, кашканами и большими луками с настроченными стрелами. Каждый, кто не знал этих секретов, должен был либо свалиться в волчью яму, либо попасть в капкан, либо получить в себя стрелу.

В Цагвлиставском замке останавливались цари на пути из Картли в Имерети или обратно. Здесь жил и сам Баграт IV куропалат в ту пору, когда потерпел поражение от Липарита III Вагуаш-Орбелиани.

Две подорванные башни — Брелосани и Чорчана — отстроил заново Баграт IV и вторую из них сделал своим обитающим.

Эту же башню выбрал себе для жилья царевич Давид; здесь нашел он серебряный лук Баграта, его доспехи: — три панцыря и храссанский меч. Царицы Елена и Русудан помещались в палатах замка.

Покой и горницы Цагвлистави были уб-

¹ Ц а г в л и с т а в и — находится у Сурамского перевала в 40 км. от города Сурами.

раны проще, нежели хоромы любого вышгородного азнаура.

Монах-постельный Укруай проводил ночи с Давидом в башне Чорчана. Был он царевичу и факельщиком и чтецом, — здесь же в башне находилось книгохранилище: с книгами царевич никогда не расставался.

Из боевой крепости Цагвлиставский замок, после бракосочетания царевича и Русудан, превратился почти что в монашескую обитель.

Ни Баграт IV, ни Георгий II не были поклонниками черного духовенства. Не любил и царевич Давид того странного запаха кедей и трапезных, что исходило от монашеских ярс.

Сюда, в Цагвлистави, заходили монахи с Синайской горы, из Иерусалима, из Петриционийского и Афонского монастырей, идущие в Гегути или в Цхуми для сбора пожертвований. Когда нехватало места в палатах, монахи ночевали под навесами. Супруга царевича Русудан была заступницей и гостеприимницей всех этих странников в черных рясах. Не по нраву было это Давиду, но терпел он безропотно причуды своей супруги.

Безропотно страдала и Русудан.

Во время беременности она вся округлилась, уменьшилась ростом, даже руки и ноги как будто стали короче. Густые тени выступили на ее щеках, такие, какими обычно бывает подернут созревающий табачный лист.

Трепетала царица Елена, знала: в чреве этой маленькой женщины — будущий наследник престола, великая надежда дома Багратионов. Разрывала сердце доброй царицы Елены печаль ее сына Давида, но жалостью наполняла ее и горестная доля Русудан, ибо хотя мандатуры именовали Русудан царицею, была она менее счастлива, нежели жена простого конюха. Ни отца, ни матери не было в живых у Русудан, братья ее бежали из города Аниси и сражались в Киликии с сельджуками.

Непонятно изменился образ жизни царевича. До поездки в Кледкари предавался он конной потехе, присутствовал на войсковом учении, ездил на охоту.

От Цагвлистави до самой Авчалы¹ обезлюдела картаинская земля. Покинув жилища, народ укрылся в замках и тайниках и наполнил страну лесные звери.

Сопровожаемый воинами на крепкоконых конях выезжал царевич в леса — это тоже было упражнением в ратном деле, ибо не раз во время охоты приходилось вступать в сражение с бродячими шайками сельджуков.

А теперь оставил и охоту царевич Давид. Никого не пускал к себе, кроме Ма-

хары; целыми днями сидел запершись в своей башне, коротая за чтением долгие досуги.

Не взлюбила Махару царица Елена, подзревала, что это он ссорит молодых супругов.

Знала также: с самого начала был против этого брака Махара, даже обиду на царя затаил в сердце за то, что без его совета женили царевича.

Когда Давид вернулся из Кахети, приступила к нему царица-мать, убеждая поехать в Гегути, повидаться с отцом.

Но ничего не удалось ей добиться: всегда находилась у царевича причина отложить поездку, а по сути, и вовсе не собирался он ехать за Сурамский хребет.

Чкондидели был то в Абхазии, то в Сванетии, то в Мегрелии. Хотела писать царица первому вазису, быть может, сумел бы он сломить упрямство царевича. Но иногда теряла она и эту единственную надежду, ибо помнила, что из всех вазиров один Чкондидели стоял за то, чтобы породниться с домом Липарита.

Из Гегути также приходили дурные вести.

Надломила царя Георгия вежинская неудача. Стал вспыльчив государь, запил, ежедневно выезжал на охоту в Аджаметский лес¹.

Выдумывая все новые забавы, велел привезти во дворец множество медвежат и волчат и принялся дрессировать их для охоты.

Вытребовали из Исфгани туркменских борзых, детенышей серны из Абхазии; и ухаживает за ними сам, называя каждого тысячу ласковых имен. Государственные заботы возложил на Чкондидели, сам же только и делает, что придирается к мандатурам, и дошел до того, что, вопреки своему приветливому нраву, стал нелюбезен даже с гостями.

Печалью наполнилось сердце царицы-матери при виде расстройства, в которое пришли дворцовые дела. Жалость к стареющему супругу овладела ею. Хотела завлечь как-нибудь царевича в Гегути, потому что знала: питали друг к другу уважение отец и сын.

Догадывалась царица Елена: — не по душе царевичу везти в Гегути свою супругу, но если — иначе, то ведь весь мир узнает тогда о разладе между царевичем и Русудан!

По ночам доносились до слуха царицы-матери рыдания подавленной горем беременной Русудан, и тогда молилась она за всех троих, преклонив колени, проливая слезы перед иконами.

Странная выдалась, вообще, эта зима: до конца ноября цвели на склонах фиал-

¹ Авчала — пригород Тбилиси.

¹ Аджаметский лес — находился близ Кутаиси.

ки и вдруг неожиданно выпал глубокий снег. Лошади вязли в сугробах, и скороходам был не под силу Сурамский перевал.

Стаи ворон сорвались с холмов Чорчана и Бролосани и укрылись в амбразурах башен. Сплошным покровом, словно черною буркой, облепили птицы бастионы замка. Царица приказала лучникам истребить воронье. Сотнями уничтожали стрельцы каркающих птиц, но все новые и новые полчища прилетали к замку.

Гудели над Цагвлистави зимние ветры, волки выли по ночам на холме Чорчана. Ржали в конюшнях откормленные жеребцы. Утомленный бессонницей царевич мечтал услышать пение рога, трубящего зорю. А на рассвете, после бессонной ночи, поднимали гомон гуси, которыми кипели цагвлиставские озера, и сон опять бежал от очей царевича.

Елена сначала не знала о том, что царевич побывал в Кадекари, лишь позднее проговорился Махара о посещении Кадекарского замка. Тогда поняла царица: причина томления царевича — встреча с Дедисимеди.

И даже подозрение родилось в душе Елены: для чего понадобилось вести войска на Рустави через триалетское зрительство? Уж не с гайным ли умыслом завел в Кадекари свои полки первый вазир?

И о других причинах печали Давида догадывалась пронизительная мать: кахетинский поход был первым ратным делом царевича, а как дорого он обошелся: — нагноились в пути без ухода раны Ниинии Бакуриани, под Шергилом Липартиани убили коня и седок вывихнула ногу, Чкондидели схватил лихорадку, простудившись при переходе через Сурамский перевал. Сколько крови и труда стоила война — и все пошло прахом из-за неслыханного своеволия царя!

Почти каждую ночь видел дворцовая стража женщину с закутанным в покрывало лицом, неслышною поступью, словно привидение, поднимающуюся в башенные покои. Проскользнув в опочивальню царевича, женщина опускалась на колени перед иконой, а потом неслышно целовала спящего в лоб.

Не поднимая век, чувствовал царевич на щеках влагу материнских слез, хотел отозваться, но столько было утешения в слезах, пролитых в жаркой молитве, что, побеждая свое одиночество, черпал он силу в молчании.

5

КУДЖАИ

Ветры и воронье унесли с собой, причита, зиму. По утрам, перед рассветом, видели царские лучники оленей, прихо-

дивших на холмы Бролосани щипать мохлявые побеги. Зазеленели травкой пригорки, подернулись желтизной ивы, зашвытали в кустарниках красногрудки. У опушки леса на холме Чорчана, совсем близко от Цагвлиставского замка, выходили из чащи лесные курочки, поднимали немолчное кудактанье. У цагвлиставских конюшен собирались в теплые полдни ласки с уже покрасневшими спинками, подставляли солнцу белые грудки.

Хотелось размять тело, занемевшее в бездействии долгих зимних ночей, проведенных за чтением. Потянуло царевича на охоту.

Утром поднялся на башню Чорчана Махара, сообщил о приезде Ниинии Бакуриани с азнаурами.

Царевич первым делом осведомился о ранах Ниинии. Уже затянулась рубленая рана на бедре, лишь слегка припадал еще на одну ногу Бакуриани.

— Жажду войны, царевич, походов и битв. Увы, сколь напрасен оказался наш кахетинский поход! Ты знаешь, сын Дипарита, Рати, приходится мне родней. И все же от всего сердца желал бы я бросить под ноги Махаре головы Квирике и Рати — неплохо подошли бы они к козлотородой голове Мухаммеда Аттавиля!

Царевич улыбнулся.

— О войне мечтаешь, Нииния? Что ж, позволю!

В этот день, как только покончили с завтраком, выехали они на охоту с небольшою свитой, добрались до самой Куры и в сумерки вернулись с добычей.

Заметил Давид: застоялись за долгую зиму лошади.

Приказал главному управителю: на следующее утро призвать пахарей с тридцатью парами буйволов и быков.

Удивился старик: зачем царевичу пахари?

По опыту знал он: с приездом Ниинии всегда начинались развлечения: охота, рыбная ловля, состязания наездников. Радовались псары, доезжачие, кречетники, охотники, звероловы и рыболовы: всем хотелось развеселить тоскующего царевича.

Но и во сне задавал себе старый управитель все тот же вопрос, — зачем царевичу буйволы и быки?

Наутро поднялся царевич с Ниинией до света. Возле бролосанского холма приглядели полосу длиною в три стадия. Приказали поглубже вспахать полосу, не разбивая комьев, не трогая глыб.

Дивились во дворце затее царевича, шутили:

— Покорена уже крепость Вежини, пора перековать мечи на плуги!

Главный управитель доложил царице Елене:

— Это поле было отведено для конного

ученья приснопамятным Багратором куропалатом и повелителем нашим, царем Георгием. К чему пахать его без нужды, мало ли целины вокруг замка?

— Возьми себе за правило, Сумбат, — ласково, как всегда, ответила царица, — никогда не судить о деле по его началу.

— Боюсь, как бы не разгневался царь Георгий, лишь потому и осмелился я потревожить вас докладом, да не постигнет нас ваша немилость! — сказал, смутясь, управитель.

Когда поле было перепажано, Давид и Ниания велели привести лошадей. Вскочив в седла — Давид на Турка, Ниания на Пегу — пустили они своих скакунов по пашне. За ними понеслось вскачь пятьсот наездников. Многие из всадников попадали с лошадей. Давид подходил к неудачникам и учил их, как надо править лошастью, если скачешь по изрытой почве.

После ученья отпустили людей на отдых. Успешных сменили новые всадники.

И опять скакал на Турке царевич, теперь уж показывая, как надо метать копые и дрот, как вязать конного врага, накидывая на него аркан, как отклоняться в седле, чтобы спастись от удара мечом.

На другой день приказал царевич вызвать полсотни плотников.

— Зачем ему плотники, хотел бы я знать? — ворчал Сумбат; не нравились управителю затеи царевича.

Царевич вычертил перед плотниками башню, похожую на Чорчана, со столькими же бойницами и смотровыми оконцами.

Башню велено было поставить на колеса. И размеры башни обозначил царевич — высота ее должна была равняться высоте башни Чорчана. Когда окончили плотники башню, царевич посадил в нее лучников и копыеносцев, а других поместил в Чорчана и устроил между обоими отрядами примерное сражение.

Когда разгорелась битва, два десятка нападающих, прикрываясь щитами, подкатили деревянную башню вплотную к Чорчана. Из деревянной башни выскочили воины и, карабаясь друг другу на плечи, взяли приступом башню Чорчана.

Глядя на царевича, радовалась царица Елена.

— А какую же крепость вы собираетесь брать? — спросила юношей царица.

— К Тбилисской твердыне стремимся мы, государыня, — ответил с улыбкой Ниания.

— Багратор куропалат, да будет вечна его память, истощил свою силу под Тбилиси, дважды брал он твердыню, но не смог утвердить ее за собой... Помогите вам бог, дети мои, помогите вам бог!

— Я не успокоюсь, пока не назыву Тби-

лиси своим! И знайте, матушка, если бы даже тремя жизнями наградили вы меня, все три отдал бы я ради этой цели, — сказал царевич матери и добавил, как говаривал когда-то ребенком. — Мама, я хочу есть!

Но обед запаздывал: Лаклака — горничная Русудан, забыла приготовить белила и румяна для своей госпожи: подолагу сидела перед зеркалом Русудан.

Таойские азнауры украдкой поглядывали на набеленную и нарумяненную Русудан. Даже густой слой краски не мог скрыть темные пятна, оставшиеся от бритых волос возле бровей и на щеках.

Глядели азнауры на Русудан и жалели прекрасного царевича.

Едва пригубил чашу царевич, как ворвался в палату взволнованный Махара и крикнул:

— Куджай присмерти!

Царевич поспешно поднялся, за ним вскочили и гости.

— Кто такой Куджай? — спросил Моргневели, один из азнауров.

— Это лошадь покойного Баграта куропалата, — пояснила ему царица Елена.

Царевич, Ниания и азнаур Моргневели, покинув ужин, пошли в конюшню.

Двух коней держал царевич в одном стойле: Турка, своего жеребца, и дедовского Куджая, которого седлали ему только для охоты. Раза два ездил он на этом коне до самой Авчалы, недавно даже рану получив Куджай в стычках с бродячей шайкой сельджуков.

Тяжелая картина предстала взорам царевича. В стойле, на земляном полу лежала издыхающая лошадь. Земля вокруг нее была изрыта копытами. Лошадь то стонала по-человечьи, то издавала тонкое, жалобное ржание, билась, точно в оковах, раздувая ноздри. Поднималась на передние ноги, загребала копытами землю, и, не одолев тяжести своего тела, снова падала со ржанием, билась о землю головой. Трепетало в предсмертных судорогах огромное тело, на губах клубилась пена, жилы вздулись под кожей.

— Куджай! — ласково позвал царевич.

Лошадь узнала голос, подняла голову, взглянула расширенными глазами на своего господина — словно молила о помощи. И опять попыталась подняться, но подкосились задние ноги, и вот снова повалилась она наземь, колотилась головой, словно сетовала о дне своего рождения.

Моргневели вгляделся в конское тело, раздутое смертью, как мех; были исполосованы шрамами шея, живот, хребет и бока.

Безмолвно, с тяжелым сердцем глядел царевич, как ожесточенно боролся со смертью боевой конь его деда.

Не выдержали зрелища даже храбрые воины.

Поднявшись в замок, не пожелал царевич вернуться к столу. Не прикоснулись к мясу ни Ниания, ни азнаур Моркневели.

Царевич бродил по замку, но, куда бы ни ступала нога, всюду слышался ему голос умирающего Куджая; поднялся на башню Чорчана, но и сюда донеслось лошадиное ржание.

Был взволнован и старый Махара, хотя не раз видел он, как гибнут кони во время битвы.

— В битве у Манцикарта убили подо мной лошадь. Ногу из стремени не успеваю вытащить, как уже издох мой конь. Но такого страшного ржания я не слышал никогда! — говорила Махара.

— Сколько лет Куджаю? — спросила Моркневел.

— Не меньше тридцати!

— А давно ли он заболел?

— После вежинского похода обессилел Куджай. Конюхи привели его под уздцы домой. У вот уже третий день борется он со смертью, но сегодня заржал впервые.

Вечером снова пошли все в конюшню — проведать коня.

В стойле было уже темно.

Царевич заглянул внутрь и позвал:

— Куджай!

В ответ послышалось ржание.

Еще два шага ступил царевич и увидел: на полу лежал, вытянувшись во всю длину, мертвый конь, белая пена еще стекала с его губ на землю.

И снова послышалось ржание — но это ржал не Куджай, а Турок. Опечаленный вышел царевич из конюшни и приказал главному конюшему:

— Отныне называть моего жеребца не Турком, а Куджаем!

6

НАДЕЖДА ТРОИХ

Давид и Ниания отправились с воинами в горы Ломиси. Под вечер, когда на обратном пути они подходили к замку, у первой башни встретила царевича мать.

Расцеловала его и сказала:

— Радуйся, сын мой!

— А что случилось, матушка?

— Прибыл скороход из Гегути, — отвечала царица Елена и вручила царевичу свиток.

Не спеша пробежал его глазами Давид. Со дня на день ожидают в Хупте императрицу Мариам. Пусть приезжает скорее царевич вместе с семьей, — гласило послание, подписанное Георгием Чкондидеж.

Радовалась царица Елена, вспомнила последнюю зиму, те, уже миновавшие, печальные вечера, когда царевич и Русудан

словно приняв обет молчания, не находили друг для друга ни единого слова.

Давид возвратил матери свиток, сказал:

— А выдержит ли царица Русудан поездку верхом на лошади?

— Добраться до Гегути не так уж трудно. В ту пору, когда носила я тебя во чреве, отец твой воевал в Самшвилде с сельджуками. Однажды ночью прискакали в Ушлисцихе архиепископы урбинский и бедийский, разбудили меня, посадили на лошадей... Зима была, снег лежал по колено... Небольшой отряд охранял наш поезд... Мела пурга, закидывала нас снегом. Дорогу сторожили дозоры сельджуков... Отбиваясь от врагов, мы прокладывали себе путь, скакали во весь опор до самого Цагвлистави.

— Это только ты, матушка, была такая выносливая и терпеливая!

Но и тут нашло выход мудрое материнское сердце:

— Ну, что же, мы с Русудан сядем в карету, а ты со свитой поедешь верхом.

Замолчал царевич — были отрезаны все пути к отступлению.

В золоченой карете, подаренной императором Никифором Ботаниатом, разместились обе царицы, горничная Русудан — армянка Лаклака и урбинский архиепископ.

Царевич, Ниания и Махара, со свитой из карталинских и таойских азнауров, сопровождали их верхом.

От Чераткеви шла к перевалу Ломиса проселочная дорога. В селах цвели сливы. Сытые лошади легко брали подъемы. По зеленеющим склонам паслись белоснежные овечьи отары.

Когда в селах узнавали о приближении царского поезда, весь народ от мала до велика высыпал из домов и устила путь царевича цветами и ветками вербы.

Царица Елена поминутно развязывала свои кошельки и раздавала милостыню вдовам и сиротам.

Искусственные локоны украшали еще молодое, прекрасное лицо царицы Елены; женщины шептались: «Это она — супруга царевича», другие рассматривали Лаклаку, пышную, высокопрудую прислужницу Русудан, и принимали горничную за госпожу.

Старая женщина, которую щедро одарила царица Елена, отблагодарила со слезами на глазах царицу, потом поцеловала стопы Лаклаки, приговаривая:

— Да дарует господь долгую жизнь супруге царевича!

Кровь отлила от лица Русудан, готова была провалиться сквозь землю молодая царица.

Царевич слышал слова старухи, но притворившись, будто ничего не замечал, повернулся к Ниании, сказал ему:

— Благодарение господу, хоть в этом

крае довелось нам увидеть пахаря на борозде!

И в самом деле, до десятка воловьих запряжек виднелось в полях, с песнею шли за сохой пахаря.

Снова тронулась в путь карета, и горько вздохнула Русудан.

— Что с тобою, дочь моя? — спросила ее Елена.

— Воистину лучше бы мне не родиться на свет, государыня. Несчастливая мать моя умерла в родильных муках. Желала бы я, чтобы и мне даровал господь такую же судьбу! — шепнула свекрови Русудан.

— Не гневи бога, дочь моя; счастьем воздаст он тебе за страдания.

При воспоминании о матери, слезы навернулись на глаза Русудан; заплакала и царица Елена, закрыв лицо вуалью. Догадавшись, что заметил ее слезы урбнисский архиепископ, сказала царица, что глаза заболели от ветра, вздымаемого быстрой ездой.

С радостным чувством ожидали все трое — царица Елена, царевич и Русудан — встречи с императрицею Мариам.

С детства любил царевич свою божественно-прекрасную тетку. Ясно помнился ему легкий аромат мускуса, что струился от ее шитого золотом сакко, тарбей и лоори¹, украшенной драгоценными камнями!

Сам Давид был одет просто, и панцырь был на нем походный, так что крестьяне не узнавали его в толпе рыцарей. Одни принимали за царевича Нианию, другие — артануджийского азнаура Моркневели. В деревнях, на пути, спрашивали друг друга крестьяне:

— Который из рыцарей царевич Давид?

Взымленные кони неслись вперед по каменистым дорогам.

Понятно было царевичу, почему столь почтительно отзывался о царице Мариам эристав Липарит: это она десять лет тому назад в шутку назвала Дедисимеди «прекрасноокой нареченной царевича».

Но не одна лишь красота Дедисимеди обольщала царицу Мариам. Она видела: не было конца вражде между домами Багратионов и Багуаш-Орбелиани. Неоднократно вмешивались в эту вражду византийские кесари, но всегда старались использовать ее в собственных выгодах: держали сторону то царя, то эристава, но больше склонялись к Багуаш-Орбелиани. Баграт IV куропалат, хотя и воспитан был в Византии, но ожесточенно боролся против империи, стремясь утвердить за грузинским скипетром округ Басиани, вотчину Давида.

¹ Сакко, тарбей, лоори — название византийских женских платьев.

Не раз вмешивалась в эту незатихающую борьбу и царица Мариам, не раз примиряла она враждующих, но уезжала царица в Константинополь, и снова вспыхивала вражда. Под конец к такому решению пришла Мариам: то, чего не могли достичь императоры, удастся, быть может, достигнуть любви.

А потом зачастила Мариам в трилетское эриставство, брала с собою отрока-царевича, успокаивала Липарита и Катю, возила подарки в Липаритис-Убани, сулила эриставу титул себаста, поставив ему условие: породниться с Багратионами.

Кое-как удалось ей уговорить и брата своего, Георгия II, но тогда подняли головы высокородные азнауры Абхазии, Сванетии, Мегрелии, Джавахети и Тао-Кларджети. Воспротивились и старейшины, говорили царю: издревле были мы врагами Багуаш-Орбелиани, породниться с ними — все равно, что ввести предателя в крепость.

Иное тайно замыслили в сердце своем знатнейшие азнауры Квабулидзе, Варданисдзе, Кахаберисдзе и Абазаисдзе; ни один из них не считал свой род ниже рода Орбелиани, и у каждого из них была дочка на выданье.

А потом разразился в Византии дворцовый переворот, и когда царица Мариам поспешно отправилась в Константинополь, улучили время епископы и азнауры, заставили царя Георгия приехать в супруги царевичу Русудан, родственнику армянского царя.

Новые надежды родились в душе царевича на пути в Гегути. Пуще всего тревожил его вопрос о разводе, но велико было влияние Мариам на обоих католикосов, и архиепископы смотрели ей в руки. Немало золота послала она первосвященникам бедийскому, кутаисскому, урбнисскому и манглисскому на украшение храмов.

Иначе думали Елена и Русудан.

«Царица Мариам — женщина, полная добродетели, — думали они, — советы ее направят юного царевича по доброму пути.»

Только злополучный Махара не радовался встрече со своею сводной сестрой. Ненавистно было ему все, что напоминало «этот проклятый Константинополь» (так называл его старик), город, где оставил он свою мужественность и где контились счастливые дни его юности.

Рыцарем, ищущим приключений и удовольствий, приехал он в Константинополь, и та же царица Мариам отослала его обратно несчастным скопцом, потерпевшим столь бесчеловечное наказание за ту самую страсть, которая доставляла зачастую титулы себаста или ма-

гистра другим любовникам жен императоров, домашних и логофетов.

Притчею во языцех стала история последней любви Махары, и даже шутили в Гегутском дворце: будто и у матери нового императора, Анны Далассины, побывал в любовниках брат царя Георгия.

Странно было, что император Алексей Комнен и в самом деле походил на Махару; так же, как Махара, не мог Алексей произнести чисто букву «р», так же был он светлоглаз, невелик ростом, долгорук и с плоской спиной.

И добавляли злые языки: не отошла Махара на родину царица Мариам, Алексей Комнен и брат его Исаак выбросили бы скопца в море из окна дворца Букокoleon.

7

ГЕГУТИ

Нет, не именем Зевса клянусь я тебе, Агслай,
А страданьем отца моего...
Гомер.

Царица Елена ужаснулась. Волчата и медвежата, переваливаясь, разгуливали вверх и вниз по лестницам Гегутского дворца. Ковры, сидения, цыновки и шитые золотом подушки кресел были покрыты собачьей шерстью. В палатах пахло зверями и псиной.

Перед дверью царской опочивальни преградил царице дорогу начальник слуг:

— Никого не велел пускать к себе царь Георгий, государыня.

Нахмурих брови, взглянула царица на него, подумала: «Не сошел ли с ума старик?» — и сама открыла двери.

Лицом кверху, с распахнутым воротом лежал Георгий II на тигровой шкуре, издавая странное хрипение. Пот катился с меченного шрамами лба, лицо было страдальческое, больше стало морщинок вокруг глаз.

Свечи в золотом подсвечнике чадили у изголовья царского ложа. Озаренный мерцающим светом, Георгий скорее походил на покойника, нежели на спящего.

Неприятный запах сала и фитиля наполнял опочивальню. На полу валяясь выпавший из рук царя молитвенник; с подушки свешивалась изуродованная десница Георгия, три пальца от нее остались на поле битвы в Парцхиси, большой палец был пригнут к ладони и лишь указательный устремлялся в пространство, как бы указывая на что-то.

Засылав шаги, Георгий открыл глаза, моргнув два-три раза восковыми ресницами, пробормотал что-то недовольным голосом и повернулся лицом к стене.

Опечаленная отошла от его ложа царица Елена.

— Где же Чкондидели, Анфимоз? — спросила она постельничьего монаха.

Набываюе наводнение достигло этой весной окрестности Риона. Более шестидесяти сел затопила вода. Позавчера утром отправились туда Георгий Чкондидели с главным мандатуром. До сих пор нет от них вестей.

Едва успел монах окончить свой доклад, как разразилась неистовая гроза. Крушный град, величиной с голубиное яйцо, обрушился на дворцовый сад, где плодовые деревья только что оделись листвою. Загремел гром, молнии, словно клинки, рассекали собравшиеся над аджарскими горами ярусы туч.

Подняли гам собаки на псарне и звери в охотничьих загонах. Волчата сидели у замкнутых дверей, повизгивая столь жалобно, что сердце царевича содрогнулось от жалости.

Нияния улыбнулся, сказал царевичу:

— Однажды застигла меня гроза на вершине горы Гвиргвина. Я завыл, подманывая волков. Прибежало десятка два волчат, обступили меня с плачем, столь жалостным, что слезы навернулись мне на глаза. Странно причитают волки!

Сверкнуло в тучах и вновь загрохотал гром. Ручной медведь, уstraшенный молнией, взбился по лестнице. Перепугались столпившиеся в проходе мандатуры, расступились перед взъерошенным зверем. Медведь толкнулся в дверь царской опочивальни, открыл ее мордой и ворвался к спящему царю.

— Вот единственный эристав, который входит к царю без доклада, — рассмеялся Махара.

В этот миг доложили царевичу, что сотня всадников — сванов подъехала ко дворцу. Это пожаловал в гости сванский эристав Вешаг и его азнауры.

Царевич знал, что уже давно велись переговоры между Чкондидели и сванским эриставом. Отступнические помыслы Липарита убедили Чкондидели: нужно прочнее утвердить связи с азнаурами Западной Грузии, а потому через архиепископа кутаисского послал он Вешагу Врданиддзе приглашение посетить Гегути.

Вешаг ответил: пусть утвердит за ним царь такверское эриставство¹.

Узнав об этом, пришел в ярость царь Георгий, разгневался на архиепископа: как осмелился тот произнести перед ним столь дерзкие слова?

И догадывался Давид: видно, не дождав-

¹ Такверское эриставство — находилось в нагорной части Западной Грузии, к северу от Кутаиси.

пись согласия царя, решил на свой риск отправиться ко двору эристав Вешаг.

Вешаг Варданисдзе просил, чтоб его доупустили пред очи царя Георгия. Царевич приказал начальнику слуг ввести эристава со свитой в гостиную залу и разбудить царя.

Изменился в лице старик-придворный, оробел.

Давид заметил: были безмерно запуганы все приближенные царя. Нахмурившись, взглянула царевич на начальника слуг, и тот, боясь послушаться, направился в царскую опочивальню.

Лениво поднялся с ложа Георгий II, раскинул свои длинные руки, потянулся, протер глаза.

Узнав о приезде сванского эристава, сдвинул гневно мохнатые брови. Медведю обрадовался он больше, нежели гостям; поласкал зверя, сунул ему в пасть горсть изюма, почесал у него за ушами и велел встать на задние лапы.

Медведь вытянулся во весь рост и пошел, переваливаясь, за царем к дверям гостиной палаты. Георгий открыл двери и втолкнул медведя в залу. Сам же притаился за створкой, наблюдая за поведением гостей.

В просторной палате царя полумрак. Услышав шаги и решив, что то приближается царь, вскочил с места эристав Вешаг.

При виде незнакомого человека медведь заревел, ударил передними лапами эристава в грудь, до стального панциря.

Испуганный неожиданным нападением, Вешаг обнажил меч и ударил им плащмя ревушего зверя. Потом, разъяренный, выбежал из палаты. Гнев обуял и его азнауров. И, приказав немедленно седлать лошадей, не прощаясь, покинул дворец царя эристав Вешаг.

Напрасно удерживал гостей начальник слуг, умоляя их от имени царицы и царевича остаться, осылался на хмель, не выветрившийся у царя после вчерашнего пира, просил эристава не оскорбляться невинною шуткой.

Остался глух эристав к мольбам, и, не зная на дивень и град, пустили сванские азнауры вскачь своих лошадей.

Царевич огорчился. Отказался обедать: не надеялся на себя, как бы не вызвать гнев отца несдержанным словом.

Видел Давид: черная тоска овладела царем, и еще одну новость сообщил ему начальник слуг Феофан: — кутаисский архиепископ посетил на прошлой неделе царя, первый вазир присутствовал на приеме.

К востоку от Аджамети был большой дубовый лес, роущею святого Георгия называли его крестьяне. В этом лесу был убит во время царской охоты убежавший из Аджамети кабан.

Дерзко заявил царю архиепископ кутаисский: это — лес святого Георгия, не только охотиться в нем, но и ступить в него ногою — великий грех.

Государь вспыхнул, схватил хрустальную чашу, но удержал его Чкондидели, прикрыл собою побледневшего архиепископа.

Пока Феофан рассказывал царевичу об этом происшествии, вошел в палату главный судья и, воздав Давиду почет, доложил:

— По велению Чкондидели привезли из Уплисцихе семерых триалетских азнауров, тех, что были схвачены мухатвердцами прошлой осенью. Первый вазир изволил уехать, и я не знаю, что делать с пленниками — бросить ли их в темницу или переслать в Кутаиси?

Царевич обратился к Ниани за советом.

— Решай сам, — ответил Бакуриани. Неудобным считал царевич решать государственные дела в присутствии государя. Приказал доложить царю.

Затрепетал престарелый главный судья, заупрямился и начальник слуг, сказал:

— Государь приказал мне запретить двери опочивальни, сердился, что не дали ему выспаться утром. И постельничьему приказал не будить его ни в каком случае.

Оставался единственный путь: царевич велел позвать Махару. Все знали: когда не в духе государь, один Махара мог войти к нему без страха.

Глубокую нежность питали друг к другу царь Георгий и его сводный брат. Лишь на одного Махару никогда не гневался государь.

Чувствовал и Махара: во всем дворце только царь да царевич уважали в нем человеческое достоинство.

Махара был занят надзором за починкою рыболовных сетей. Забормотал угрюмо:

— Время ли итти к царю, когда чинятся сети? Завтра нужно вести царевича и Нианию на рыбную ловлю.

Тогда попросили его снова, от имени царевича Давида.

Как только вступил Махара в опочивальню, Георгий поднялся с ложа, расцеловал его, спросил, почему не показался ему на глаза когда приехал, почему не обедал с ним за одним столом?

— Рыболовы разодрали сети, и я следил за починкой, — отвечал Махара, — а еще я осматривал твоих охотничьих зверей и псарню.

Похвалил исаганских борзых, оцобрил серну, привезенную из Колхиды, сказал, что пора перевести их в сад, — уже начали слезиться у них глаза, — предложил обрезать уши собакам, выученным травить кабанов.

Обрадовался разговору о своих любимцах царь Георгий.

— Завтра едем на охоту. Ты, конечно, с нами? — спросил он брата.

— Сперва есть у меня к тебе небольшое дело, — ответил Махара и мигнул постельничьему. Оставшись наедине с царем, сказал: — Прибыли азнауры, которых ты велел привезти из Уплисцихе; главный судья не знает, как с ними быть, что ты намерен делать с этими азнаурами?

— Какие азнауры? — спросил царь Георгий, поднимая мохнатые брови.

— Те, что взяты в плен мухаттвердцами, — ответил Махара.

— Эх, Махара, надоели мне человеческие дела, ныне занят я только делами зверей. Поступайте с бездельниками азнаурами, как будет угодно царевичу и тебе.

Махара заметил, что обижен Георгий на царевича Давида.

— А хотите, ведите этих азнауров сюда, я дам им занятие: тут у нас в хлеву заперты два медвежонка; сколько ни трудились мы с ловчим, никак не могли научить их ходить на задних лапах. Может быть азнаурам удастся добиться толку. Намучился я с людьми, Махара, не мог научить их ходить по-человечьи, теперь хочу хоть зверям привить людские повадки.

Когда передал Махара царевичу эти слова, Давид помрачнел и только тихо сказал Ниани:

— Бедный отец!..

Царевич приказал главному судье бросить пленных азнауров в темницу и выводить поодиночке на допрос.

Но попрежнему упорно молчали узники. Били кнутом азнауров, дали по двадцать ударов каждому. По всему двору разносились их вопли. Попросили они, чтобы сняли с них оковы, обещали рассказать все без утайки. Когда расковали азнауров, они признались:

Все они — из триалетского эриставства, липаритовы ставленники. Сначала намерение их было подстеречь где-нибудь в лесу, в Триалети, царевича и Чкондидели, едущих к Липариту, в Кладарский замок. Но потом посоветовался Липарит с амиром тбилисским, план этот был признан неудачным, и эристав послал азнауров к амиру Бану-Джаффару; с полутора тысячько лучников должны были они спрятаться около крепости Каспи и убить царевича с первым вазиром из засады. Но к мухаттвердским войскам пристали крестьяне, вышедшие из тайников. Они поразили стрелами азнаурских коней и схватили семерых загворщиков вместе с шестьюдесятью сельджуками.

Тогда приказал царевич: спросить о

возрасте азнауров и дать каждому столько ударов кнутом, сколько ему лет.

И, наложив опять на всех семерых оковы, бросили азнауров в темницу до возвращения Чкондидели.

8

ВОСПОМИНАНИЯ В СУМЕРКАХ

К вечеру того дня кончилась непогода, снова улыбнулась нежнейшая природа Имеретии. На небе, с западной стороны, виднелось одно единственное облако, подобное огромной господней руке с протянутым указующим перстом.

На аджарских горах рука невидимого художника трепала и рассеивала кудели тумана; солнце вперило свой ласковый взор в приметные градом цветы и листья; в саду белели цветущие черешневые деревья...

У царевича, вышедшего без шапки, болела голова. Одурающий запах кориандра, яблоневых и черешневых цветов наполнял воздух. Набухшие почки лоз, наполнившиеся вокруг высоких кленов, улыбались, не решаясь показаться из своих тайников.

Царевич свернул вправо, пошел по тропинке, что вела к липам.

Не помнил он, чтобы когда-нибудь столько неприятных известий и происшествий сразу встретило его в Гегути. С какой радостью стремился он сюда, когда был ребенком! Накануне отъезда не мог сомкнуть глаз от волнения, потому что знал заранее: каждый человек во дворце постарается встретить его чем-нибудь приятным.

Начальник царской охоты берег для него пойманных оленьих детенышей, главный смотритель табунов растил для него жеребят, Махара со своими кречетниками и сокольничьими держал для него в клетках молодых голубей, совиных птенцов и орлят, рыболовы разводили в садках и прудах рыбу тысячи пород, — и все это ждало царевича. И отрок-царевич хорошо знал: в Гегути найдет он свои силки и западни, удочки и ловушки, сети и верши.

Благодаря Махаре, не взаперти, по обычаю царевичей, а на воле рос Давид. Георгий Чкондидели строго воспитывал царевича, но Махара всегда умел поставить на своем, — в рионских прибрежных лесах и зарослях, вместе с детьми простолоудинов, босоногий, шляпал по лужам отрок-царевич, вместе с ними удил рыбу, залезал рукою в рачьи норы, знал хорошо, где прячутся лисица и хорек, где гнездятся коршуны или вороны, ходил в поле бить палкой перелов.

И вот снова предстал глазам Давида

все тот же старый дворец, все те же придворные, слуги; на прежних местах стояли ореховые и черешневые деревья, вздымались все те же душлистые старые липы, густолиственные и узловатые. Цветла вокруг природа, приятно гудели пчелы. Все было, как встарь, только прежняя радость исчезла куда-то, потому что сам он был уже другим.

Здесь был круг, в котором играла волной нетленная радость его детства. Здесь, в этих местах, бегал он босиком по росистой траве, под этими ореховыми деревьями мечтал он, лежа навзничь на травке. Вон виднеются любимые его персиковые и инжирные деревья. Сладость их плодов еще осталась на его устах.

Вот здесь, в этой чаще, где резвятся теперь молодые олени царя Георгия, бегал он когда-то, а за ним спешил Махара с огромным посохом в руке:

— Туда не ходи — там шакал в кустах, берегись этой ямы — в ней живут уродцы, в той дубовой роще — каджи, а под той горой — дэвы-великаны. В Рионе живут водяные — урчуали, что заплывали сюда из Черного моря. Они сразу проглотят непослушного мальчишка, и что же тогда будет с бедною матушкой?

И верил мальчик всякому слову Махары, боялся волков, темноты и привидений. А теперь ничто больше не страшило царевича, вот только не может он одолеть томление, овладевшее им в Триалети.

Присел Давид под липой, на срубленный ствол гигантского красного дерева. Как будто совсем еще недавно сидел он здесь в последний раз, еще отроком. Здесь перед ним возносил Махара хвалу месяцам:

— Миракани¹ — воин, он ходит в пестрой кольчуге, носит на поясе рог и говорит...

Начнет Махара и замолчит, чтобы узнать, любознательно ли дитя.

— Что же говорит Миракани, дядя Махара?

— А я ведь вчера рассказал тебе или ты уже забыл?

— Скажи еще раз, скажи! — умоляет царевич.

— Говорит Миракани: «Я рыцарь, одетый в броню, я поверг зиму и освободил землю от ледяного панцыря и теперь трубю в рог, призывая лето».

— А Игрика? — спрашивает мальчик.

— Игрика — пастух, в руках у него свирель, он играет сладостные песни и пасет по пригоркам белых ягнят.

— А Вардобиса — месяц роз?

— Вардобиса — дева в уборе из цветов.

— Мариали?

— Мариали — косарь, Венец из колошей носит он на голове.

И радостно замирает царевич, потому что уже без просьбы продолжает Махара хвалу месяцам.

— Квелтобиса, месяц урожая — огородник с мешком пахучих дынь за спиной. Ахалциса, новогодний месяц — садовник с ношею персиков, груш и яблок. Ствалиса, месяц сбора винограда — виноградарь со связкою спелых гроздий на плече. Тирискоони — мельник; он ходит, стенаж, согнувшись под тяжестью кулей, наполненных мукою.

Говорит Махара и сгибается, словно это он несет мучные кули на спине.

— Тиридени?

— Тиридени — старик. Он льнет к огню.

— Апани — охотник, белый кречет сидит у него на шуйце, белые быстрые бегут впереди, травят быстрые белую лань. Сурцхуниси — конечно, пахарь; он идет за плугом, то поет песню, то покривает на быков.

— А теперь скажи мне, дядя, водится ли взаправду где-нибудь белая лань?

— Нет, только в сказке бывает она.

Когда спускалась ночь, они глядели оба в звездное небо, и рассказывал царевичу Махара, какие месяцы подчинены каким знакам зодиака: Овну, Деве, Скорпиону, Весам.

Радостно заржал на привязи Куджай, увидев своего господина; царевич вздрогнул, очнулся от дум, поглядел на коня ласково и повернул в плодовый сад.

Тихий ветерок веял с запада. Слово хлопья снега, реяли в воздухе лепестки черешни и сливы, цветочная метель убавляла идущего по аллеям царевича, осеребрила каштановые его кудри.

Женщины, работавшие на огороде, не могли удержать улыбки, говорили:

— Поседел наш царевич!

В Гегутском дворце Махара впервые выучил азбуке царевича и впервые показал ему герб Багратионов: — два льва, осененные короной, встали на задние лапы, а в передних держат христов хитон. Над головами львов скрещенные скипетр, меч, арфа и праща.

И рассказал изумленному отроку Махара: потомком семьдесят восьмого поколения приходится царевич псалмопевцу и пращнику царю Давиду.

Погруженный в мечты, идет царевич по тропам, тысячи раз искоженным в детстве. Сад обнесен высокой оградой, по ту сторону ограды — посеы, огороженные плетнем, а за ними — широкое

¹ В древней Грузии новый год считали с сентября.

¹ Миракани, Игрика и др. — древнегрузинские названия месяцев.

поле. Там и поныне стоит расщепленный молнией дуб. Под этим дубом сжигал царевич на коленях у Махара.

Всадники царя Георгия упражнялись в поле. Один отряд раскинул свой лагерь с восточной стороны, на опушке дубняка, другой — с запада, возле кленовой рощи.

Старик рассказывал отроку о том, как царь Баграт IV победил гянджийского амира Фадлона, как бежавший Фадлон был схвачен каким-то крестьянином, посажен на осла и привезен пленником к царю кахетинскому Ахсартану.

— Простофиля — этот крестьянин, — говорит царевич.

— Вот и я так думаю. Надо было привезти пленника к Баграту куропалату! Радуют юного царевича рассказы о походах Баграта.

Махара рассказывает о том, как осаждал Баграт Тбилиси: «Поставил катапульты и сражался, меча стрелы из лука», или как в осажденном Тбилиси литра ослиного мяса стоила пятьсот драхм.

Никогда не надоедали царевичу рассказы об осадах крепостей, штурмах башен, казнях на кресте и на колу, ослеплении изменников.

И видит он: двинулись от дубняка и от кленовой рощи всадники, сошлись в поле, подняли копьа и вот-вот готовы схватиться точь в точь, как когда-то полки Баграта куропалата с альф-арслановым войском в сражении при Ахалкалаки.

Затрепетал царевич, нахмурился, слезами налились глаза.

— Не бойся, сынок! — говорит ему старик.

Улыбается мальчик. Видит, хоть и метнули копьа всадники, но никто не убит и не ранен. И снова расходятся отряды: один возвращается к дубняку, другой спешит к кленовой роще.

Удивился отрок; своими глазами видел он, как поражали друг друга копьами всадники, а ведь никто не убит и не ранен, только двое свалились с коней, да и те проворно вскочили обратно в седла.

Ведомо ему, что всадники одеты в кольчуги, но знает он, что пробивает и кольчугу хорошо направленное копье.

Разве не случилось деду его Баграту или отцу Георгию рубить воина-сельджука вместе с броней и кольчугой? Об этом рассказывал ему Махара.

«Здесь какая-то хитрость», — думает царевич и снова вглядывается в сражающихся всадников. И замечает Махара: любопытство овладело царевичем. Но старик молчит, сдерживая улыбку.

— А у воинов в руках копьа? — спрашивает Давид.

— Копьа. Разве тебе не видно отсюда?

Махара встает, распаивает плетеную дверь в заборе, ведет Давида к дубовой роще.

И говорит начальнику сотни:

— Царевич не может понять, взаправду ли бьются воины, настоящие ли у них копьа?

Улыбается сотник. Берет копье у одного из воинов.

— Видишь ли, царевич, перед началом битвы мы снимаем с копий стальные наконечники. А деревянное острие не может ранить воина, закованного в броню.

И сотник отделяет острие от копьа.

Засмеялся обрадованный царевич.

Так волновался Давид в детстве, даже при виде воинских игр. А в Рустави, всего лишь пять месяцев тому назад, сам поражал копьем воинов и коней, шел впереди войска, звал за собою людей, подстрекал их к убийству. Своими глазами видел на следующий день: вороньи стаи усеяли болота, стервятники клевали трупы убитых, волки и шакалы тащили по грязи человечьи внутренности, крысы пили смешавшуюся с болотной водой кровь, — но и тени жалости не ощутил он в своей душе.

В детстве, когда умирал у него соенок или скворчик, плачем оглашал царевич весь дворец, а сегодня он слышал, как вопили под кнутом триалетские знауры, и не дрогнуло жалостью сердце.

И глядит царевич на разбитый молнией дуб и удивляется, как длинен путь от этого дуба до Руставской крепости!

Вечерний туман поднимался над рижскими рощами, одинокая звезда блеснула в небе, на западе сумерки понемногу окутывали прекрасные вершины аджарских гор, с башен Гегутского замка доносились звуки трубы.

(Продолжение следует.)

СЕРДЦЕ-КАМЕНЬ

Рассказ

НИКОЛАЙ АСАНОВ

Забойщик Лукомцев на руднике Сердце-Камень один выполнил план годовой добычи рудника. Об этом мне сказал секретарь райкома Саламатов, разбудив в два часа ночи телефонным звонком.

Я знал бешеный характер Лукомцева, его склонность к фантазии. В свое время, когда Лукомцев работал еще на золоте, он устроил знаменитый кумачевый ковер чтобы пройти из ресторана Золотопродукта в пивную Уралторга. Это было в дни небывалого фарта на прииске Беспкойный, когда артель Лукомцева открыла под старыми отвалами разработок графа Шувалова нетронутую платиновую россыпь. Было это во времена строго нормированного снабжения, когда даже самый знаменитый старатель не мог получить на свой фарт больше десяти метров мануфактуры в месяц. Лукомцев собрал всю свою артель и добрых приятелей и пошла их в магазин. Двое подручных Лукомцева расстилали перед ним кумачевые отрезки, а он, растянув меха баяна так, что рыдающий баян обвивался вокруг него змеей, гордо шествовал по ковру, втаптывая его в грязь. После этого подвига Лукомцева, следы его пропали.

Через несколько лет в кабинет секретаря Красногорского райкома партии явился Лукомцев. Был он бородат, оборван до той степени, когда на Урале человека называют зимогором, — самой презрительной кличкой, созданной для тех, кто и зимой горе мыкает, хищничая в горах по золотишку. Секретарша долго не пускала его в кабинет, но Лукомцев так возвысил голос, что зазвонили стекла. Саламатов выглянул из кабинета и впустил беспокойного посетителя. Посетитель начал с того, что выложил на стол пригоршню мелких алмазов, грубый набросок карты, сделанный углем на бересте, мимоходом съел

завтрак секретаря и только тогда снизошел до объяснения:

— Пишите в газеты, Лукомцев открыл... — присел на диван, торжествующе взглянул на секретаря и немедленно заснул.

Позже выяснилось, что Лукомцев искал все отроги Северного Урала, ища нетронутых мест, где могла бы найти выход своему беспокойству его фантастическая натура. В Красногорск он вышел после двухнедельных блужданий по парме, не имея ни одного патрона, ни куска соли. Потом он с торжеством рассказывал, что догнал и своими руками поймал козулю, — впрочем, ему не верили и говорили, что козуля была дохлой. Известно, что всё необычайное смущает человека и требует немедленного и естественного объяснения.

Тем не менее, алмазы были налицо, прииск, открытый в верховьях Нима, носил неофициальное название Лукомцевского, и хотя он давал ничтожную добычу, открыватель испытал сладостное чувство славы. Однако этого ощущения ему хватило не надолго. В благоприятные дни, восторга он женился, получил квартиру, мирно работал на своем прииске, изредка приезжал в Красногорск к жене, и вдруг затосковал. И вот, собрав немудреные охотничьи припасы, Лукомцев снова пошел в лес. На этот раз он пошел на выучку к Филиппу Иляшеву, Хозяину Красных Гор, мудрому лесному человеку, начальнику заповедника. У него Лукомцев учился звериному языку, меткой стрельбе, чтению следов и скоро сравнялся в этой науке со старым остяком.

Когда началась война, Лукомцеву исполнилось тридцать два года. Месяц он ждал вызова из райвоенкомата. Вызова всё не было. Уходила молодежь, которая, по искреннему мнению Лукомцева, воевать не умела. Тогда разъяренный Лукомцев сам пришел к военкому. Его по-

просили подождать. Он ждал еще месяц. А в это время русская армия отступала. Лукомцев написал длинный проект о том, как быстро закончить войну. Военком с удивлением прочитал его проект. Там излагалась просьба, чтобы Сергею Ивановичу Лукомцеву, знаменитому охотнику Урала, было дозволено собрать отряд таких же охотников и с ними пройти за линию фронта, где они выследят и поймают проклятого вампира Гитлера. Если он не согласится следовать добровольно, Лукомцев просил дозволения расстрелять его и доставить труп для всеобщего обозрения.

Военком обещал дать ход его просьбе, а пока направил Лукомцева на военную комиссию. Комиссия установила, что Лукомцев, дважды переживший обвалы в старательских шахтах, изломанный во многих местах, к военной службе не годится. Лукомцев обиделся до зеленого бешенства на весь врачебный синкайт, но заставить врачей изменить отзыв не мог. После этого неожиданного удара он притих, сидел дома, чтобы не глядеть в глаза людям, — не мог же он наклеить на лбу бумажку о том, что он не годится к военной службе, когда все его годки уже ушли на фронт. И чуть только начинался охотничий сезон, он уходил в лес.

В сорок втором году в Красногорском районе открыли небольшой вольфрамитовый рудник. Услышав об этом, Лукомцев пришёл к Саламатову и мрачно сказал:

— Что же это, набрали на работу всяких мальчишек да баб, а меня, старого забойщика, забыли?

Саламатов удивленно спросил:

— Да как же, Сергей Иванович, мы тебе специальное извещение по почте послали. Ты разве не получил?

Лукомцев вытаращил глаза, потом обрадованно сказал:

— Ох, уж эта паршивая почта, всего и донести — два шага, а она и тут опаздывает.

— Значит, поедешь?

— А то? Кому и работать, как не нам, старикам! — И провел рукой по бритому подбородку с таким видом, будто ему по меньшей мере лет семьдесят.

— Ну вот и ладно, — сказал Саламатов и написал записку директору рудника Суслову.

Как только Лукомцев вышел, секретарь вызвал девушку, продиктовал письмо Сергею Ивановичу Лукомцеву и приказал немедленно снести на почту. Саламатов хорошо знал людей, это явствует из того, что Лукомцев выехал на рудник только через два дня, дождавшись с почты письма.

В начале сорок третьего года рудник значительно расширил свою программу. На нём уже было около двухсот рабочих. По новой трассе, пробитой в нехоженном лесу, постоянно шли машины с шеелитом, которого жадно требовала промышленность для военного снаряжения. Богатый вольфрамом шеелит прямо с машины шёл в переработку; незначительная примесь вольфрама облагораживала сталь, придавала броне особую твердость, улучшала качество оружейных стволов. Наркомат обороны держал на руднике постоянного представителя, чтобы следить за правильным распределением его добычи. И вот на торжественном заседании по поводу принятия новой программы вдруг выступил забойщик Лукомцев. В присутствии многочисленных гостей он прервал речь директора Суслова, качнул рыжей взлохмаченной головой и сказал, как бы продолжая давнишний спор:

— А я говорю, мал план. Дайте мне трех способников, и я с ними всю годовую программу сделаю. Разве это порядок, всем в одной дыре копаться? Нет, ты мне поперёк жилы шахту пробей, может, я там настоящий фарт найду!

Закончив эту короткую речь, он сел и, уже сидя, пробормотал:

— Другие на фронте снайперами стали, ордена получают, а мы всё по старинке копаемся. Я по жильным рудам всю жизнь обушком стучал, они со мной на родном языке разговаривают. Дай мне десять молотков, они все будут работать, а с одним перфоратором только в зубе дыру сверлить...

Суслов, открывший рудник Сердце-Камень, вспыхнул от досады. Но Саламатов поддержал забойщика. Гости из военных организаций тоже заинтересовались неожиданным предложением. Торжественное совещание превратилось в производственное. Потом делегаты перешли в рабочую рубу и полезли в рудник. Узкая жила, открытая Сусловым, разрабатывалась одной шахтой, постепенно удалявшейся под углом в сорок градусов прямо с поверхности земли. Пар выплывал тяжелыми струями и замораживал шахтные постройки плотным покровом куржевени. Воздушная станция пыхла на отаёте. Там же стоял движок, дававший электричество. По малой мощности рудника его не очень обстраивали, торопясь быстрее выкачать открытую жилу.

Лукомцев шёл впереди той особой горняцкой походкой, когда самый высокий человек кажется маленьким, так как постоянная угроза удара головой о кровлю шахты заставляет его подгибать ноги в коленях и вжимать голову в плечи. Шах-

терский шлем он отдал какому-то новичку, чтобы оберечь его от неизбежных ударов. Рыжие волосы ютились золотом в свете аккумуляторных ламп. В середине шахты, где еще не был слышен стук отбойных молотков горняков, углубляющих забой, Лукомцев подождал Суслова и с укором сказал ему:

— Гонимся за главной жилой, как худой охотник за зайцем, а соболя на ветках сидят да в спину мурлыкают...

— Что за разговор? — весело спросил догнавший их Саламатов. Он любил Суслова, но и Лукомцев нравился ему своей неумной буйностью, всегда обещавшей что-то новое. Ему хотелось, чтобы между забойщиком и инженером было то полное согласие, когда дело спорится, а споров нет.

— А вот поглядите, товарищ Саламатов, видите пустоты в породе? Вот тут и оходят рудные жилки, а, может, и не рудные, а самородные.

Суслов сказал:

— Это дело на зачистку. Сейчас с ними возиться некогда.

Лукомцев рассердился, повернул луч фонаря прямо в лицо инженеру, укоризненно качнула огромной головой:

— Жила тощает, доим, как худую корову, за кружку молока подай ей четыре пуда сена в день. Невыгодно.

Инженер из главного управления скептически покачал головой, хлопнул Лукомцева по плечу:

— Ничего тут, Сергей Иванович, не выйдет. Рудник беднейший, надо с тем помириться. Загрохает средства, а толку не будет. Пошли дальше...

Саламатов видел, что забойщик отстал. Суслов и гости пошли к разработке.

Секретарь догнал забойщика на выходе из шахты. Лукомцев шёл и разговаривал сам с собой по старой охотничьей привычке:

— Небось, когда генерал в атаку идет, он разведку вперед посылает, а уж потом победу себе засчитывает, а тут и разведать жалко и старого горняка слушать обидно, — бормотал Лукомцев. — Однако я вам не тетка и вы мне не дядьки. А если я сказал, от своих слов не отступлюсь...

Вечером Саламатов вызвал к себе Лукомцева, долго беседовал с ним, а потом позвонил в редакцию районной газеты и приказал немедленно напечатать письмо забойщика, в котором тот давал обязательство единолично выполнить годовую программу рудника Сердце-Камень. Отпустив Лукомцева, Саламатов пригласил Суслова. После долгой беседы Суслов согласился, что мешать Лукомцеву нельзя, а помогать он. Суслов, всё равно ему помогает, только Луком-

цев гордый и не любит, когда об этом говорят.

И еще раз Сергей Иванович Лукомцев стал знаменитым человеком. Областная газета напечатала его обязательство, к нему приезжали корреспонденты, расспрашивая его, как он думает выполнить своё обязательство. Но горняк напускал на себя необычайную важность и до поры до времени помакивал. Знатные горняки писали ему письма. Но все заметили, что Лукомцев стал очень мрачным, в разговоры не вступал, рассылаа куда-то много телеграмм, на которые ждал ответа с таким душевным волнением, что начальнику почты от него житья не было. Всю вину за молчание своих адресатов он сваливал на плохую работу почтарей.

И вот пришли первые отклики на его призывы. В один из вьюжных февральских дней в Красногорск прибыла машина, на которой приехало четверо незнакомых пассажиров в гости к Лукомцеву. Один из них был в военной форме, другие — в рабочих костюмах. Гости, узнав, что Лукомцев на руднике, немедленно прошли к Саламатову, потом вместе с секретарем поехали на рудник. Это были старые друзья Лукомцева, не один год бедовавшие с ним по уральским горам в поисках форта. Из всех друзей Лукомцева только эти четверо оказались дома, и то один из них уже побывал на войне и вернулся в отпуск после ранения. Вмешательство Саламатова помогло им перебраться с Саранского рудника на Сердце-Камень. И вот они невозмутимо и бесловно оглядывали место, где их дружок хотел показать высокий класс горняцкой работы.

Суслов обрадовался, залучив таких опытных рабочих на свой рудник. Горняки вежливо и почтительно выслушали инженера, соглашаясь с ним, что затея Лукомцева ничего не даст. Вполне довольный Суслов указал им рабочие места. Он собрался уже уходить, когда фронтвик вдруг сказал:

— Вы уж нам всё-таки разрешите поддержать Сергея Ивановича. Мы займемся этим в нерабочее время.

— Позвольте, — вскипел Суслов, — да об этом же мы и толковали целый час! Бессмысленная трата времени...

— Так-то оно, конечно, так, — басом сказал Фрол, самый старший из гостей. — Только и товарища в беде покидать нельзя. Раз он сказал, значит, должен сделать. Вот ведь и вам нелегко было рудник открыть, а вы от того не сбежали... — польстил он Суслову, который действительно с большим трудом разыскал шешайтову жилу на Сердце-Камене.

— Ну, как хотите, — сердито сказал Суслов.

Отбив обушками первую смену, четверо приезжих и Лукомцев снова спустились после обеда в шахту. Уже подвечер к ним присоединились комсомольцы, с которыми имел длинную беседу Саламатов. Бригада начала новый забой, пытаясь установить поперечное сечение жилы, которую определил когда-то бурением Суслов и потерял в отслоениях, ушедших в породу. Теперь Лукомцев мечтал снова найти её. Они вели работу сверхурочно, руководствуясь тем внутренним чутьём добытчика приискателя, которое помогает найти тайные клады земли, скрытые от невнимательного человека.

Фронтоник на другой день перешёл на воздушную станцию, которая не справлялась с требованиями бригады. Он внимательно оглядел бедное воздушное хозяйство, в первый же выходной день отремонтировал нагнетательную машину. Суслов даже не поверил, узнав, что бригада поставила восемь новых перфораторов.

Многоперфораторное бурение было выдумкой Лукомцева. До сих пор каждый забойщик работал одним буром. Лукомцев сам начертил схему пользования перфораторами. В узком забое он с двумя помощниками поставил восемь молотков, работая на них одновременно. Восемь буров грохотали в породе, молчаливый забойщик чутко прислушивался к их говору, меняя затупившиеся буры, улавливая тот миг, когда перфоратор начинал работать вхолостую, чтобы немедленно приправить его. В течение часа забой был подбурен, заложены шпурь, раздавался мощный взрыв, комсомольцы-откатчики принимались за работу, а Лукомцев уже снова налаживал свое сложное хозяйство. Каждый час рушилась крешкая стена породы, забой углублялся в толщу, где по каким-то расчетам Лукомцева должна была проходить неоткрытая рудная жила. После восьми часов работы все уходило из забоя... Короткий отдых оставался им до начала ночной смены. Но теперь обычная смена проходила необычайно. Лукомцев перенес метод многоперфораторного бурения в забой. Каждый день в районной газете и раз в неделю — в областной появлялись необычайные сводки о выработке Лукомцева. Те, что посмеивались над его обязательством, теперь подумывали, что, пожалуй, Лукомцев своего добьется и на этот раз.

Между тем силы добровольцев падали, а жила все еще была мечтой. Более молодые утомлялись до такой степени, что после работы перестали выходить нагора, спали тут же в забое. Суслов приказом прекратил работы. Однако опытные шахтеры все продолжали свои изыскания. Они трудились уже два месяца. Не

один раз между собой они говорили, что Лукомцев втравил их в напрасное дело, но самому Лукомцеву никто не делал ни одного упрека. Была какая-то неутолимая вера в глазах у искателя, и эта вера не позволяла пререкаться с ним.

В ночь на первое мая Суслов отдал последний приказ — немедленно прекратить ненужные работы. Молодые рабочие ушли из пустого забоя, сославшись на этот приказ. В забое остались только Лукомцев и его приятели. Фронтоник должен был завтра уезжать в военкомат, срок его отпуска кончался. Басистый забойщик неуверенно посмотрел на Лукомцева и тихо сказал:

— Ну, Сергей Иванович, придется нам прекратить эту забаву, а то и малые ребята над нами засмеются. Немыслимо без инженеров за такую работу браться...

Фронтоник молчал, уезжающему не следует оставлять после себя ссору. Два других забойщика помолчали под острым взглядом Лукомцева, потом Юдин неуверенно сказал:

— Фрол правду говорит...

— Должно быть, ты ошибся, Сергей Иванович, — поддержал второй, — всегда мы за тобой были, как за каменной стеной, а теперь видно ты ошибся.

Лукомцев растерянно смотрел на товарищей. Басистый Фрол начал собирать инструменты. Он складывал их ровными кучками, чтобы каждый мог взять свою долю. Вдруг Лукомцев злобно закричал:

— Не трожь, Фрол! Я отсюда не пойду. Меня отсюда только вперед ногами вынесут.

Фрол посмотрел на него, покачал головой, сказал остальным:

— Пошли, ребята, пусть Сергей Иванович подумает наедине с горой.

Они вышли гуськом, не тронув ничего. Лукомцев остался один. Он сидел перед глухой стеной и слушал гору. Гора разговаривала монотонным языком воды и осыпающейся породы. Лукомцев смотрел на свой аккумуляторный фонарь, привешенный на стенке забоя, и думал. Он думал о том, что мог бы добыть много вольфрама и тем помочь воюющей стране, поскольку ничем больше не мог помочь. Черная тишина окружала его и тот светлый круг, который оставлял фонарик. Он вскочил на ноги, злбно ругая товарищей; называя их трусами и лодырями, но он понимал, что у них нет той веры, какая владела им. Ему показалось, что он видит в толще породы черную жилу, которая убегает от него в темноту, в камень.

Лукомцев подошел к глухой стене, поднял перфоратор. Сжатый воздух еще не выключили; он тяжело вздохнул и забурил один бур. Постепенно забыв, что

он один в забое, он забурил другие буры, огляделся, подрывные патроны остались вместе с сумкой запальщика. Лукомцев зарядил шпур, поджёг шнур, отбежал в подрубленную для запальщика печь — щель в стене — прислушиваясь и считая взрывы. Когда они отгрохотали, наполнив пустой забой шорохом осыпающейся породы, Лукомцев бросился к стенке, лихорадочно бормоча:

«Врешь, не уйдешь, попрячешься да и откроешься, проклятая!»

Быстрым движением он сгребал обрушенную породу, оставляя только подход к стене забоя, не обращая внимания на то, что кровля скрипит на крайних стойках, еще оседая после взрыва. Расчистив место для работы, он снова включил воздух, опять загрохотали буры, он ловко поправлял их, переходя от одного к другому, они работали точно, как швейные иглы в машине, так же легко шли они в породу. Он забыл о времени, произвел второй взрыв, заметил, что обрушенный участок стал велик, надо закрепить его, приволок стойки, поставил их, — если, не дай боже, начнется обвал, они хоть и редко расставлены, а все же заскрипят, дадут ему знать, что надо спасаться... Закончив эту работу, он в третий раз заправил буры, почти не ощущая усталости, и только изредка раздумывая о товарищах, которые утратили веру.

«А разве без веры есть победа? — раздумывал он, готовя забой к новому взрыву. — Нет победы без веры, а у меня вера есть, потому и не могу я уйти. Придут ребята, придут не сегодня, так завтра, а все равно придут. Стыдно будет, что струсили, одного его оставили, как будто только ему одному это и надо. А ему надо, чтобы немцам скорее каюк пришел, а какой же им конец, если ты не стараешься, не напрягаешь все силы, не веришь в свою победу». — Эту мысль он поворачивал и так и этак, бормотал ее сквозь сжатые зубы, все продолжая работать.

Часов у него не было, и он не знал, сколько времени прошло с тех пор, как он оставался один на один с бесчувственной горюю. Однако по привычке горняка он примечал, что слабеет свет в аккумуляторе фонаря, что это уже пятый взрыв, так что, наверно, уже утро. Впрочем, сегодня выходной день, и никто не придет тревожить его. Он зарядил буры в шестой раз, беспокоясь только о том, чтоб хватило свету в фонаре.

Закладывая шпур, он оглянулся — груда породы лежала позади него. Он пробила в породе только узкий ход, чтобы иметь возможность орудовать перфоратором, стойки остались далеко, теперь он не ставил даже контрольного столбика, надеясь на крепость породы. Приготовив последний взрыв, он отполз, посчитал

удары шпуров, чтобы быть уверенным, — подорвались все, — и медленно пошел к выходу. Только теперь, когда работа была закончена, почувствовал он, как устал. Да, устал, как устает камень, что держит скалу, — когда его выбьешь, он рассыпается от усталости в порошок — устал, как устает железо под ударами перфоратора, его уже нельзя отковать, оно колетая, как дерево. И он шагал все медленнее, присаживаясь отдыхать...

Его нашли утром второго мая. Он сидел недалеко от выхода из рудника, устало вглядываясь в приближающихся шахтеров. Горняки остановились около него, с испугом разглядывая худое, оброщее щетиной лицо. Кто-то спросил его, — неужели он заблудился? Лукомцев отвернулся от глупца, задавшего старому горняку такой нелепый вопрос. Помолчав, ответил:

— Просто отдыхаю.

— А ты знаешь, какое сегодня число?

— Должно — первое мая. С праздничком вас.

— И вас также, с прошедшим. Второе сегодня.

Лукомцев встал, с изумлением посмотрел на горняков.

— То-то я вроде как проголодался...

Поправил шапку, согнулся и зашпатель из шахты, не оборачиваясь.

Суслову доложили об этом, как только он спустился в забой. Инженер рассердился, сейчас же вызвал Фрола и приказал ему немедленно вынести все инструменты из забоя, а забой завалить, чтобы Лукомцев отстал от своей выдумки. Фрол взял кувалду, вызвал парня посмелее, — не всякий может спокойно слушать треск стоек в обрушиваемом забое. — и пошел, поторапливаясь — вдруг Лукомцев вернется в забой.

Остановившись у того места, где Лукомцев начал работу, Фрол удивленно свистнул. Никогда еще не видел он такой упрямой и страшной работы. Узкая нора в отвальной породе вела в глубь забоя. Инструмент валялся там, где они его оставили вечером под первое мая. Фрол собрал его и хотел уже рушить стойки, но комсомолец забрался в забой и застрял там. Фрол позвал его. Комсомолец не отвечал. Для острастки Фрол выбил одну стойку, потом вторую. Вдруг комсомолец закричал из забоя каким-то диким голосом. Фрол решил, что парня придавило и, ругаясь, полез в нору, выбитую в обрушенной породе.

Комсомолец ползал на коленях в забое, освещая фонариком неровное дно. Около него лежала куча камней, которые он усиленно подбирал. Услышав шаги Фрола, парень обернулся, взволнованно закричал:

— Дядя Фрол, зови скорее инженера!

— Я тебе дам инженера! — злобно за-

кричал Фрол. — Долго ты тут будешь валандаваться? Я уже стойки валить начал...

Комсомолец взглянул на горняка, охнул, но не тронулся с места. Потом дрожащей рукой поднял к лицу горняка собранные камни и тихо сказал:

— Дядя Фрол, это же руда...

Фрол метнулся длинным худым телом в проход, извиваясь, как уж, и исчез, раньше чем комсомолец успел что-нибудь добавить.

В белую июньскую ночь, когда над Красногорском, кажется, не заходит солнце, до того чист, ясен, прозрачен и светел воздух, секретарь райкома Саламатов позвонил мне и сказал, что Лукомцев выполнил свое обязательство: за истекшие полгода он выдал на-гора годовую программу рудника один.

В такую ночь было грешно спать, поэтому мы, не ожидая утра, поехали на шахту. Мы миновали голубые расселины в горах, по которым пролегла новая трас-

са. Красные горы казались темными в этом молочно-белом воздухе. Упрямые люди пробрили и трассу, и шахту в пустынном лесу, упрямые люди добились победы.

Через час мы были на шахте. Там, по старому горняцкому обычаю, чествовали в освещенном лампами забое Лукомцева, второго открывателя рудника и лучшего стахановца, мастера многоперфораторного бурения. Лукомцев, грязный, усталый, выслушал краткие речи, потом встал, поднял руку. Все замолчали. Лукомцев оперся на длинную рукоять перфоратора и тихо сказал:

— Слушайте, гора говорить будет!

Трепетное волнение овладело людьми. И в медленной тишине послышался тихий голос горы. Она говорила тонким голосом капли, шуршанием осыпающейся породы, треском дерева, на которое навалилась вся тяжесть шахтного потолка. И старый горняк задумчиво слушал тихий голос горы, как бы проникая в её тайну.

СЫНУ

ВАСИЛИЙ ЗАХАРЧЕНКО

★

Прости меня,
но я не мог иначе
И, уходя под орудийный шквал,
Почти на гибель, —
я твое зачатие
Как продолженье жизни принимал.
Прости меня за фронтное детство,
За то, что я тебя не уберег,
За то, что я принес тебе в наследство
Сухую пыль измученных дорог.
Прости меня
за то, что слишком строгий

Я мир открыл,
где, подавляя страх,
Моя жена несла тебя дорогой,
Как богоматерь сына на руках.
Прости за все страданья и невзгоды —
Я не отдам врагу твои пути.
Иди! Живи!
Пусть я умру у входа,
Чтобы тобой в грядущее войти.

Фронт, северо-запад, 1943

У ВЗОРВАННЫХ ПЕЧЕЙ

(Рассказ старого Коробова)

АЛЕКСАНДР БЕК

1

Мы стоим среди взорванных доменных печей Макеевки.

— Вот тут и грузились в эшелоны, прямо в заводе, ночью, — говорит старый Коробов.

Он, глава семьи доменщиков Коробовых, так и зовется у металлургов «старым», в отличие от сынов.

За время войны мы видимся первый раз. Он показывает мне, корреспонденту из Москвы, странно безмолвный цех, где раньше в любой час дня и ночи четыре печи, башни-великаны, гудели так, что, разговаривая, всегда приходилось напрягать голос.

Меня интересует, как идет восстановление. Коробов знакомит меня с этим, но поминутно отвлекается. Ему хочется рассказать обо всем, что пережито в годы войны: и про то, как грузились в октябрьскую ночь 1941 года, как покинули завод, как ехали. Шутка ли, — двадцать восемь суток в пути, двадцать восемь суток через огромные пространства России. Столько времени шли макеевские эшелоны до Урала.

Два года старый Коробов пробыл на Урале вместе с немалой армией металлургов юга, которые ушли от немецкого нашествия, напоследок взрывая или иным способом выводя из строя родные заводы.

— Нас там звали «выковыренные» вместо «эвакуированные», — вспоминает Коробов.

И опять смеется. Ему шестьдесят три года, но усы и теперь ярко-рыжие, лишь чуть-чуть с сединой; на лице и теперь веснушки. Он держится солидно, с важностью, даже с некоторым самодовольством, которого, вероятно, сам не замечает. Однако натура то и дело берет свое: чем-либо увлекшись, он моментально входит в

азарт, сразу забывая о солидности, подобающей ему, знаменитому обермастеру доменных печей.

Одна домна уже восстановлена и готова к пуску.

У соседних печей броня разворочена, там вздыблены листы и прутья железа, а эта блестит, выкрашенная черным лаком. В котором солнце играет, как в смоле. Внизу, у горна, где конструкция подвергается особенному действию жара, не все можно красить, — там домну побелили жидким мелом, на котором пока не заметно ни пятнышка. Работающая печь никогда не бывает такой чистенькой.

Я спрашиваю Коробова об Урале. Он отвечает:

— Работают полным ходом. Никогда так не работали. Одна Магнитка дает столько стали, сколько в ту войну вся Россия не давала. А Кузнецк? А Тагил? А Златоуст?

Он почему-то и сейчас входит в азарт, будто продолжая какой-то незаконченный спор. Длинные рыжие усы воинственно приподымаются; он косится на меня: не собираюсь ли я тоже вступить в спор? Но я молчу.

Коробов оглядывает цех. До войны доменные печи Макеевки, выстроенные взамен прежних, устаревших, начисто снесенных, соперничали по мощности с магнитогорскими. Здесь был самый крупный металлургический комбинат юга. Сюда любил приезжать народный комиссар тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе. По этим плитам, по этому помосту из стальных листов, которые теперь порваны и заржавели, он не один раз прохаживался со старым Коробовым, полюбивя его, чтобы в шуме печей ясней различать голос, и иногда от души хохотал, выслушивая меткие ответы макеевского обермастера.

Коробов оглядывает цех и вдруг еще азартнее восклицает:

— А все-таки у нас в Макеевке устройство лучше. Везде я побывал и нигде не нашел умней нашего устройства. Глядите-ка...

Он ведет меня к восстановленной печи и демонстрирует различные ее детали, порой заставляя куда-либо пролезть или что-либо собственноручно повернуть, чтобы я убедился, что здесь конструкция удобнее и проще, чем в Магнитке.

— Магнитка построена по американским чертежам, — говорит он. — Спросишь там: «почему так сделано?» «Чертежи такие». И ведь сказ. А у нас в Макеевке проектировали ученики Курако: Луговцов, Кизименко... И мы, старые практики, старые макеевские мастера, в этом участвовали. Мы ведь помучились около доменных; горбом изучили, что удобно и что не удобно для работы.

Показывая рукой на линию разрушенных печей, он объясняет, как расположены пути жидкого чугуна и шлака, как приспособлены подъемные сооружения.

— Эх, красота какая! — восторженно восклицает он.

Я всюду вижу задранное рваное железо, рухнувшие тележки мостовых кранов, скрученные взрывами балки, безобразные кучи золы и растрескавшегося беловатого известняка с темными вкрапинами обгоревшей руды; рабочие отгребают лопатами эту массу от печей, а она все сыпется и сыпется через проломы.

— Какая же это, Иван Григорьевич, красота?

Моя реплика опять, — в который раз?! — вызывает его хохот. И он опять посматривает на меня снисходительно.

— Э, к этому нам только руки приложить. Это все мы восстановим.

Однако я знаю, с какими мучениями макеевцы восстанавливали свой завод после прошлой войны и разрухи. В те годы восстановление порой становилось трагедией, когда, например, торжественно пущенную доменную печь приходилось снова останавливать из-за недостатка угля и других материалов. Шесть долгих лет — с восемнадцатого по двадцать четвертый — завод был омертвевшим.

Я спрашиваю:

— А надолго ли, Иван Григорьевич, затянется восстановительный период?

Коробов возмущенно отмахивается обоими руками.

— Да уже восстанавливаем. Поднимаем с ходу! Вернется народ с войны, а у нас все готово, все горяченькое.

— Но в чем же, все-таки, будут основные трудности?

— Какие трудности? — с тем же возмущением восклицает он. — А ну, лезьте-ка за мной! Чего отстааете? Ай-да выше,

выше... Поглядите отсюда на завод. Видите? Паровозы ходят, аглофабрика работает, мартен работает, электростанция работает. Сходите туда, на электростанцию, там поставлен генератор, у которого на заводской марке выбито: «Ленинград, 1943». Ленинградцы в блокаде такие машины строили. Вот там были трудности. А теперь мы получаем эти машины для восстановления. А Урал, сколько нам дает? Сейчас все что хочешь заказывай на Урале. Говорю, — поднимаем с ходу!

Помолчав, он произносит:

— Теперь-то нам не тяжело. А вот оставлять завод было тяжело. Восстанавливать легче, чем оставлять.

— А как это было, Иван Григорьевич?

3

— Команду насчет этого нам дали в ночь на десятое октября сорок первого года, — говорит Коробов. — Я находился не в цеху, а на погрузке эшелона. Вон там, около алюминга... — С возвышенной площадки, куда мы поднялись, видна территория завода. В разных точках вспыхивают голубоватые молнии электросварки, ясно заметные даже в солнечный день. Вдалеке вырисовываются и будто курятся геометрически точные пепельно-серые вершины: это накопленные десятилетиями насыпи пустой породы у шахт, это резкая примета Донбасса.

Коробов продолжает рассказ:

— Вдруг узнаем: он перешел Днепр. Вот тогда народ стал сомневаться: не доберется ли до нас? И как быть? На собраниях говорилось: «Никакой паники! Каждый будь на своем посту!»

И, действительно, держали его недели три около станции Чаплино. Потом он там прорвал, его опять остановили, устояли против него на новой линии, но уже на краю Донбасса. Теперь-то мы знаем, что значило в те времена задержать немца на три недели, потом еще на три недели, но тогда томилась душа. Все же говорили: «Спокойно! Все вынесем, выдюжим! Каждый стой и работай на своем посту!»

Завод действовал с полным напряжением. Ни одну печь, ни один стан не останавливали, — давали и давали металл для обороны.

У меня гостила невестка, жена Ильи, — это мой младший, директор Днепропетровского завода. Он вывозил на восток оборудование своего завода; потом с нового места дал жене телеграмму: «приезжай». Я посадил ее с детьми в машину, погрузил все ее монетки, взял провожать и свою жену и повез на станцию. Дорогой машу рукой знакомым, кричу:

— До свидания, ребята. Уезжаем!

Ну, и был же мне за это нагоняй. Вся

Макеевка, оказывается, всполошилась. Коробов де дал драпака, подался из Макеевки. На другой день приходили к нам на квартиру женщины, даже малознакомые.

— Здравствуйте, Иван Григорьевич. Как живете?

— Ничего, спасибо.

— А где ваша жена?

— Дома.

— Дома?

— Да. На что она вам?

Они мнутя. Вызываю жену: нате, мол, глядите, можете потрогать. Некоторые признавались:

— В народе прошел слух, что вы, Иван Григорьевич, уехали.

— Никуда не уехал и, будьте спокойны, уезжать не собираюсь. Здесь будут всю жизнь работать.

Говорю, а сам иногда чувствую, что сердце под коленкой. Вида не подаю, усы не вешаю, по два раза на дню гребешком расчесываю, чтобы не повисли.

А на дворе октябрь. Что делать, — готовить на зиму капусту или нет? Купила триста килограммов капусты.

— Бери, жена, сечку. Руби, секи. Пускай все видят, что Коробов капусту на зиму заготавливает.

Фронт недалеко, а доменные идут во весь ход, выдаем выпуск за выпуском, дома жена капусту рубит. И вдруг, вечером 9 октября, вызывают меня в контору.

4

— Там, в кабинете директора, — главные люди завода. Я думал, что идет совещание, но все, кто там был, молчали, никто не держал речь. Директор сказал мне кратко:

— Завод эвакуируется. Первым эшелон отправляет женщин и детей. Начальником эшелона будете. Иван Григорьевич, вы. Погрузка сегодня в ночь на путях блюминга. К вашему же эшелону, возможно, успеем прицепить несколько вагонов с оборудованием. Вот вам, Иван Григорьевич, удостоверение.

Он протянул мне удостоверение, а у меня, чувствую, дрожит рука. И не хочу поднять такую руку, не хочу, чтобы все увидели, как она дрожит. Директор посмотрел на меня и положил бумагу на стол передо мной.

Потом что-то вычеркнул в блок-ноте и обратился к начальнику электросварки. Дал распоряжение изготовить через два часа сотню железных печек и установить в вагонах. А я стою, слушаю и не знаю, что сказать, о чем спросить. Наконец, осилил себя, взял удостоверение и спросил:

— Куда же мы?

— На Урал. В точности место еще неизвестно.

Я задал еще несколько вопросов, — на-

счет паровозов, продовольствия, топлива. Директор на все ответил.

— Теперь, Иван Григорьевич, идите. Е цех можете не заходить. Все, что требуется, сделаем без вас. Берите семью и отправляйтесь прямо к блюмингу. Состав уже будет там.

Я вышел. На воле было темно. Моросил дождь. Небо черное, земля черная, все черным-черно. В домах и на заводе ни одной полоски света, — все замаскировано. Но гудели, как всегда, доменные печи. По тону слышно: идут ровно, горячо. И вдруг там мелькнули красноватые отсветы. Это выпускали чугун. Как мы ни маскировали завод, всюду закрывая железными колпаками горячий металл, но когда из печи бежал огненный поток, всегда в эти минуты ночь становилась розовой.

Я остановился и смотрю. Неужели последний раз я это вижу? Неужели через несколько часов... Только тут я отдал себе отчет в последок сказанных словах директора: «В цех можете не заходить. Все, что требуется, сделаем без вас». Что же сделаем мы с доменными? Неужели будем губить своей рукой?

И ведь там, на печах, люди еще ничего не знают. Печи гудят, выдают чугун.

По улице шли прохожие. Еще никто не спешил, не волновался; до рабочих еще не дошла весть, что завод живет последние часы. Кто-то из встречных засветил на момент фонарик, навел на меня, узнал, поздоровался и спросил:

— Что нового?

Я хотел сказать и не сказал. Как выговорить: «Отдаем Макеевку, уходим»? Стою перед ним, кусаю губу и молчу. Так, без слова, я и ушел в темноту.

Около дома встретил соседа Тимофея Кузьмича Вежличева. В темноте узнал я его походку. Это тяжеловесный могучий доменщик, — таких выбирали на горно в старину. Он старше меня на несколько лет — старый доменный мастер, старый друг. С ним я поговорил.

— Собирай, Тимофей, семейство. Дела плохие. Сейчас отправляем женщин и детей.

Вежличев сказал:

— Никуда я не поеду. Живу здесь с основания, здесь мне и помидать. И семейство тут останется.

— Что ты? Ведь придут же немцы!

— Значит, так тому и быть.

5

— Дома я приказал жене быстро собираться.

— Лишнего не бери. Разрешено на каждую семью двести килограммов багажа. А сам смотрю кругом и всего жалко. Кровати у меня были никелированные, гардероб с зеркалом, для жены была при-

обретена швейная машинка. Помню, как покупал каждую вещь, как осматривал, ощупывал в магазине, как привозил домой. И все это надо бросать, увязывать узлы и уходить. Куда? Я еще и сам не знал города, куда нас повезут. Пока просто в темноту.

А тут жена заохала насчет капусты. В погребе ведь триста килограммов капусты. Я рассерчал:

— Пропади она пропадом, эта проклятая капуста!

Жена спросила:

— А патефон брать?

— Какой к свиньям собачьим патефон? Песни играть. что ли мы едем?!

Так бросили и патефон. После я много раз жалел, но тогда было такое настроение, что по всей России патефоны поломал бы.

Уложил узлы в свою машину «эмочку», сел в последний раз за руль. Любил я ее. Без машины я знал только Макеевку, станцию Ясиноватую, город Сталино, а на машине на полтора километра вокруг Макеевки все места изъездил. Иногда в свободный день заведешь ее чуть свет и покатишь с женой и внуками к морю, в Мариуполь, искупаешься там, поваляешься на морском песке, а вечером — опять в Макеевке; пьешь на крыльце чай, и машина стоит рядом.

Она мне потом снилась. Нет, не в пути, не в поезде. В пути некогда было думать о машине, надо было думать о тех, кого я вез, кого доверили на мою совесть, на мою ответственность.

Сел в последний раз за руль. Ну, что же, раз такое дело. — ведь я не родился же с машиной.

В темноте, чуть освещая путь подфарками, подъехали к блюмингу. Состав был уже там. Кругом, куда ни взглянешь, — мрак, но завод еще действовал. Слышались удары паровых молотов, визг круглой пилы, режущей раскаленный металл, покрикивали невидимые паровозы, низко и ровно гудели доменные печи. Смотрел, смотрел туда, — там тоже ни зги. Неужели так и уеду, не забсжав к печам, не попрощавшись?

Но уже подходят люди, уже спрашивают:

— Кто начальник эшелона?

Надо исполнять обязанности. Я прошел вдоль поезда, осмотрел состав. В теплушках были устроены нижние и верхние нары; печки уже были сварены, уже установлены (эх, что для такого завода сто железных печек!), впереди стоял пульман угля и два паровоза под парами.

В поезде был один пассажирский вагон. Ключа ни у кого не оказалось. Я взял плоскогубцы, открыл дверь, занял купе. Опять заболело сердце, — ну вот, мы и на колесах. Прощай, прощай, Макеевка!

В другие купе я пустил по одной, по две семьи с самыми маленькими ребятами.

Вдалеке, над станцией Ясиноватая, встали и зашарили по небу лучи прожекторов. Потом забили зенитки. Нам было видно, хотя очень неотчетливо, как струями, будто из брандспойта, летели вверх красные и белые пули. Дошел тяжелый удар бомбы. Еще раз! Еще раз! Сначала в ночи всплескивалось пламя, потом, долго спустя, докатывался звук. Немцы бомбили Ясиноватую, крупнейшую распределительную станцию Донбасса, через которую предстояло ехать и нам.

А у нас, на путях блюминга, шла погрузка в эшелон. Этим занимались мужчины — отцы и мужья. — они отправляли семейства, а сами должны были еще задержаться, чтобы демонтировать и вывезти со следующими поездами оборудование.

Никто не спорил из-за мест. В полной темноте грузили молча, лишь изредка переговариваясь вполголоса. От одного к другому прошла весть: немцы ворвались в Мариуполь и теперь с тыла охватывают центры Донбасса.

Среди ночи затих блюминг; прокатные станы были остановлены; уже ниоткуда не слышались привычного лязга стали. И лишь доменные печи попрежнему шумели. Низкий гудящий звук стал еще более мощным, — так бывает, когда усиливаются дутье. Но, сколько я ни поглядывал туда, красноватых взблесков уже не появлялось. Давно кончилась бомбежка, замолкли зенитки, погасли далекие прожектора, а чугуна из печей не выпускали.

Время шло к свету. Все, кто уезжал с первым эшелоном, уже сидели по вагонам. Я принял продовольствие; вместе с паровозной бригадой проверил тормоза, простужал скаты. Из конторки блюминга позвонил директору:

— Поезд готов к отправке.

— Хорошо, Иван Григорьевич. Ясиноватая пока не принимает. Думаю, часа через два тронетесь. Ждите команды.

Я прошел по зданию блюминга. Душу давила тишина. Звук шагов отдавался от стен, от черных железных ставень, наглухо закрывавших окна. При свете больших электроламп слесаря и электрики почти бесшумно развинчивали двигательные механизмы.

На дворе помутнело. Неясно проглянули темные коробки смоляных цехов, черные окна. А доменные все гудели и гудели.

В вагонах люди сидели тихо, не ложась, не раздеваясь. Я походил, походил около паровоза, потом не вытерпел и сказал машинисту:

— Добегу до печей. В случае чего, — гуди мне. Дай длинный и короткий. Возвращусь в момент.

— На печак я застал ночную смену. Ее время кончалось, но никто не готовил цех к смене. Бросив инструменты, рабочие сидели и бродили около печей. Люди похудели, осунулись за одну ночь. В первую минуту никто не сказал мне ни слова, лишь мрачно взглянули.

Песчаная канавка, по которой выпускают чугуи, была на некотором протяжении аккуратно сформована, а дальше из кучи песка торчали лопаты. Я по привычке перешагнул канавку, чтобы не топтать. Но один из доменщиков крикнул:

— Чего берешь?

И большим деревянным башмаком наступил на пригравленные лопатой стенки.

Заглушая все, от печей несся низкий дрожащий рев. Под огромным давлением, которое явно было выше допустимого (я сразу определил это по звуку, еще не взглянув на приборы), в каждую печь сквозь двенадцать фурменных отверстий рвался раскаленный воздух. Шагнув ближе, я почувствовал, что чугунные плиты под ногами дрожат. Высоченная домна дрожала, как струна.

На шихтовой доске мелом были написаны цифры. Я взглянул и остановился. Такой шихты никогда не загружали, наверное, ни в одну домну во всем мире. Пропорции кокса, руды, известняка были такими, что в другое время у меня волосы зашевелились бы под шапкой. При такой шихте неизбежен «козел»: шлак и чугун теряют текучесть и немедленно застынут в печи огромным монолитом, который ничем не разобьешь, не расплавишь, который можно лишь кусками отрывать взрывчаткой. Это была шихта на «закозление».

Горновой прокричал мне в ухо:

— Восемь часов не выдаем ни чугуна, ни шлака.

Но было понятно и без объяснений, что горн сверх меры переполнен густой клочущей массой.

Я побежал в будку мастеров к приборам, но в этот момент рев дутья на одной печи оборвался. Она ухнула и еще сильнее затрепетала. Расплавленный чугун, скрытый за броней, с силой хлынул в фурменные рукава. Кругом все затряслось. Печь простонала, как живое существо, и затихла.

... Через несколько минут дежурный инженер выключил дутье на следующей печи. Загруженные материалы рухнули и внутри этой домны; печь, как мы говорим, «села», бурлящий чугун и тут равнулся в фурменные рукава, чтобы через некоторое время застыть, «закозлиться».

Все печи, одна за другой, были остановлены с «козлами». Когда пересекся рев последней печи, на заводе настала вдруг мертвая тишина.

В тишине кто-то шепотом выговорил:

— Боже мой!

Меня звали гудки. Я повернулся и побежал к поезду.

Иван Григорьевич помолчал. С верхней площадки мы смотрели на развороченный взрывами цех.

— Мы «закозлили» наши печи, — продолжал он, — а взорвали немцы. Они все собирались пустить хоть одну доменную, но так и не смогли. За двадцать два месяца они выплавили на мартеновских печак 1074 тонны стали. Это четвертая часть нашей нормальной дневной производительности. За двадцать два месяца они взяли с завода одну четверть того, что он давал за сутки. А уходя, все подорвали. Теперь мы восстанавливаем. Это веселее, чем губить. Вы приглядитесь к людям, как работают. Тимофею Векличеву почти семьдесят лет, а он и молодым показывает класс работы. Узнал понастоящему что такое родина!

— Расскажите, Иван Григорьевич, про это...

Коробов усмехнулся.

— Изволь, все ему расскажи в десять минут. Достаточно я с вами занимался. Пройти надо по работам. Приходите на квартиру вечером. Там и доскажу.

Нет надобности описывать подробности нашей вечерней встречи.

Мы сидели на крыльце квартиры Коробова. Взорванные печи были видны и отсюда. Много раз доводилось мне бывать в Макеевке, но в тот вечер я впервые чувствовал там запах акации. Два года трава и деревья Макеевки не вдыхали заводского газа; два года на зелень не садилась рыжая доменная пыль. Об этом зашел разговор.

— Сейчас женщины требуют, — сказал Коробов, — чтобы и завод пустить, и природу сохранить. Так наседают, что и не отвязнешь. Вынь да положь им сразу и природу, и завод. Оно, конечно, и выправду хорошо...

Он показал на пруд. Под легким ветром взбегали маленькие волны. Вечернее солнце отражалось там дорожкой золотистых взблесков, будто из тысячи зеркалец вылетали спящие зайчики. Два года назад в пруду не было ни одной рыбы, ни одной нити водорослей, на крошке берега всегда оседала неприятная маслянисто-черная жижа, а теперь взблески стали живыми, по цвету волны угадывалась прозрачно-голубоватая чистая глубь.

— Надо весь доменный газ, — продолжал Коробов, — забирать у нас на дело, чтобы не выходил на волю. Сейчас проектируем дать этот газ на квартиры всей Макеевки...

Мгновенно увлекшись, он стал объяснять проект. Потом улыбнулся.

— А ведь и с газом, с пылью Макеевка была для нас так хороша, как ничто на свете. Летом жена сорвет, бывало, веточку акации, моет, моет ее под краном и все приюхивается: не запахнет ли? Нет, не пахла. А на Урале мы развели всякие цветы, но жена один раз призналась, что все эти цветы отдала бы за одну заморенную макеевскую веточку. Тосковали по Макеевке... Э, как тосковали...

8

Один-два моих вопроса вернули Коробова к продолжению рассказа.

— Да, прирастает народ к месту, — произнес он. — Никому не хотелось бросать дом, имущество, завод, уходить неизвестно куда, где-то мыкаться.

Помню, как наш эшелон уходил по заводским путям мимо доменного цеха. У загубленных печей стояли горновые. Там все было покончено, но они не снимали брезентовых спецовок, не шли по домам. У меня не поднялась рука махнуть им на прощание. И нам никто не махнул.

В нашем эшелоне двинулись из Макеевки двести восемьдесят семейств.

На станции Ясиноватая мы простояли целый день. К вечеру туда подошли другие эшелоны из Макеевки. За один день на заводе сняли с фундаментов и погрузили стан 250, стан 300, две воздуховки, много машин и моторов. Около пятисот вагонов оборудования удалось вывезти с завода.

Ночью мы опять тронулись. Небо над Донбассом было красным. Где-то, как далекий гром, ударяли пушки. На одном повороте, откуда на минуту открывался город Сталино, мы увидели в воздухе динии трассирующих пуль. Поезд шел среди пальбы, среди пожаров. В вагонах все будто притаились.

С разезда Землянки всегда можно было разглядеть далекую Макеевку. Теперь там полыхали огни. Горел материальный магазин, горели склады масел, запасы кокса и угля.

Поезд прошел мимо, а мы все смотрели, не отрывая взгляда от взрывов огня, исчезающих за горизонтом, от зарева над покинутым заводом.

Но вот все слилось в багровом небе. Прощай, Макеевка!

9

— Минули сутки, еще одни сутки, поезд медленно продвигался на восток. Уже вокруг не стреляли, не бомбили с самолетов, ночи стали темными, без зарева.

На второй или на третий день пути мы узнали, что Макеевку заняли немцы.

Теперь для меня живой частицей Макеевки был порученный мне эшелон. На меня, как вы знаете, была возложена ответственность за двести восемьдесят семейств. Всех надо было накормить, всех доставить в целости.

Сбоку железнодорожного пути гнали и гнали на восток стада коров, гурты овец. Мясо было дешевое. Овцы не выдерживали долгих переходов, начинали хромать, их прирезывали и задешево продавали. Вместе с уполномоченными от вагонов я каждый день на станциях получал продовольственный лист для эшелона. На станции Дебальцево, еще в Донбассе, нам привезли на заводском грузовике несколько ящиков сливочного масла. Мне было сказано, что надо выдавать по 50 граммов масла в сутки на ребенка.

Но вот вопрос, кого считать ребенком? Решили так: до десяти лет считать детьми, а те, что старше, не будут получать детского пайка. Я объявил это на следующий день. Приходит матери, у которых сын или дочь подростки, спрашиваю:

— Сколько вашему дитю лет?

— Пятнадцать.

— Что вы? Ведь это взрослый парень. Я уже на заводе работал, когда был таким, как он. Не зачисляю его в детский список.

Мать, конечно, в слезы.

Ну, и принял же я горя с женщинами. В цеху с доменщиками было куда легче управляться.

На меня нападали, я отвечал:

— Чего вы бунтуетесь? Как вам не стыдно? Поглядите, как кругом люди мучаются...

Шла страшная война, шли времена великого народного страдания.

— Почему вы дали жене Михеева казенную стеганку? Давайте и нам...

Я объясняю:

— Вы же знаете, что на станции Алчевск, когда нас бомбили, у нее во время паники узел с одеждой пропал. Ей не во что одеться.

Одна женщина до того разнервничалась, что чуть меня не отколотила. Что с ней делать? Как ее винить, — ведь столько переживаний, столько горя!

На небольшой станции, около Пензы, я созвал всех своих женщин на собрание. Пенза очень туго принимала эшелоны, на станционных путях стояли составы с такими же, как мы, эвакуированными. Изредка проходили встречные воинские поезда.

Выдалась ранняя зима. Но у нас в Макеевке, на юге, в такое время года, в октябре-ноябре, никогда не подмораживало. А в этих краях уже лежал тонкий снежок; ветер гонял его по мерзлому полю, по путям. За насыпью горели сотни ску-

пых костров, будто в таборе; незнакомые люди, с которыми у нас была одна судьба, присев у костров, что-то варили.

Мы собралась недалеко от своего эшелона. Я немного поднялся по насыпи. Кругом меня на этом полустанке, где-то посреди России, стояли макеевские женщины, — одетые по-зимнему, в теплых платках, за дорогу постаревшие, потемневшие лицом. Некоторые присели на камнях, на песке насыпи.

Я сказал им:

— Какие вы люди! Всем недовольны, ко всему придираемся. Поезд стоит долго, — мы недовольны: почему долго? А если уходит со станции скоро, — тоже недовольны: почему скоро ушел, ничего купить нельзя. Масло и белый хлеб постановлено выдавать только малолеткам, а вы и семнадцатилетних в десятилетние записываете. Я же не Моисей, который вывел евреев из Египта, сказал, чтобы была манна, и дождем пошла с неба манная крупа. А надоела манна, — стали с неба сыпаться перепела. Я не Моисей и этого сделать не могу.

Многие тут засмеялись. Некоторые брали слово и говорили:

— Правда, ведь едем не голодные, едем в тепле. Чего еще нужно? А мы ругаем Коробова, ругаем кого попало, вместо спасибо.

Все говорили по-доброму, ко мне относимся уважительно. Так вели мы речь своим кружком где-то посреди России, и мне опять вспомнилась Макеевка.

Я еще сказал женщинам так:

— Вы со мной спорили и ссорились из-за всяких мелочей. Я за это вас стыдил. А знаете ли вы, что иногда в душе мне было радостно, когда вы нападали на меня, требовали с меня? Заспоришь иногда и кем-нибудь до крика, а сам думаешь: как хорошо, что женщина может вот так доказывать свое, требовать, поднимать голос! Ведь мы у себя, это — своя сторонка, это — родина. А как теперь наши в Макеевке? Разве там поднимаешь голос, разве скажешь немцу: это неправильно, несправедливо? Отняли там у людей родину.

И закончил так, как и сам не ожидал:

— Ладно, женщины, ругайте меня. Нападайте на меня и дальше, требуйте всего, хотя я и не Моисей. Это большое наше счастье, когда женщина может высказать тебе в глаза все, чем недовольна.

Женщины стояли тихо. Никто не засмеялся.

10

— В пути было столько происшествий, что, если все описывать, на целую книгу бы хватило.

Ехали мы, как я вам говорил, своими паровозами. По дороге у одного паровоза потекли трубы и расплавились подшип-

ники. Кое-как добрались до Куйбышева. Там есть ремонтное депо. Погнал механик в депо наши паровозы, пришел оттуда ко мне и говорит:

— В депо отказываются ремонтировать. Нет рабочей силы. Может быть, дней через пять — шесть сделают.

Взял я и пошел в депо.

— Здравствуйте, ребята!

— Здравствуйте.

— Кто тут у вас бригадир?

— Я.

— Вот в чем дело. Мы едем с Донбасса, везем оборудование, женщин и детей. Надо дать ремонт одному паровозу и другой посмотреть. Придется вам, ребята, оторвать часы от отдыха, поработать ночью. К утру сделаете? Не обманете?

— Не обманем, дед.

В Куйбышеве мы повеселели. Через каждые полтора-два часа там проходили воинские эшелоны на Москву. На платформах стояли грузовики, орудия, танки. Из теплушек выскакивали красноармейцы, — подтянутые, молодые, справно одетые-обутые. Все у них под-жозырек, все «разрешите».

— Разрешите, товарищ девушка, попросить вас спясть с нами.

— Что вы? Какая я девушка?

— Виноват, если не так назвал. Просим к нам. И вас... И вас... Пойдемте танцевать с бойцами.

— Что вы? Какие теперь танцы? Да мы и не умеем.

— Не умеете? Откуда вы?

— С Макеевки.

— Не может быть, чтобы макеевские девушки не танцевали.

— Говорят вам, мы не девушки.

А сами уже расцвели, улыбаются, стараются незаметно поправить неприбранные волосы.

— А для нас — девушки. Пойдемте! Мы едем немца бить, а вы отказываетесь.

— А побьете?

— О! Видали, какая идет сила! Куда он от нас денется?

И препорученные мне макеевские матери и жены, сразу помолодев на десять лет, смеялись как-то по-особому, по-женски, — кажется, первый раз за время пути я услышал у них такой смех. На перроне играли гармонисты, по асфальту отбивали дробь в пару с бойцами плясуньи со всех эшелонов. Макеевку мои не посрамили. Ребятишки высыпали из вагонов, смотрели на бойцов во все глазенки, — ничем не оторвешь.

Да, в Куйбышеве отлегло от сердца. Воинские эшелоны проходили днем и ночью. Давно стемнело, на станции горели фонари, — тут, в глубине страны, не требовалось светомаскировки, — а наши женщины и наши мальцы не возвращались по вагонам: все встречали и провожали, встречали и провожали бойцов.

Чуть свет меня вызвал комендант станции. — седоватый военный, строгий, худой, в очках. В его помещении еще горело не потушенное с ночи электричество. Взглянул на меня искоса.

— Ваши документы?

Я предъявил.

— Чьими паровозами вы следуете?

— Своими.

— Это ваши паровозы в депо ночью ремонтировались?

— Мои.

— На каком основании вы так поступаете? Почему нарушаете государственный порядок? Вы срываете нам план ремонта. Это преступление. Я заберу ваши паровозы.

— Как так заберете? А на чем же мы поедим?

— Поедете, как все. В очередь. На линейных паровозах.

— Нет, вы наши паровозы не возьмете. На это нет моего согласия.

— Вы должны подчиниться! Заберу за нарушение.

— Не признаю никакого нарушения! Не сдам документы на паровозы, и делайте со мною, что хотите.

— Мы вас арестуем.

— Не имеете права арестовать. Я везу женщин и детей.

— А вы имеете право срывать наш план?

— Я сам рабочий...

— И я рабочий. Ты, брат, тут своих порядков мне не устанавливай. Мне паровозы нужны вот для чего...

Он показал в окно, перед которым стоял на путях эшелон с пушками.

Стоим мы друг против друга, он кричит на меня, я кричу на него, и вдруг опять мне стало радостно. Как хорошо, что мы можем яростно спрашивать: «имеете ли право?» Да, есть у нас право, закон, справедливость. Мы спорим о государственном деле, спорим на русском языке в русской стране. Опять всей душой я почувствовал, что ведь это же — все, что происходило в той комнате с непотушенной лампой, — это родина, своя земля, своя сторона.

И снова подумалось: а как теперь в Макеевке? Поспорил ли там с немцем? Скажешь ли ему: «не отдадим, это наши паровозы!»? Понимали ли мы раньше, какое счастье в том, что можно произносить — с гневом, с раздражением. — эти три слова: «не имеете права!»?

Нагорячились, накричали мы, а потом отошли, стали беседовать мирно. Комендант спросил:

— Что вы так отстаиваете свои паровозы? Не все ли вам равно, на каких ехать?

— Вот это здорово! Отдай жену дяде...

— При чем тут жена? И эти парово-

зы государственные, и те государственные...

— Нет, брат, то паровозы наши, макеевские. Ежели ты рабочий, то должен понимать. Мы за ними ухаживали, мы их берегли и бережем. Это наше оборудование. Сзади еще идет много наших паровозов и пятьсот вагонов. Может, раскинем на Урале новую Макеевку. Но мечта, брат, не об этом.

— А о чем?

— О том, чтобы на своих же паровозах в свою Макеевку обратно воротиться. Там каждый паровоз вот так будет нам нужен. А ты хочешь отобрать... Лучше задержи наш эшелон, ежели я виноват, а паровозы нам отдай.

И он отдал. Пробрал меня еще раз для порядка, но отдал.

11

— Об Урале много рассказывать я не буду.

Седьмого ноября, в годовщину революции, наш эшелон прибыл к месту назначения — в город Тагил. Пришлось побегать, пока я разыскал председателя горсовета. Для праздника я у него разжился водкой, конфетами, мешком сахару, двумя бутылками сельдей и все это роздал народу. Мы справили праздник в эшелоне.

В Тагиле два завода — Старо-Тагильский и новый, современный. Квартир для нас ни на одном заводе не было, долгое время мы жили в вагонах, но потом все как-то разместились.

Я думал, что мне, как многим другим макеевцам, придется работать в Тагиле, но нарком вызвал меня в Свердловск и сказал:

— Ты, Иван Григорьевич, поработай по всему Уралу. Будешь ездить с завода на завод, усматривать неполадки по доменному делу.

И стал я ездить по заводам. Где только я ни побывал! В Салде, в Кушве, в Алапаевске, в Серьгах, в Чусовой, в Первоуральске, в Верхнем и Нижнем Уфале, — ну, в общем, ежели все уральские заводы вспоминать, то весь этот лист испишем.

Впечатление такое: многие заводы примитивные, старинные, доменные печи очень маленькие. Я, конечно, не говорю про Магнитку, который выстроен и пущен во время войны. Это гиганты, покрупнее южных. Там с первого дня стройки работали металлурги юга. Но в сорок первом году в десятках эшелонов на Урал сразу прибыли новые сотни и тысячи инженеров и квалифицированных рабочих юга. Их разместили по небольшим заводам Урала.

И вот, — куда ни приедешь, везде встретишь знакомых, везде порасставлены южане. На Старо-Тагильском заводе директором стал Гончаренко, главным инженером — Гречуха, оба с Енакиева, начальником доменного цеха — Шумаков, наш макееев. На Алапаевском заводе директором стал Комов с Азовстали, главным инженером — Киреев, тоже с юга, наш. Директору Макеевки Кротову был препоручен Чусовской завод. Так почти по каждому заводу,

А как нарочно зима сорок первого года оказалась очень суровой. Заводы работали плохо, и некоторые иногда кивали на нас:

— Вот, пожалуйста.. На юге у них, может быть, дело плод, а в уральских условиях они ничего не смогут.

Однако на весну дело стало подлаживаться; старинку поломали, заводы стали работать лучше, а затем и вовсе хорошо, постоянно с перевыполнением.

Заводской народ, как и народ на фронте, думал и переживал, был воодушевлен патриотизмом. Во время войны все стало строже на старых уральских заводах: опрос с рабочего, контроль, оплата труда по результатам. Везде повыветрили, повывели благодушную старинку.

Повывели на многих заводах и тяжелый труд каталей. В Старом Тагиле, в Чусовой, на Уфале, на Серьговском заводе и в других местах построены наклонные подъемники: загрузка теперь идет там механически. Механизированы и другие работы.

Про уральцев я скажу так: это труженики. Суровые, упорные труженики и вдобавок замкнутые. Ты ему сто пятьдесят слов скажешь, пока он одно слово тебе ответит. Даже выпивают, и то молча. Но все-таки мы с ними сработались, они признали нас работниками.

Любят они свой Урал. И мы его полюбили. Что говорить, — местность, действительно, богатая. Всюду горы, леса, быстрые реки. Сурово, дико, но красиво. Где-нибудь встанешь и глядишь, любишься природой. Но долго не прстоишь — очень много комаров. Терпения нет от комаров.

Охота там хорошая, — в лесах не только глухари, тетерева и рябчики, но есть и медведи, олени, лоси. Везде слишком глухо. Поэтому на охоту ходить там жутковато. Я лично не ходил, — боялся, что можно заблудиться.

Богат Урал своими недрами. Вам это известно; — там и золото, и платина, и вольфрам, и медь. Это цветущий край. А то ли еще впереди? И все-таки мне было там не по себе. Пусть на Урале живут мои сыны и внуки, а я милей Макеевки нигде места не нашел.

12

— Хотите, чтобы про сынов я рассказал? А вы лучше лично их порасспросите, — пусть сами отвечают. А то скажу что-нибудь без политики, а потом мне же от них влетит. Это у нас уже бывало.

Ну, что сказать?

Илья работал во время войны заместителем главного инженера и начальником доменного цеха в новом заводе, который воздвигался около Челябинска. Площадка была очень хорошая, и строился прекрасный завод. К стройке приступили после начала войны, а теперь, через два с половиной года, там уже в ходу две доменные печи и много других цехов.

Теперь он воротился на свой пост в Днепропетровск. Восстанавливает там завод. Грозится, что заведет устройство поудобнее, чем в Макеевке. У него свои чертежи, он всю войну их чертил в Челябинске. Но ведь и мы не просто восстанавливаем копию Макеевки, а с улучшением. Поглядим, кто кого осилит, где ходчее пойдет дело — у него или у нас, в Макеевке. Теперь о Николае. Вы его знаете — это мой средний. Он у меня тихий, молчаливый, в мать. До войны он работал профессором металлургии и в 1940 году был назначен на большую научную должность — директором Гипромеза¹.

Недавно он мне сказал: «Первый раз за все годы, как я стал работать в металлургии; у меня на душе полное удовлетворение».

Вот ведь вышла какая удивительная вещь! Со стороны многие, наверное, думают: во время войны на заводах стало еще больше спешки, горячки, нервничания, крика; везде нехватки, простои; рабочие все это одолевают отчаянным напряжением сил, в этом де народный героизм.

Ан нет! Во время войны, — правда, не сразу, а приблизительно на второй год, — мы наладили заводское дело так, что и профессор мой доволен. Конечно, питание стало послабее, рабочий день длиннее, но работаем спокойно, не с колес; работаем, как велит наука.

Вы приглядитесь, как мы здесь доменную печь пускаем. Очень спокойно, все нам обеспечено, за всю революцию никогда так не пускали.

13

Ну, очередь за Павлом.

От правительства недавно ему была оказана высокая честь. Он теперь у нас

¹ Гипромез — Государственный институт по проектированию металлургических заводов.

Герой Социалистического Труда, имеет на груди золотую звездочку. Павел получил эту награду в один день с Молотовым, с Микояном, с другими нашими руководителями. И в газетах их портреты были рядом напечатаны.

За что получил? Ей-богу, лучше бы вы у него спросили. Ведь не я же получил, а он, — чего же я буду вместо него рассказывать? Может, избавите?

Видите ли, тут было такое дело. Магнитка в начале войны работала плохо. Откровенно сказать, — очень плохо. Армия потеряла много техники, каждый рабочий получал с войны письма от сынов или от других родственников, и во всех письмах бойцы просили танков, пушек, минометов, металла, металла, металла. От Магнитки требовали: давай, давай, поднимай выплавку, а вместо подъема производство там упало.

Все, кажись, стараются, кладут силу, бьются, а дело расклевывается.

Выезжали туда разные комиссии, нарком целый месяц там сидел. Удавалось подтянуть выпуск немного кверху, а потом опять срывались. Стыд и горе!

В феврале 1942 года директором Магнитки был назначен мой Павел. До этого у него была должность другая: первый заместитель наркома металлургии.

Он после мне рассказывал так. Позвали, говорит, меня и сказали: надо, чтобы в Магнитке постоянно пребывал заместитель наркома. Поезжайте и командуйте, поднимайте дело. Но Павел отстал:

— Не посылайте меня в Магнитку как заместителя наркома. От этого будет мало пользы. Когда я приезжаю на завод как заместитель наркома, то куда бы я ни пошел, — в цех или в контору, — за мной целая свита. И директор всюду должен меня встречать и провожать. Это не годится. Директор должен быть директором. Если в Магнитке я должен быть хозяином, то разрешите мне ехать туда директором завода.

В конце концов так и порешили.

Я приехал к нему в Магнитку через полтора месяца после этого, и он мне сказал, что дело, слава богу, понемногу налаживается. Я, конечно, у него спросил, что же он сделал, с чего начал? Спрашивал и у рабочих. Конечно, производство дело сложное, и обо всем не расскажешь. Здесь упомяну только об одном. Наше правительство учит заботиться о рабочих.

Прежнее руководство было тоже очень старательное, всю силу отдавало заводу, можно сказать, убивалось на работе, но не вникало: а как питание у рабочего? А на фронте, — об этом я много раз слышал от бойцов, —

на фронте у хорошего генерала всегда первый вопрос: «ну, ребята, как питание?»

Павел мне рассказал, что, как только он приехал, то первым долгом обратил заботу на питание. В тот год там как раз был неурожай картошки. Павел выпросил у правительства тысячу тонн картошки. Шутка ли, — это ведь миллион килограммов. И роздал рабочим для посадки, — по пятьдесят, по семьдесят, по сто килограммов, кто сколько заслужил. Народ сразу повеселел. Потом он завел рыбную ловлю на ближних и даже на дальних озерах, получил от правительства тысячу свиноматок и развел громаднейшее свиноводство.

Когда я приехал к Павлу на Магнитку, у него дома на столе лежала маленькая книжка — сочинение нашего знаменитого полководца Александра Васильевича Суворова. Я ее по вечерам читал, в ней написано много замечательного. На службе у командира должно быть жесткость, но и доброта. К солдату всегда надо быть относительно, относиться человечески. Солдат — это самое большое звание. Все это сказано про армию, но и к производству точь в точь подходит. Я до сих пор жалею: как я эту книжечку в карман не захватил. Потом, без меня, Павел ее кому-то отдал.

У него во всем такой подход. Скажем, на доменной печи или где-нибудь в другом цеху работа идет плохо. Павел приходит и спрашивает у начальника цеха:

— Говори, что тебе нужно, чтобы поправить дело?

Вслушает, запишет, потом приложит старание и все даст человеку для работы. Приходит второй раз:

— Ну, еще что тебе нужно?

И второй раз даст, что нужно. Приходит третий раз.

— Все имеешь? Ничего не нужно?

— Спасибо, Павел Иванович. Ничего не нужно.

— Ну, брат, теперь давай работу.

А ежели не сработает и после этого, — тут Павел жесток. Я его отец; кому и знать, если не мне, какое мягкое у него сердце, а случилось, что и я его не узнавал. У него есть словечко «барахольщик». Так он называет тех, кто не исполняет своего дела, у кого голова и совесть не отданы заводу. При разговоре с «барахольщиком» он не кричит, не стучит по столу, но что-то чувствуется в нем такое, что и мне делается страшно, хотя я нахожусь в сторонке. От него тогда идет что-то невидимое, вроде как от накаленного железа. Какой, думаю, страшный человек. Одно слово, — беспощадный! И он, действительно, нака-

жет за недобросовестность. Вот и посудите. Ежели даже и меня в таких случаях пробирает не то холод, не то жар, хотя я не при чем, то каково же «барахольщику»? И, знаете, вовсе не все «барахольщики» оказывались обязательно пропащими. Многие менялись. Находил человек в себе силы, собирал все в горсть, — это часто бывает при последней крайности, — и исправляясь, исправлял дело.

На Магнитке Павел завоевал большой авторитет тем, что вникал в быт рабочего, в человеческую жизнь. У нас есть директора, которые по две недели рабочего не принимают. А у Павла заведено: как бы он ни был занят, а должен найти в сутках один час, чтобы прийти к рабочим. К нему шли в кабинет и даже домой с просьбами и нуждами.

Ну, и дело пошло. Постепенно Магнитка стала выполнять план свыше ста процентов. И теперь так выполняет.

Полгода Павел пробыл на Магнитке, а потом воротился на свою должность, обратив первым заместителем.

Оно, конечно, геройства во всем этом, как будто, нет.

А, может, и себя должен виноватить: прозевал как-нибудь это. Я же заранее говорил, что не сумею тонко обрисовать про Павла. В общем, дали великую награду, присвоили Героя, — а в чем было в точности его геройство, это вы постарайтесь из него самого вытянуть. Только надо приступить с подходом, — мне, например, он этого так и не сказал.

14

— В ночь на пятое сентября 1943 года мы услышали по радио, что Макеевка занята Красной Армией, освобождена от немецких захватчиков. Все взялись звонить друг другу по телефону, поздравлять с Макеевкой. Звонили даже по дальним линиям, с завода на завод.

Мне еще днем позвонил Николай из Свердловска, сказал, что вылетает в Макеевку. Я подумал, что он шутит.

— Куда же ты полетишь, когда Макеевка еще не взята.

— Ничего. Сегодня ночью услышите, что ее взяли. Пиши, отец, письмо макеевцам.

Но я все-таки не верил, пока не было объявлено по радио. А как услышал, то меня вдруг затрясло. Помните, я вам рассказывал, как дрожала у меня рука, когда было объявлено об эвакуации. Так и теперь — трушуся и все. Полчаса или, может, больше не мог совладать с дрожью. Тут же ночью я добился, дозволился до Москвы, до Павла.

— Павел! С Макеевкой тебя! Правда, что Николай уже полетел туда?

— Правда.

— Павел! И я прошусь! Разреши поехать.

— Обожди немного. Поедешь дней через десять. Надо оформить разрешение. Ожидай, тебе будет телеграмма.

Прошло десять дней, — телеграммы нет. А, напротив, пришло распоряжение наркома, чтобы я выехал в Верхнюю Синячиху по проверке углежжения: дознаться, докопаться, почему заводам слабо поступает уголь. Я опять позвонил Павлу:

— Что же это? Когда же я в Макеевку?

— Ничего. Вернешься из командировки и поедешь.

Я проездил почти целый месяц, потом вернулся, и опять для меня никакой телеграммы. Еще раз позвонил Павлу. Он сказал, что нарком пока не хочет отпускать меня в Макеевку.

— Придется, отец, еще немного подождать.

— Как так? Нет у меня мочи ждать.

— Потерпи. Ничего не поделаешь.

Я походил, походил около телефона, как тигр в клетке, и... Э, будь, что будет. Взял трубку и позвонил наркому, товарищу Тевосяну.

Ну вот, — еще про наркома вам рассказывай!

Мы, простые люди, называем его попростому, Иван Федорович.

Позвонил я ему, поздоровался, рассказал про дрова, про углежжение, про всю работу, а потом спросил:

— Товарищ нарком, когда же я в Макеевку поеду?

— Там, Иван Григорьевич, тебе делать еще нечего. Доменные печи пока не восстанавливаем. Подвозим оборудование и материалы. Не поедешь же бездельничать.

— Товарищ нарком, мне хотя бы посмотреть. Разрешите, я съезжу, посмотрю и сразу же обратно.

— Ну, это можно...

Уже шел декабрь. На Урале стоялそろкаградусный мороз. Было солнечно. Снег до того блестел, что приходилось жмуриться. В такой день я выехал.

15

— Опять миновал я пол-России, но уже скорым поездом. Когда начался Донбасс, то от окошка я уже не отходил. Поезд шел через Ворошиловград, Лисичанск, Енакиево. Впечатление было подавляющее. Все станции разрушены, вместо зданий валялся битый кирпич. Только Енакиевская станция, одна единственная, была цела.

Все встречные составы шли порожняком. Подумать только, — из Донбасса,

из угольного Донецкого бассейна, где шахты и заводы всегда тужили о порожняке, шлаи и шлаи пустые составы. Но это немного и порадовало: ого, сколько гонят в Донбасс метала, леса, машин, продовольствия; ого, сколько мы даем сюда.

Здесь декабрь был мокрым, с неба текло, земля размокла. Я хотел слезть на станции Землянка, но было слишком грязно, я побоялся, что где-нибудь увязну, не дойду. Решил доехать до станции Сталино, а оттуда — как-нибудь машиной.

Много раз я бывал на этой станции, но когда сошел, то потерялся. Стою и не знаю, в какую сторону итти. Ничего от станции не осталось, — ни одного здания, ни одной будки, лишь кое-где мокли под дождем разбросанные глыбы кирпича, еще связанного цементом.

В городе я разыскал представительство Наркомчермета, и меня на машине подбросили в Макеевку.

Странной она мне показалась. Я приехал в сумерках, около шести часов вечера. На улицах — ни души. Дома серые, обшарпанные, на тротуарах и на мостовой валяются упавшие с крыш мятые листы железа. — будто, и не живет никто. Смутно так, печально.

Я проехал по городу. Цирк взорван, самые лучшие здания взорваны. Отвсюду я смотрел на завод. Там тоже все тускло, печально. Раньше, при светомаскировке, завод тоже был темным, но в темноте там что-то двигалось, шумело, а теперь была безжизненная тусклота. Только над мартоном иногда появлялось маленькое зарево. Я сказал шоферу повернуть из центра на заводскую колонию. Подъехали к моей квартире. Дверь сорвана, все настезь. Внутри пусто, стены обшарпаны, грязь, холодно, жутко. Вышел на волю, поглядел по сторонам. Соседние дома тоже разорены, тоже без дверей, без стекол. Постоля, подождал: не пройдет ли где человек, не слышу ли шаги? Нет, не слышать.

Куда же итти? Отправился в главную контору. Там в коридорах ярко горело электричество, а в кабинете директора происходило совещание. Я отворил дверь и вошел.

Совещание вел наш Кротов, тот самый, кто и прежде был директором Макеевки. К нему собрались главные люди завода. Народу было, конечно, поменьше, чем на таких же заседаниях раньше, — многим старшим командирам Макеевки еще не позволили выехать с Урала.

Директор увидел меня.

— А, вот и Иван Григорьевич.

Он показал на меня рукой и засмеял-

ся. На минуту сам собой получился перерыв. Со мной стали здороваться, приветствовали, шутили. И только тут дошло до души, — ведь я же в Макеевке. Ведь это тот же кабинет, куда меня вызвали вечером девятого октября 1941 года. Это тот же директор, который тогда кратко сказал: «Завод эвакуируется. Первым эшелоном сегодня в ночь отправляются женщины и дети». Сейчас он улыбается — тридцатипятилетний, ладный, энергичный. У него блестят глаза. Что говорить, — красивый парень. Да и я тут не из последних. На мне была хорошая одежда — кожаное пальто, суконная фасонистая кепка. Я поправил усы, немного выпятил грудь. Стою и смеюсь вместе со всеми.

Директор сказал:

— Ну, хватит, хватит.. К делу! Садись, Иван Григорьевич.

Один инженер, старинный знакомый, пригласил меня переночевать, а рано утром, чуть развиднелось, я пошел в завод.

16

— Опять накрапывал дождик, земля совсем распустила губы. Я опять видел серые дома, с которых кусками поотстала и обвалилась штукатурка, но настроение у меня было другое, чем вчера в сумерках. Я загваздав в грязи сапоги выше головок, но даже и это было мне приятно. На Урале в дождливое время ноги скучали по донбассовскому месиву. На Урале этого нету, — вода скатывается, ноги не вязнут. Когда мы жили в Макеевке, то из года в год ругали макеевскую грязь, заасфальтировали главные улицы, но в то утро меня не тянуло на асфальт.

В доменном цехе меня обступил народ. — Здравствуйте, Иван Григорьевич. Вы, оказывается, живой, а тут при немцах печатали в газетах, что вас бомбой разорвало.

— Живой, ребята. Что мне сделается?

— Да еще и помолодеи.

— А что вы думаете? На Урале мороз сорок градусов, воздух здоровый. Не те, что тут — всю зиму дождь да грязь.

Я похваляю Урал, а самому все тут мило: и дождь, и ветер, и ржавое враное железо, которое просит рук, и знакомые люди, макеевские доменщики, которые прожили вместе со мной на заводе по тридцать и по сорок лет. Но они изменились. Стали какими-то худыми, старыми, бородастыми.

— Конечно, — говорю, — помолодеи. А вы чего же не поехали? Схлохобали вы, ребята, что остались..

Я сказал это не со зла, но смотрю:

люди потушились, будто в чем-то виноваты. А Тимофей Вежличев сказал:

— Эх, Иван Григорьевич.. Сейчас-то мы уже немного отошли, поправились. А приехать бы тебе, когда немец отступал, вот посмотрел бы, какие тогда мы были. Согнуло нас при нем. Да, мы и сами старались быть стариками; ходили скрючившись, запустили бороды, чтобы в Германию не угнал. Прятались от него, жили в погребах. Забьешься куда-нибудь в дыру и кусаешь пальцы. А что больше кусать? Хлеба-то никто нам не давал.

Бы Тимофея видели? Теперь он снова вошел в тело, посвежел, стал бриться. Когда он проходит ночью мимо моих окон, я опять узнаю его по шагам, опять слышу, что идет тяжеловес.

17

— Вот что было в Макеевке при немцах. Через несколько дней после того, как немцы вступили в Макеевку, они собрали в цирке митинг. Выступил один ихний офицер, который мог говорить по-русски, и стал завлекать молодежь в Германию. Он говорил так: каждому молодому человеку интересно побывать за границей. С каждым желающим будет заключен договор на один год, проезд туда и обратно бесплатный. Завтра открываем запись. Запись у немцев означала насильственное принуждение.

Два эшелона мобилизованных парней и девушек уехали из Макеевки в Германию. Но оказалось, что туда-то проезд, действительно, бесплатный, а обратно ходу нет. Через две-три недели в Макеевку прибыли и первые письма из Германии. В этих письмах многое было сказано притчами, чтобы не разобрались немецкая цензура, но отцы и матери разобрались. Оказалось, что наши малыши живут за колючей проволокой; их гоняют на работу и с работы под конвоем; кормят не маслом и не белым хлебом, а баландой, болтушкой для свиней; за всякое неподчинение бьют резиновыми палками или расстреливают.

Били рабочих и в Макеевке. Всем было приказано выходить на работы. Немцы гоняли людей грузить оставшийся на складах металл для отправки в Германию.

Порядки на работе были такие. Заметит немец, что плохо стараешься, и бьет резиновой палкой или просто сапогом под зад. А однажды был такой случай. Немец-надсмотрщик куда-то отошел, и рабочие сели отдохнуть, перекурить. Но из окна главной конторы их увидел директор-немец. Он стал на них кричать, а им не слышно. Тогда он взял у караула винтовку и из окна начал стрелять по рабочим.

Молодежь попыталась бороться, дать отпор. Один парень закричал на немца, когда тот замкнулся палкой:

— Не смей! Не имеешь права, сволочь!

Но какие тут права? Люди все потеряли вместе с родиной. Немец хотел застрелить на месте того, кто взбунтовался, но рабочие оттянули и спрятали парня.

Начались массовые расстрелы и казни. Расстреливали в городском саду, не позволяя убирать тела. Вешали на главной площади. И все молодежь, молодежь.

Притихла, помертвела Макеевка. Народ стал прятаться и разбегаться.

Немцы взяли заложников, в том числе и моего однофамильца Михаила Коробова. Подержали их месяца два, а потом высылали каждому по пятьдесят шомполов и отпустили. Когда Михаил Коробов выскочил на волю из-под стражи, то подался за тысячу километров от Макеевки. Он пробрался в Орловскую область, в деревню Плещейкино, откуда мы оба с ним родом, и, скрываясь от немцев, прожил там у родных.

Старики приготовились все перетерпеть, но под немцем и для них стало нестерпимо. Все, кто мог приткнуться в деревне, побежали из Макеевки, побежали от палки, от голодной смерти, от расстрела.

Теперь, день за днем, они, старые макеевцы, возвращаются к заводу из разных краев и областей.

А многим некуда было бежать: все корни пушены здесь. Целыми обозами за 300—400 километров макеевцы ходили добывать хлеб. Соберут всякие монатки, запрягутся, подобно лошадям, в самодельные двухколесные тележки и идут, идут по пыли, по снегу или по грязи в Таврию или Приднестровье, идут, выбирая проселки поглуше, чтобы, не дай бог, встретиться с немцем. Умиряли, замерзали дорогой. У моего двоюродного брата жена родила в таком походе, и ребенок замерз.

А ежели вдруг на дороге покажется немецкая машина, то тут — «спасайся, кто может!» Люди кидались в канавы, в рожь, в кусты, бросая добро, только бы сохраниться от немца, потому что он всякого мог пристрелить без суда и без закона, просто за то, что ты идешь без разрешения по дороге.

18

— При наступлении наших войск немцы жестоко сопротивлялись в Донбассе, не хотели отдавать это богатство.

Но подошел день, когда в Макеевке был вывешен приказ: всем до единого жителям, старым и молодым, уходить с немцами. На заводские пути были поданы

два состава товарных вагонов, жителям велели собираться туда. Полицейские ходили по квартирам, по дворам и выгоняли людей.

Народ стал прятаться. Но в доме прятаться страшно: при отступлении немцы зажгут дома. В погребах или где-нибудь около домов тоже страшно: полицейские везде обшаривают, обыскивают.

И побрели люди к эшелонам на заводские пути. Побрели из-под палки, словно и вправду подчинившись. Но на заводе каждый исчезал, будто под землю. Люди ускользали в подземные трубы, в туннели, в колодцы нагревательных печей. В лесу так не спрячешься, как на заводе. Но отсиживаться в этих потаенных местах боялись: все знали, что немцы будут взрывать завод.

И вот разными путями люди выбирались на край завода, а оттуда в поле. Был сентябрь, на полях еще созревала кукуруза, и там по широкому склону прятались люди. Кукуруза всех укрывала.

Ни один человек не сел в поданные немцами вагоны. Ни один! Немцы даже не стали убирать пустые составы, а со злобы подорвали на месте, на путях. Потом начали взрывать цеха.

А наши сидели в кукурузе, все слышали и видели. Слышали, как приближалась пальба. Видели, тайком выглядывая, как немцы, отстреливаясь, убежали.

И тут вышел такой случай. На гребешок балки выскочили галопом красноармейцы на конях. Люди в кукурузе закричали:

— Наши, наши!

Но немец саданул из пулеметов по первым появившимся красноармейцам. Это, наверное, была разведка. Бойцы повернули коней и скрылись за склоном.

И вдруг в один момент желтоватое кукурузное поле стало черным. Только что ветер ходил по ниве, поле казалось пус-

тынным, и вдруг почернело от людей. Им показалось, что Красная Армия отходит, они кинулись догонять красноармейцев.

Кругом свистели пули, немцы нарочно направили пулеметы на жителей, немало людей было убито, но каждый был согласен пробежать под пулями, только бы не остаться под немцем.

Тимофей Векличев бежал со своей старухой так, что заночевал только на станции Иловайская. Отмахал тридцать километров от Макеевки.

19

На этом Иван Григорьевич закончил свой рассказ.

Солнце уже скрылось. В быстро меркнущем небе смутно вырисовывались темные контуры завода.

— Чуете? — сказал он. — Запахла ночная фиалка.

Да, из маленького сада у квартиры Коробова дошел тонкий нежный аромат. Такого запаха, как и медового духа акации, я никогда здесь не знавал.

— Теперь народ осмелел, опять стал требовательный, — продолжал Коробов и довольно засмеялся. — Требуют вот, чтобы всегда так пахло... Вот и ломаем голову, чтобы и завод был, и фиалки...

Иван Григорьевич с шумом втянул воздух. И проговорил:

— Хорошо как...

Недалеко от нас по асфальтированному тротуару, окаймленному цветущей акацией, шли под руку, прогуливаясь, несколько девушек в светлых платьях. Быстрой деловой походкой их обогнал военный. Мы услышали:

— Виноват... Я вас не толкнул?

— Ничего. Пожалуйста.

И над улицей Макеевки, столько пережившей, разнесся женский смех. Коробов смотрел туда с улыбкой.

— Родина, — сказал он.

ВЛАДИМИР ЛЕОНТЬЕВИЧ КОМАРОВ

Академик И. МЕЩАНИНОВ, А. ЧЕРНОВ



I

Семидесятипятилетие со дня рождения В. Л. Комарова и пятидесятилетие его научной деятельности — большой праздник советской и мировой науки. Оглядываясь назад, видишь, как далеко пошла наша наука вперед за столетие и в то же время как преемственно связано ее настоящее с прошлым. Вся деятельность Владимира Леонтьевича — сочетание старых, славных традиций русской науки с непрерывным поступательным движением ее, ломающим отжившие традиции. Это сочетание, характерное для передовой науки, явственно чувствуешь не только при чтении трудов В. Л. Комарова, но и при личном общении с ним. В. Л. Комаров — один из корифеев современного естествознания, крупнейший исследователь азиатской флоры, президент Академии Наук Советского Союза, государственный деятель. И наряду с этим Владимир Леонтьевич — обаятельный человек и, в частности, обаятельный собеседник. Когда думаешь о нем, — вспоминаются не только книжные полки, где стоят тома «Флоры СССР», «Флоры Камчатки», «Флоры Манчжурии», но также уютная, полная книг квартира Владимира Леонтьевича в Москве на Пятницкой улице, беседы с ним, живые, остроумные и глубокие реплики, неожиданные образы, меткие характеристики, воспоминания о былом, смелые прогнозы. Никакой пересказ не даст представления о беседах с Комаровым. Даже стенографическая запись осталась бы гербарием действительной речи, — она не могла бы передать живой аромат беседы, богатство интонаций, взгляда, жеста. Но все же запись бесед с Комаровым была бы увлекательным документом.

Когда думаешь о том, что же лежит в основе обаяния Комарова как собеседника, начинаешь лучше понимать стиль этого замечательного человека, улавливаешь некоторые важные черты в его творческом облике и в конце концов видишь самую основную из них.

Беседам Комарова придает особую прелесть сочетание величайшей элободневности с частыми историческими экскурсами, воспоминаниями, параллелями. Комаров настойчиво выпрашивает собеседника о фронтовых эпизодах, о видах на урожай, о деталях нового технологического процесса, и вдруг, неожиданно, но легко и закономерно разговор касается поездок Менделеева на Урал в 1900 году, воспоминаний о научных дискуссиях 90-х годов, характерных деталей биографии Дарвина... И это — не в ущерб современной теме. Исторические параллели открывают в ней новые стороны, приводят к новым решениям. В. Л. Комаров необычайно интересуется настоящим, он любит его всей душой, но он любит и прошлое, а больше всего он любит будущее...

Воспоминания юности в беседах Комарова — это не уход от сегодняшнего дня, а напротив — мобилизация сведений, необходимых для современных задач. Память Комарова не музей, а арсенал. Старые выводы, обобщения, теории, традиции — исходный пункт для дальнейшего поступательного хода научной мысли. Мысль Комарова в его беседах производит впечатление необыкновенной, можно сказать, юношеской свежести. Он никогда не довольствуется достигнутым, всегда ищет нового, всегда стремится развивать, совершенствовать свои представления о научной истине.

Комаров — блестящий знаток истории науки. С большим историческим чутьем он рисует научное творчество Ламарка, Линнея, Дарвина, Тимирязева и других корифеев естествознания. И в этом живом и органическом сочетании научной традиции, научной преемственности с чувством нового — обаяние и блеск живой речи Комарова.

Но это сочетание проходит и через его научные труды и, более того, — через практическую деятельность. Комаров — живое олицетворение научной преемственности. Он больше чем кто-либо другой мобилизовал исторические tradi-

дин науки для практических нужд сегодняшнего дня, для развития науки, для борьбы против отживших традиций. Поэтому будет, пожалуй, не лишним вспомнить, каковы лучшие традиции русской науки.

Для всех выдающихся русских ученых характерно сочетание передового естественно-научного мировоззрения с передовым общественным мировоззрением. В этом — душа русской науки. Ее корифеи всегда рассматривали науку как общественное служение, как служение человечеству и своему народу, они были подлинными народолобами. Русские ученые вдохновлялись принципами прогресса демократии. При этом общественные идеи и научное творчество не были внешними, обособленными друг от друга сторонами мировоззрения ученого.

И нельзя сомневаться, что эта строгость чистота и смелость научной мысли, не вступающей в компромисс, ломающей все на своем пути, связана с чистотой и благородством общественного мировоззрения, с высокой идейностью и принципиальностью, с гуманизмом и патриотизмом деятелей русской науки.

Комаров — младший по возрасту современник Менделеева, Сеченова, Мечникова, Павлова и Тимирязева. Он — не только продолжатель, но и создатель некоторых ныне уже исторических традиций русской науки. И в то же время Комаров систематически направляет советскую науку в сторону проблем современности. «Современность» — это иногда год, иногда — десятилетие, иногда же, во время войны — это недели и дни, когда запросы практики требуют от науки быстрых решений.

Когда думаешь о Комарове, невольно приходят на ум две картины. Одна из них — торжественное заседание в Академии Наук, посвященное юбилею научной теории. В речи председательствующего академика Комарова дается историческая характеристика теории, исторический анализ ее истоков, содержания и влияния на научную мысль. А вот вторая картина: небольшая комната в Свердловске, осень 1941 года, инженеры эвакуированных на восток заводов требуют, чтобы ученые через несколько дней, много через неделю указали им новые сырьевые месторождения. Комаров вызывает крупнейших специалистов, распределяет работу, обеспечивает выполнение задания, от которого зависит выпуск оружия для Красной Армии.

Но эти картины связаны не только друг с другом. Они связаны и с третьей. Третья картина — неутомимый путешественник-ботаник В. А. Комаров, исколдовавший горы и равнины; вот он собирает растения, систематизирует их, описывает, отыскивая закономерности в расселении и развитии флоры. И все эти картины органически связаны между собой. Если ближе познакомиться с основными ботаническими трудами Комарова, в них можно увидеть черты оригинальной научной мысли и большого научного темперамента, которые сделали Комарова руководителем советских натуралистов.

II

В биографии Комарова, как и в биографиях других крупных русских натуралистов, видна связь между широтой естественно-научного мировоззрения, широтой интересов и своеобразным энциклопедизмом, с одной стороны, и широтой географических масштабов страны, разнообразием ее природных условий — с другой. Так же ярко видна связь между широтой и смелостью естественно-научных взглядов и общественным мировоззрением.

Поступив в 1890 году в университет, Комаров записался на лекции Меншуткина, Ковалевского, Докучаева, Петри, Фаворского, Шимкевича и Вагнера. Из ботаников учителями Комарова были Бекетов, Фаминцин, Бородин, а затем Навашин и Ростовцев. Из них, пожалуй, наибольшее значение имели лекции Бекетова.

А. Н. Бекетов (1825—1902 гг.) с 1861 года заведывал кафедрой ботаники Петербургского университета. Он был ярким ученым и крупным по тогдашнему времени общественным деятелем. Вокруг Бекетова группировались не только ботаники, но и молодые географы. Существенным моментом в деятельности Бекетова было создание славной русской ботанической школы (К. А. Тимирязев, В. Л. Комаров, А. Н. Краснов, Н. И. Кузнецов, Г. И. Танфильев и др.). Однако в то время, когда Комаров учился в университете, руководство кафедрой ботаники начало переходить от Бекетова к Гоби. Последний был педантом, сухим и черствым чиновником. Его лекции не были популярны среди студенческой молодежи. Другие университетские ботаники Фаминцин и Бородин также не могли удовлетворить идейные запросы молодого Комарова, так как эти ученые были виталистами, сторонниками «жизненной силы», противниками дарвинизма. Поэтому В. Л. Комаров должен был, в основном, самостоятельно выработать свое научное мировоззрение. Он стал на позицию последовательного дарвинизма и уже в то время видел, что только дарвинизм открывает перед наукой дорогу к безграничному прогрессу, разбивает мистическую «жизненную силу» и все прочие препятствия на пути всепобеждающей науки. Впоследствии, в 1912 году, Комаров в одной из своих речей говорил, что всколыхнувшемуся витализму нужно противопоставить учение о принципиальной возможности для науки познать любые явления. «Что мы не знаем, то мы будем знать» — этим афоризмом Комаров определил свою позицию, несовместимую с витализмом, ставящим науке пределы, вводящим в нее непознаваемые мистические категории.

Выработка последовательного материалистического мировоззрения сочеталась с накоплением эмпирических знаний. Уже на первом курсе Комаров продолжает исследование Новгородской области, которое он начал еще в гимназии, а на втором и на третьем курсах в 1892 году Комаров отправляется с экспедицией в Среднюю Азию, в долиму Зеравшана.

В следующем году Комаров снова проехал по долине Зеравшана, а затем углубился в пустыню Кара-Кум. Ему удалось проникнуть очень глубоко внутрь этой наиболее мрачной пустыни Средней Азии. Природа здесь совсем другая, не похожая на горный ландшафт верхнего Зеравшана. На громадном пространстве тянутся песчаные барханы, покрытые кое-где зарослями саксаула и т. п. жалкой растительностью. Сравнение этих различных по своей природе, хоть и близко расположенных друг от друга областей привело Комарова к глубокому пониманию роли природных фактов в размещении растительных видов и их комплексов и в их происхождении.

В университетские годы у Комарова вырабатываются радикальные общественные взгляды, которые приводят его в стан наиболее революционно мыслящих элементов тогдашнего поколения молодых ученых. Охранка подвергает Комарова негласному надзору, а затем передает под гласный надзор полиции. Это обстоятельство делало невозможным оставление Комарова при университете. Поэтому Комаров по окончании университета уезжает в трехлетнее путешествие на Дальний Восток. Приведем отрывок из его воспоминаний, который показывает круг интересов, идейный облик и условия жизни молодого ученого:

«В классической школе (я окончила Шестую гимназию) совсем не было естественных наук, но тем не менее с 14 лет я все более и более увлекалась чтением книг по естествознанию, а если попадал за город, то и экскурсиями в природу, почему, несмотря на неодобрение субсидировавших меня родственников, и поступил на физмат нынешнего ЛГУ. На пороге университетской жизни я очень увлекался дарвинизмом и даже перевел весь том о происхождении видов. К сожалению, позднее, в минуту острой самокритики я рукопись сжег и не могу теперь сравнить свой перевод с другими. В университете в первые два года я со всем увлечением отдался работе в кружках, где изучались труды К. Маркса, и в индивидуальном порядке остановился на Ф. Энгельсе, который поразил меня ясностью и последовательностью своего учения, совершенно затмил в моем сознании наших народников и даже Плеханова. По окончании университета я оказался под опекой судебной палаты и лишенным права выезда. По плохому здоровью был освобожден от военной службы, и надо было искать постоянного заработка, а между тем всюду требовалось пресловутое «свидетельство о благонадежности», которого я как подследственный получить не мог. Да и сама служба не привлекала, и я через Географическое общество прикомандировался к изысканиям Амурской железной дороги. Около полугода пришлось потратить на хлопоты в департаменте полиции, чтобы получить разрешение на выезд в Амурскую и Приморскую области. Помогло то обстоятельство, что Амурская дорога считалась важным государственным делом, а желающих ехать в столь отдаленный край было немного».

С 1895 года начинаются систематические исследования Комарова, посвященные растительности Восточной Азии. Дальний Восток в это время был исследован далеко не достаточно. По его южным областям несколько раз проехал знаменитый русский путешественник Пржевальский, которому наука обязана открытием громадного числа неизвестных до того горных хребтов, рек и оазисов и накоплением громадного числа географических, геологических, ботанических и зоологических сведений. Но севернее областей, пересеченных Пржевальским, на тысячи километров тянулись территории, которые ждали исследователя. Здесь требовался человек, который бы соединил широту научного кругозора с проникновением, пристальным интересом к мельчайшим морфологическим и географическим особенностям каждого растительного вида.

Комаров отправился на Дальний Восток морем. Железной дороги через Сибирь тогда еще не было. Сухопутное путешествие требовало долгого времени, бесконечных переездов на лошадях по Сибирскому тракту. Комаров выехал из Одессы через Суэцкий канал и Индийский океан, мимо Сингапура во Владивосток. Из Владивостока он поехал в Хабаровск и отсюда углубился в тайгу, исследуя флору Приамурья. Зимой он оставался в Благовещенске обрабатывать результаты летних сборов.

Результаты исследований 1895 года имели не только теоретическое значение. Комаров со своим широким естественно-научным, географическим и экономическим кругозором показал, что побережье Амура пригодно для заселения.

На этом следует остановиться подробнее, так как ранние экономические работы В. Л. Комарова бросают свет на его последующую деятельность. После поездки 1895 года В. Л. Комаров написал крупную экономическую работу: «Условия колонизации Амура», напечатанную в 1896 году. В это время господствующая точка зрения была сформулирована С. И. Коржинским, который думал, что Амурская область не имеет перспектив для развития земледелия. Комаров подошел к этому вопросу не только как ботаник, но и как широко образованный экономист с оригинальными и глубокими воззрениями на хозяйственные перспективы русского востока.

Комаров рассматривает, каковы условия для колонизации в отдельных районах Амурской области. Он анализирует условия рельефа, почвы, климатические особенности и другие физико-географические особенности в пределах Амурской области и при этом обнаруживает глубокое понимание самых разнообразных природных и экономических факторов, влияющих на условия земледелия.

Глубина и компетентность геологических, климатологических и агрономических сведений и обобщений придают этому очерку В. Л. Комарова не только историческое, но и актуальное для нашего времени значение. В своей работе Комаров устанавливает площадь обрабатываемых земель и их производительность. Он дает

очень интересный анализ условий землепользования и анализирует развитие частного земледелия и распределение земельной собственности между различными социальными группами. Путешествуя Комаров дает очень интересный историко-экономический очерк развития казачьего землевладения на Амуре.

Комаров рассматривает соотношение между культурами озимых и яровых хлебов и далее приводит анализ урожая различных культур. Затем на основе технико-экономических подсчетов Комаров устанавливает перспективы увеличения сбора хлебов и исчисляет товарность крестьянского хозяйства.

Большой интерес представляет статистическое изучение применения различных земледельческих орудий в области. Комаров рассматривает результаты хозяйственной деятельности крестьян и в противоположность Коржинскому ясно видит положительный эффект земледелия с точки зрения изменения природных условий.

После путешествия по русскому Дальнему Востоку Комаров пришел к заключению, что целый ряд географических проблем может быть решен при исследовании областей, лежащих к югу от Амура, в Манчжурии. Манчжурия была тогда в географическом отношении еще малоисследованной областью Азии.

Весной 1896 года Комаров вышел из Никольско-Уссурийска и прошел по всей центральной части Манчжурии, оказавшись к осени во Владивостоке. Здесь он сел на корабль и, снова обогнув Индию, возвратился в Одессу.

Географическое общество после доклада Комарова отпустило средства для дальнейшего изучения Манчжурии, и Комаров, снова совершив тот же рейс, организовал во Владивостоке небольшую партию для исследования Северной Кореи и Манчжурии.

Корея была тогда совсем еще малолюдным краем. Комаров прошел по долинам рек Туманган и Ялу в Манчжурию, затем туда же вернулся другим путем и привез в Петербург громадный набор ботанических коллекций и географических наблюдений.

Этим закончился первый цикл дальневосточных исследований Комарова. В течение нескольких лет Комаров преподавал в университете, работая в Петербургском ботаническом саду, обрабатывал собранные им коллекции и обдумывал результаты ботанических исследований. В эти годы он изучал богатейшие гербарии Ботанического сада и громадную ботаническую и географическую литературу. В этой литературе Комаров постоянно встречался с описанием природы тех местностей, откуда ботаники привозили свои гербарии. Широта этого материала натапливала талантливого и смелого исследователя на важные обобщения. Постепенно складывалось поразительное, находящее немного аналогий в современном естествознании умение представлять себе каждый растительный вид во всем бесконечном многообразии тех географических и исторических факторов, которые определяют распространение, развитие и суще-

ствование этого вида. В те годы Комаров становится крупнейшим знатоком азиатской флоры. Он написал тогда первый том большой работы «Флора Манчжурии», которая стала его диссертацией на степень магистра ботаники. Первый том «Флоры Манчжурии» вышел в 1901 г. Уже в этом томе молодой ботаник проявляет себя как крупный теоретик и блестящий исследователь. В трех томах «Флоры Манчжурии» приведены 1682 вида растений, 84 из них впервые описаны Комаровым. В своем сочинении Комаров не ограничивается всесторонним описанием растений, он дает подробную ботанико-географическую характеристику исследованных им территорий. «Флора Манчжурии» становится основной базой для всех дальнейших исследований по флоре Дальнего Востока. Дальний Восток настолько детально и всесторонне исследован В. А. Комаровым, что ученые различают в исследовании флоры края «комаровский» и «докомаровский» периоды. Научные учреждения высоко оценили работу молодого ученого. Географическое общество присудило В. А. Комарову медаль имени известного ученого-путешественника Пржевальского; Академия Наук — премию имени академика Бэра; Международная академия ботанической географии — медаль с портретами Турнефора и Линнея.

Получив первую ученую степень, летом 1902 года Комаров снова отправился путешествовать. Он поехал на юг от Иркутска и Байкала в Северную Монголию, прошел от Иркутска вверх по реке Иркут до самых высоких вершин Саянского хребта, перевалил через Саяны и вышел к озеру Косогол. Комаров обошел кругом этого озера и возвратился в Иркутск.

Путешествие в Тункинский край и на озеро Косогол может служить классическим примером ботанических экспедиций. Мы остановимся подробнее на этом путешествии, чтобы проследить общие характерные черты Комарова как исследователя русской природы.

19 мая 1902 года Комаров с А. А. Еленкиным приехали в Иркутск, чтобы получить здесь подорожные для переезда на почтовых и земских лошадях в Тунку и запастись припасами, одеждой и инструментом.

Комаров переехал через Ангару pontонным мостом, пересек железную дорогу и поднялся на Кайскую гору. Оттуда открывался вид на Иркутск с его деревянными домами и многочисленными храмами, а на запад простиралась долина Кай с березовыми рощами.

Далее дорога, пройдя через пойму Иркуты, оставляла долину этой реки, которая была стеснена крутыми и осыпавшимися горными склонами. Дорога пошла параллельно реке, горами.

Остановившись в деревне Моты в двух верстах от берега Иркуты, Комаров закончил день экскурсией на покрытый лесом высокий увал неподалеку от почтовой станции. Пристальный взгляд ботаника увидал расцветший сибирский

богульник, который покрывал гору фиолетовым покровом. В сырых участках леса распустились мелкие цветы ветреницы, среди сосен появились крупные цветы прострела. Характерно, что в описаниях своих ботанических экскурсий Комаров прежде всего обращает внимание на черты сближающие встречаемые им растения с другими, неизвестными. В то же время эта тенденция опытного систематика не мешает Комарову схватывать ландшафт в его живых красках. Комаров подобно Палласу и другим своим предшественникам в исследованиях русской флоры обладает удивительным умением сразу оценивать особенности ландшафта и их единство. Он как бы одновременно видит и мельчайшие морфологические детали растений, и в то же время общий характер местности с ее геологическими, орографическими и климатическими особенностями, определяющими в последнем счете характер флоры, сосредоточенной в данном районе.

В дальнейшем Комаров и Еленкин поднялись выше в горы. Подъем и спуск стали тяжелыми. На подъемах открывалась панорама ближайшей цепи Хамар-Дабана, укутанной пеленой снега. Дорога пересекалась извивами горного ручья. По сторонам были видны большие скалы и осыпи, покрытые лишаями и мхами. Внимание ботаников привлекали большие известняковые глыбы, сплошь покрытые ярко-красными водорослями.

По этой дороге путешественники прибыли в Култук, где оставались до 19 мая. Отсюда они двинулись по ровной долине—старому руслу Иркуты. После Тибильтей дорога пошла правым берегом Иркуты.

Приехав в Тунку, Комаров и Еленкин стали готовить выючный караван. Они наняли лошадей, закупили муки, насыпили сухарей и заготовили выючные седла и подпники. Затем Комаров сверил метеорологические инструменты экспедиции с инструментами местной метеорологической станции, которой заведывал местный учитель, и 25 мая они выступили из Тунки.

Сначала дорога шла левым берегом Иркуты, затем путешественники переправились через реку на большом карбасе с помощью каната и весел и поехали по местности, заселенной бурятами. Затем они попали в пустынные места. Наблюдения Комарова, сделанные здесь, относятся к природному ландшафту в целом. Его записи поражают сочетанием живой художественной передачи развернувшейся перед глазами путешественника картины природы с глубоким теоретическим проникновением в существо тех геологических и географических процессов, которые обусловили ландшафт. Эти записи имеют не только научную, но и художественную ценность. Они ярко восстанавливают природный колорит и в то же время содержат четкие и ясные определения натуралиста.

Перейдя через границу Монголии, путешественники двинулись вокруг озера Косога. Записи Комарова пестрят геологическими, климатологическими и ботаническими наблюдениями, а

также картинками монгольского быта и замечательными эскизами ландшафта.

Во второй половине июля Комаров и Еленкин попали в долину реки Хоре. В устье этой реки Комаров наблюдал большую гору с одиннадцатю косыми узкими террасами, которые были параллельны друг другу и дну долины. Они походили на гигантские борозды, выпаханые на горе.

«Очевидно долина Хоре была некогда ложем гигантского ледника, конечные морены которого раскинулись теперь по обе стороны ее устья, образовав целую систему моренных нагромождений, занимающих колоссальную для них площадь. Терраски на горе вероятно придется признать за результат ледникового выпавхания».

За рекой Хоре путешественники продолжали свой путь через морены и затем поднялись на хребет Мунку-Сардык.

В четыре часа дня, покинув место, где еще была растительность, они оказались на скалистом гребне, прошли по этому гребню между зубцами скал, уперлись в отвесную стену, а затем по щелям этой стены забрались на более высокий гребень, который привел их к высшей точке хребта. Спустившись по леднику, Комаров вернулся к берегу Косога. Спуск был тяжелым. После путешествия по леднику обувь у путешественников оказалась совершенно разорванной, и они шли босыми по острым камням. Наступившая темнота заставила их двигаться оупую. Ощупью они перешли несколько потоков и к рассвету достигли морен вблизи лагеря. После восхождения на Мунку-Сардык экспедиция прошла через Гарганский перевал, долину реки Норен-Хоре к вершине горы Алибер и после этого повернула к югу.

В середине августа Комаров обогнул озеро Ильгир и вернулся к Ниловой пустыне, а оттуда в Иркутск.

Подводя итоги этой экспедиции, Комаров произвел очень тщательный анализ всех литературных данных, оставшихся от его предшественников, а затем сформулировал основные проблемы, которые были поставлены наукой и могли быть решены на основе сделанных им наблюдений.

Первым вопросом, вытекавшим из материалов, собранных предшественниками Комарова, был вопрос о наличии в восточной части Саян следов значительного древнего оледенения. Доказательства оледенения, обнаруженные Меглицким и Чекановским, а затем крупным русским географом и знаменитым революционером Кропоткиным, не были достаточны, и впоследствии Черский, опровергая Кропоткина, утверждал, что ледникового периода в Сибири вообще не было и все указанные Кропоткиным факты объясняются действием атмосферной и текучей воды и речного льда.

Комаров анализирует записи Кропоткина и других исследователей этого края, а затем переходит к своим собственным заключениям.

Знакомясь с выводами Комарова, видишь, какие плодотворные результаты дала его исключи-

тельная наблюдательность и умение одновременно обращать внимание и на детали пейзажа, и на его характер в целом. Комаров делает следующие выводы из своих многочисленных наблюдений:

«Резюмируя все сказанное, я думаю, что у Мунку-Сардыжа мы видим ясные следы чрезвычайно сильной ледниковой деятельности; что все пространство от северного берега Косогола до горы Алибер и от Гарганского перевала до среднего течения Ихе-Огуна, а может быть и до Турана, должно было некогда представлять почти сплошное оледенение».

Далее Комаров разбирает вопрос о развитии и усыхании озер и показывает, каково было начертание озер и процесс озерообразования в древности и какие явления происходят здесь сейчас.

В части ботанических вопросов Комаров установил полярный характер альпийской и субальпийской флоры этих мест. Он нашел здесь массу видов тождественных с полярными. Анализируя флору края, Комаров приходит к очень важным обобщениям.

«Далее интересен факт, — пишет он, — что в восточной части Саян еще нег совершенно видов северной муссонной области, которые появляются уже на горах у восточного конца Байкала и в восточном Забайкалье. Это резко континентальная флора, и приокеанские формы как с запада, так и с востока не доходят до нее, оставляя полный простор для пришельцев с севера. Выражаясь образно, мы говорим иногда, что сравнительное с Европой богатство Приатлантической Северной Америки третичными растительными типами объясняется тем, что в Европе ледниковый период, вызывая отступление названных растений на юг, как бы утопил их в Средиземном море, и они уж не вернулись на север с возвратом тепла, тогда как в Америке страна между Миссисипи и Атлантическим океаном была достаточным убежищем для тех, чей холодом ледников растений, и потом они опять подвинулись на север. Применяя то же рассуждение к Саянам, мы можем сказать, что здесь ледниковый период совершенно уничтожил всю третичную флору, и заселение освобожденной от ледников территории пошло исключительно насчет северных типов, выработавшихся в самый этот ледниковый период».

Перейдем к университетской деятельности В. Л. Комарова. В 1902 году, еще до поездки на Косогол после защиты диссертации В. Л. Комаров стал приват-доцентом Петербургского университета.

В качестве приват-доцента Петербургского университета Комаров читал «Историю развития царства растений» (1903—1906 гг.), теорию видообразований (1908—1911 гг.), общие основы систематики растений (1911—1914 гг.), географию и экологию растений (1914—1917 гг.). Таким образом, и в университете Комаров проявил широту своих научных интересов и дарований. Слушатели видели в нем последовательного дарвиниста, оригинального тео-

ретика-систематика-географа и эколога. Его лекции пользовались широкой известностью далеко за пределами факультета.

Характерно, что Комаров в бытность свою приват-доцентом Петербургского университета будил и толкал вперед не только собственно-биологическую, но и общественно-философскую мысль студенчества и молодых ученых. В годы реакции Комаров последовательно и упорно борется против идеалистической философии и ее претензий опереться на естествознание. С этой стороны очень интересна деятельность Комарова в университетском кружке по изучению философии природы. В этом кружке Комаров прочитал доклад «Основные тенденции биологических наук» — яркую и боевую проповедь дарвинизма и материализма. Кружок этот играл большую роль в идейной жизни петербургского студенчества. На заседания его собиралось до 150—200 человек. Кружку пришлось бороться против притеснений со стороны начальства и одновременно против идеалистически настроенных студентов и ученых, которые организовали свой кружок противоположного направления.

Одновременно с преподаванием в университете Комаров вплоть до 1908 года читает лекции по ботанике на курсах Лесгафта, с 1900 года на женских естественно-географических курсах Лохвицкой, где он ведет курсы анатомии растений, споровых растений, цветковых, географии растений и учения о размножении растений.

Здесь же Комаров создал ботанический кабинет, гербарий, коллекцию препаратов и в конце концов создал группу исследовательниц-ботаников, которая впоследствии играла заметную роль в развитии советской науки. Здесь же на курсах Комаров встретил Надежду Викторовну Старк, идейную и талантливую представительницу женской молодежи, которая в тяжелых условиях того времени прокладывала себе дорогу к творческой научной деятельности. Н. В. Старк стала впоследствии многолетней сотрудницей, ближайшей помощницей и женой В. Л. Комарова.

Вернемся к ботаническим исследованиям В. Л. Комарова девятисотых годов.

В 1905 году Петербургский ботанический сад и Русское географическое общество решили передать Комарову китайские и монгольские коллекции Ботанического сада, основная часть которых была собрана в замечательных экспедициях Географического общества. В течение двух лет Комаров ознакомился с восточно-азиатским гербарием Ботанического сада, который включал в те времена растения Китая, Манчжурии, Кореи, Японии, Монголии и Тибета, всего около шести тысяч видов и 50 тысяч экземпляров. К этому времени Комаров уже исследовал флору Манчжурии, Уссурийского края, Южной части Амурского края, севера Кореи. Уже на основании этих исследований Владимир Леонтьевич пришел к мысли, что вопрос о систематическом положении и самостоятельности того или иного растения можно ре-

шать, только проследив историю всего рода, к которому принадлежит это растение, и установив деление этого рода на естественные группы.

«Значение морфологических особенностей иногда не бывает абсолютным, их надо оценить, а оценка зависит всего более от понимания истории и общих свойств данного рода, а также и его расселения».

Что же касается флористических исследований Китая и Монголии, то здесь возникает еще одно затруднение. Когда речь идет о растениях встречающихся на юге, роль Гималаев в их генезисе остается загадкой. Комаров отмечает, что при флористических исследованиях этих стран нельзя определить, следует ли говорить о гималайском элементе в китайской флоре или напротив о китайских растениях на Гималаях. Не ясны были взаимоотношения между этими элементами флоры. Можно было отказаться от решения общих кардинальных проблем генезиса флор Китая и Монголии и просто зарегистрировать виды растений, встречающиеся в этих странах. Это часто делалось в флористических работах.

В отличие от обычного формального подхода ботаников—регистраторов явлений, исследования Комарова по флоре Китая и Монголии характеризуются стремлением на основании обработки фактического материала осветить историю формирования этих флор.

Комаров применил для разрешения поставленной задачи выборочный метод монографической обработки материала. Без этого нельзя было выполнять основные требования, которые он ставил перед всеми флористическими работами. Только путем монографирования можно было установить действительное отношение растительности Китая и Монголии к растительности сопредельных стран.

Монгольская флора представлялась Комарову мало однородной. Он даже считал самый термин «монгольская флора» неточным, так как растительность Монголии не представляет собой единого целого с самостоятельным центром развития и с особой историей. Комаров считал более правильным говорить о пустынно-степной флоре Центральной Азии, составившейся из растений — выходцев из различных горных флор. Равнина Гоби окружена горными районами, откуда распространяются горные растения. Чем дальше они отходят от первоначального центра, тем в большей степени они смешиваются между собой; но в то же время тем бедней становится флора. Поэтому первой задачей, которую поставил себе Комаров, было определить те переселения, которым подверглись растения горных стран под влиянием усыхания Ханхайского внутреннего бассейна, а так же определить изменения, которым подвергались эти растения, переселяясь в новые места.

Изучение китайской флоры связано с другой центральной проблемой. Нужно было выяснить роль горных стран в центре Китая для выработки флоры всего азиатского материка. Ко-

маров выбрал для своих монографических исследований один род растений, распространенный в горной стране центрального Китая, потом один род, распространенный, преимущественно в горах центрального Китая, но выходящий и в другие районы Азии, затем третий род, типичный для Китая, но переходящий не только в Азию, но также в Европу и в Америку. Далее род, распространенный в Монголии и отсутствующий в Центральном Китае, и, наконец, один род, широко распространенный в Монголии, но встречающийся также и в Китае.

Обработав монографически эти роды растений, а также проанализировав работы по монгольской и китайской флорам, Комаров пришел к основному выводу о том, что существует некоторая общность между флорами Монголии и Китая, несмотря на то, что флоры той и другой страны резко отличаются по облику так же, как отличаются климатические условия Китая и Монголии.

Особую ценность для познания флоры Китая и Монголии и их генезиса представило изучение коллекций растений, выведенных великими русскими путешественниками Потаниным, Пржевальским, Роборовским, Левцовым, Козловым и другими. Изучивши их, Комаров поехал в Лондон, чтобы ознакомиться с 14-ю тысячами растений, собранных английским ученым Генри и находящихся в Кью-Гардене. Генри ознакомил Комарова с собранными им коллекциями. Комаров в течение шести недель напряженной работы просмотрел эти растения, а затем изучил и некоторые другие лондонские коллекции. Далее он поехал в Париж, где в естественно-историческом музее, а также в частной коллекции Гектора Левелье просмотрел богатые сборы, сделанные в районах Бейпина, Шанхая и Нанкина.

Анализируя гербарные материалы, Комаров сопоставил их со сводкой геологических сведений, относящихся к изучаемым им странам.

«Элементы флоры, — писал Комаров, — всегда находятся в строгой зависимости от факторов исторической геологии. Объяснить состав той или другой флоры, исходя из данных современности, как объясняются ее формы нельзя. Восстановление истории миграций, сложивших данную флору и давших материал для выработки свойственных ей форм, — необходимая задача современной флористики».

Поэтому Комаров внимательно изучил труды по геологии Китая и обобщил рассеянные в них сведения.

До Комарова в затронутых им вопросах господствовала так называемая реликтовая точка зрения. Считалось, что современный растительный мир в пределах бореальной зоны представляет собой остаток доледниковой флоры. Комаров дополнил этот взгляд миграционной точкой зрения, т. е. историей передвижения растений из одного района в другой.

С 1908 года начинается новый период путешествий на Восток. На этот раз объектом исследований Комарова оказалась Камчатка.

В девяностых годах Камчатка, по выражению известного русского географа Ю. М. Шокальского, казалась находящейся на другой планете. Существовало несколько описаний экспедиций, из которых первым была книга замечательного русского путешественника и ученого XVIII века Крашенинникова, который в 1789 году выпустил свое «Описание Камчатки». Однако в XIX веке сведения о природе Камчатки не соответствовали разнообразию и богатству материков, которые можно было там собрать.

В 1908—1909 гг. Комаров прошел со своей экспедицией южную часть полуострова от Петропавловска и Большережка на юге до Тигиля на берегу Охотского моря и Усть-Камчатска на берегу Тихого океана — на севере. Тогда на Камчатке не было колесных дорог. Комаров и его спутники передвигались по выючным тропам. Преодолевая целый ряд затруднений, Комаров провел широкое исследование природы Камчатки.

Комаров, как всегда, тщательно изучил гербарный и литературный материал, накопленный его предшественниками, и дал подробное описание растений Камчатки в форме определителя. Уже в советских условиях, двадцать лет спустя после замечательной экспедиции на Камчатку, были опубликованы три тома капитального исследования «Флора полуострова Камчатка». Книга вышла в свет в 1927—30 году и содержит описание 825 видов растений. Из них 74 новых вида, впервые описанные Комаровым. В этой работе характерны оригинальные теоретические концепции, положенные в основу систематизации громадного фактического материала. Выделяя отдельные виды, Комаров считает отдельным видом такой комплекс организмов, морфология которых позволяет судить об их географическом распространении.

Описание камчатской экспедиции Комарова включает сведения о горах и вулканах, горячих источниках, реках, озерах, растительности, животном мире, а также о населении и его хозяйственных нуждах. Это описание выделяется в русской научной литературе своими литературными достоинствами. Энергичный, образный и точный язык этого исследования напоминает лучшие географические и экономические труды русских ученых. В то же время, когда читаешь страницы описания камчатской экспедиции да, впрочем, и других ботанических и географических трудов Комарова, невольно вспоминаешь такие работы, как «Путешествие» Палласа и «Путешествие на корабле Витль» Дарвина. Общими чертами этих книг является сочетание чрезвычайно внимательного скрупулезного изучения мельчайших деталей природного ландшафта и организмов с широтой естественно-научных обобщений. Таким образом, сходство здесь отнюдь не внешнее. Именно глубина и точность научного мышления лежит в основе чеканного и ясного языка упомянутых книг. Камчатские наблюдения Комарова приводят к самым широким естественно-историческим обобщениям. Комаров вскрывает причины ха-

рактерных особенностей камчатской природы. В каждой фразе чувствуется сила творческой мысли выдающегося натуралиста. Он высказывает оригинальные воззрения на происхождение гор и рек Камчатки, дает интересную классификацию горячих ключей полуострова и еще более полный анализ происхождения камчатской растительности.

После камчатских исследований Комаров работал в университете, обрабатывал собранные материалы и по временам снова ездил на Дальний Восток. В 1913 году Комаров совершил экспедицию из Владивостока к озеру Ханка, посетив при этом долины рек Супутинки, Майхе, Лефу, Даубихе, Саптахезы, Сучана и морское побережье вдоль тракта из Шкотава к устью Сучана. Помощники Комарова в это же время исследовали другие районы, и экспедиция в целом охватила весь район, расположенный между хребтом Сихотэ-Алинь и Пограничным хребтом. Комаров констатировал, что широкие речные долины этого края вместе с прилегающими увалами плотно уже заселены.

Первая задача натуралиста в таком районе — мысленно восстановить первобытный растительный покров, а затем сравнить современную растительность с той, которая была до хозяйственной деятельности человека. Из этого сравнения можно выяснить значение современного растительного покрова для природных явлений и определить, какие условия играют наиболее важную роль для существования культурных растений.

В своем отчете об экспедиции Комаров анализирует литературные данные, относящиеся к тому времени, когда этот край еще не был заселен. Сопоставляя данные Пржевальского со своими наблюдениями, он рисует развитие южно-уссурийской растительности.

Выдающийся эволюционист-ботаник виден в каждой строке отчета о ханкайской экспедиции. Знакомясь с его дальнейшим содержанием, мы видим здесь также талантливого экономиста.

Октябрьская революция раскрыла перед В. А. Комаровым новые возможности в научной работе.

Прежде всего он освободился от ограничений, наложенных на него как на радикально мыслящего приват-доцента. Комаров смог, наконец, занять кафедру ботаники в Петербургском университете, где так долго не допускали к профессуре авторитетнейшего ботаника с мировой известностью. В университете Комаров создает крупнейший ботанический научный центр. Одним из его ближайших помощников становится Н. В. Комарова-Старк, которая в течение 20 лет отдавала кафедре ботаники много сил, знаний и организационно-научного опыта. Комаров называет свою кафедру кафедрой морфологии и экологии растений и направляет силы сгруппировавшихся вокруг него исследователей в сторону экспериментальной морфологии. За собой он сохраняет курсы «Введение в ботанику» и «Спорные растения». Одновременно Комаров работает в Ботаническом саду Академии Наук.

в его гербарии — втором в мире по своему составу, и в созданной им экспериментальной лаборатории морфологии и систематики растений.

В деятельности Комарова в это время, как и в другие периоды его жизни, университетское преподавание неотделимо от научного творчества. Комаров принадлежит к типу таких ученых, которые, создавая новые научные ценности, непосредственно излагают их пред широкой аудиторией. Поэтому книги, написанные в качестве учебников, становятся классическими научными монографиями, и наоборот, — ботанические монографии становятся распространенными учебниками и литературой для широких кругов.

Ведя курс в университете и работая в ботаническом саду, В. Л. Комаров готовит материалы для трех замечательных книг: «Строение растений», «Типы растений» и «Происхождение растений». Обобщением идей, которые вложены в эти три книги, служил курс «Введение в ботанику», который был известен в университетских кругах под названием «Курс Владимира Леонтьевича».

После 1930 года Комаров снова совершает экспедицию на Дальний Восток и затем в 1932—35 гг. — в Среднюю Азию и на Кавказ. В конце 30-х годов Комаров дважды изучал флору средиземноморской Ривьеры и долины Шамони во Франции. Таким образом, в результате многолетних географических и ботанических экспедиций ему удалось изучить природу и в особенности растительность гигантского евразийского материка. От долин Южной Франции до Тихоокеанского побережья, через степи и хребты Средней Азии, горы Кавказа, Тянь-Шаня и Алтая, пустыни Гоби и Кара-Кум, необозримые территории Сибири, Монголии, Кореи и Китая, — этот гигантский по протяженности и разнообразию материк Комаров исследовал, охватывая десятки тысяч различных наблюдений широкими научными обобщениями.

В настоящее время одной из наиболее крупных ботанических работ, которыми руководит Комаров, является многотомная «Флора СССР». Это громадный по объему справочник, в котором можно найти описание любого растения, произрастающего на территории Советского Союза. Комаров собрал вокруг себя большую группу ботаников и систематиков Советского Союза и выработал план этой грандиозной работы. В основу «Флоры СССР» положены теоретические идеи Комарова, его учение о «рядах». Кроме обработки отдельных крупных семейств растений, «Флора СССР» включает новое деление на подсемейства. При составлении этой книги изучаются гербарии, собранные в различных частях страны, и одновременно пересматривается вся относящаяся сюда ботаническая литература. Комаров установил основы ботанико-географического районирования, по которому указывается распространение видов на территории СССР. Под руководством Комарова составлена также особая схема распространения того или иного растения за пределы Советского Союза. По

инициативе Комарова во «Флоре СССР» введен параграф «Хозяйственное значение растений».

В вышедших томах «Флоры СССР» описаны 7.297 видов растений и для тысячи из них дана характеристика народнохозяйственного использования. Следует отметить также, что «Флора СССР» впервые дает всем без исключения видам растений, встречающимся в стране, русские названия, заимствованные из русской научной литературы или из языка народов СССР.

III

Работы В. Л. Комарова как систематика и флористика представляют собой углубление дарвинизма, конкретизацию учения Дарвина, обогащение его новыми наблюдениями и выводами. Но и все прочие работы В. Л. Комарова развивают и обогащают эту теорию. Непосредственным развитием идеи Дарвина являются теоретические концепции Комарова, относящиеся к проблемам вида и видообразования. Эти концепции изложены как в исследованиях восточной флоры, так и в специальных монографиях.

Еще на студенческой скамье Комаров занимался теоретической разработкой учения Дарвина и, в частности, разработкой учения о виде. Проблема вида занимала его мысли в течение десятилетий и служит предметом его научных исследований в настоящее время. Читая различные ботанические курсы в университете, Комаров уделял в изложении дарвинизма одно из центральных мест учению о виде и проблеме видообразования. В своих экспедициях Комаров также стремился на живых объектах проникнуть в тайну происхождения видов у растений. Он собирал семена и корневища черенки и культивировал их на территории Ботанического сада или же в теплице, которая впоследствии была известна под именем «оранжереи академика Комарова». Завершением длительных исследований был курс лекций, прочитанных Комаровым в Петербургском университете, который назывался сначала «История развития царства растений» (1902—1905 гг.). Впоследствии этот курс назывался «Курс теории видообразования». В капитальных исследованиях — «Флора Манчжурии» и «Введение к флорам Китая и Монголии» также разрабатывались на конкретных примерах проблемы видообразования.

Теория видообразования в изложении Комарова исходит из дарвиновского представления о непрерывном развитии вида, о возникновении и гибели видов. Она утверждает, что вид возникает и растет в определенный период времени и в определенный момент геологической истории доходит до кульминационного пункта, когда число составляющих его индивидуумов достигает максимума, а занятая им площадь, его ареал — наибольшего протяжения. Наконец, появление новых конкурентов в борьбе за жизнь или изменение климата и других условий могут вызвать закат вида, постепенное уменьшение числа составляющих его особей и даже его полное исчезновение. Это развитие вида Комаров рас-

считывает как результат взаимоотношений между видом, его средой и его конкурентами.

Комаров рисует эволюцию растительных видов. Он показывает, как сложились современные типы растений, как ледниковая эпоха повлияла на историю растительности, как растения, оставшиеся после ледникового периода, распространялись и образовали послеледниковый растительный покров.

Комаров дает следующее определение вида:

«Вид есть совокупность поколений, происходящих от общего предка и под влиянием среды и борьбы за существование обособленных отбором от остального мира живых существ; вместе с тем вид есть определенный этап в процессе эволюции».

Историческая конкретизация учения о видообразовании дана В. Л. Комаровым в работе «Происхождение растений». Эта книга чрезвычайно характерна со стороны содержания и стиля его научного творчества. Комаров рисует здесь свои широкие картины эволюции органической и неорганической природы. Из этой книги видно, что широта кругозора Комарова позволяет ему трактовать учение Дарвина в связи с общей концепцией развития вселенной и развивать и обогащать это учение новейшими данными о распространении и эволюции растений. В то же время книга «Происхождение растений» показывает громадную литературно-историческую эрудицию Комарова. Комаров опирается на широчайший круг наблюдений и фактов, установленных наукой в прошлом, и на современные исследования советских и зарубежных ученых и дополняет их результатами собственных ботанических работ. В итоге мы получаем стройное положение исторической эволюции растений на фоне общей эволюции нашей планеты.

Комаров на основе энциклопедического охвата целого ряда новейших научных идей показывает, как земля закончила звездную фазу, как образовалась кора, или литосфера, как возникли водосемы. Комаров рисует, наконец, возникновение жизни на земле, появление биосферы, которая коренным образом изменяет роль солнечной энергии и характер химических превращений на поверхности земли.

В учении о космической роли зеленых растений Комаров следует за классическими работами своего старшего современника К. А. Тимирязева, обогащая его идеи материалами, накопленными наукой в 20-х и 30-х годах нашего века. Переходя к проблеме возникновения растений на земле, Комаров рассматривает наиболее распространенные гипотезы и дает краткий анализ истории этой проблемы.

Комаров дает общее представление об эволюции растительных организмов на фоне палеонтологической летописи земли. Он подробно разбирает условия жизни растений и характер растительного царства во времена залечателенные в кембрийских, силурийских, девонских, каменноугольных, пермских, триасовых, юрских, меловых, третичных и четвертичных отложениях и,

наконец, рисует эволюцию растительности во время движения, покрывавшего Европу ледника.

Происхождению культурных растений посвящена особая работа Комарова. Книга «Происхождение культурных растений» так же, как и «Происхождение растений», как и другие теоретические исследования Комарова, включает громадный по объему материал, накопленный современной наукой, проникновение в смежные отрасли естествознания для решения основной ботанической проблемы, блестящие исторические экскурсы в прошлое науки и последовательную ортодоксальную разработку и обогащение дарвиновского учения.

IV

В. Л. Комаров — выдающийся историк естествознания. Ему принадлежат как отдельные исторические экскурсы в ботанических трудах, так и специальные исследования по истории отечественной и мировой науки. Классические фрагменты по истории естествознания содержатся в «Учении о виде у растений». В. Л. Комаров анализирует первые исторические представления о виде, возникшие в конце XVII века, рисует исторический фон этих работ и разбирает работы Рея и Ланга и затем переходит к исследованиям Линнея. В работах Линнея Комаров ясно видит сочетание метафизических установок с новыми воззрениями, прорывавшими старую библейскую традицию неизменности природы.

На рубеже XVIII и XIX вв. появилась эволюционная теория Ламарка, которая стала предметом специальных исследований В. Л. Комарова.

Комаров излагает взгляды Ламарка в тесной связи с состоянием общества и науки XVIII века и вскрывает идейные истоки работ Ламарка. Особенно тщательно он изучает прогрессивные натурфилософские и физические воззрения Ламарка.

Для Комарова характерно, что в своих исторических экскурсах он не ограничивается биологией, а рассматривает развитие натурфилософии и естествознания в целом. Это и помогает ученому вскрывать и показывать с большей определенностью общие идейные истоки биологических теорий, а в конце концов и материальные исторические корни сменяющих друг друга научных теорий.

Комаров анализирует высказывания Дарвина, относящиеся к Ламарку, и показывает, в каком соотношении находятся между собой ранние примитивные попытки эволюционного объяснения органического мира и современная эволюционная теория — дарвинизм.

В историческом анализе работ Дарвина Комаров уделяет особое внимание идее вида.

Комаров на основе тщательного анализа высказываний Дарвина показывает, что из учения последнего вытекает учение о подвижном непрерывно-развивающемся виде, и подчеркивает в учении Дарвина основную черту: представ-

ление об исторической связи эволюции вида с эволюцией окружающей его природы. Комаров показывает, что дарвинизм — это один из наиболее крупных шагов идеи единства природы.

Для Комарова дарвинизм — это не раз навсегда данная система взглядов, а развивающаяся теория, которая не может устареть именно потому, что в основе ее лежит непрерывное стремление к все более точному и полному охвату действительности.

«Время идет, — пишет Комаров, — открываются новые фактические данные, вокруг славного наследия Ч. Дарвина кипит борьба. Опровергнуто ли его учение о виде? Нет, поскольку оно вошло в наше историческое, близкое к диалектическому, учение о природе, оно опровергнуто быть не может, оно может быть только пополнено новыми открытиями».

Говоря о Комарове как об историке естествознания, невольно вспоминаешь К. А. Тимирязева. Исторические экскурсии Комарова во многом напоминают соответствующие экскурсии Тимирязева не только направлением исследования, но даже стилем изложения. И, конечно, ярче всего это сходство видно там, где Комаров пишет о самом Тимирязеве:

«Когда пишешь о таком человеке как Тимирязев, нельзя сохранить тон и стиль простого объективного изложения и комментирования его научных взглядов и открытий. Предисловие к сочинениям ученого всегда в какой-то мере должно следовать литературной манере и стилю этого ученого. Литературное наследство Тимирязева, будь то публицистика, популярные статьи, исторические экскурсии или специальные исследования, отличается глубоко индивидуальным и эмоциональным характером. Тимирязев как бы беседует с читателем, беседует с присутствующим ему блеском, всесторонней эрудицией и задушевностью. Дальше мне хочется сказать об этом подробнее, а пока отмечу, что в этом проявилась важная литературная традиция, идущая, пожалуй, от Герцена. Но дело не сводится к традиции. Основное — личность Тимирязева — это не только великий разум, но и великая душа. Поэтому о нем нельзя писать, как о других ученых. Анализ его работ был бы неполным, если бы он не включал общественно-политических характеристик, воспоминаний, впечатлений».

Тимирязев нашел в Комарове наиболее близкого по духу, по направлению научных интересов и по всему стилю научного творчества истолкователя, комментатора и биографа. По мнению Комарова, научный подвиг Тимирязева состоит в синтезе историко-биологического метода Дарвина с экспериментальными и теоретическими открытиями физики XIX века и в особенности с законом сохранения энергии.

Комаров рассказывает, как развивалось мировоззрение Тимирязева во второй половине его жизни, и показывает, как закономерно Тимирязев пришел к последовательному революционному мировоззрению.

Историко-научные работы и исследования В. А. Комарова показывают широту его интере-

сов и знаний, раскрывают представление о науке как о служении человечеству, выступают в защиту научного мировоззрения от реакционных идей. Все научное творчество Комарова характеризуется исконными чертами русской науки — широким энциклопедизмом, накоплением громадного эмпирического материала, научной смелостью и вместе с тем строгостью и патриотическим стремлением применять выводы науки для улучшения народной жизни. Эти черты приобрели у Комарова глубину и размах, свойственные советской эпохе.

Комаров нашел поле для применения своей широкой научной эрудиции и многогранного таланта в качестве признанного руководителя таких комплексных научных проблем как кадастр естественных производительных сил страны, индустриализация советского востока, мобилизация ресурсов страны на нужды обороны и др.

Накопление и обработка эмпирического материала идет сейчас с невиданным размахом, работа ведется громадным коллективом ученых. Характерный пример — упоминавшееся выше издание «Флора СССР», где собраны материалы, которые не мог бы одиночно доставить ни один ботаник. Но для продуктивности таким коллективом нужен ученый — выдающийся морфолог, систематик и географ с громадным опытом ботанических исследований.

Смелость мысли, чувство нового приобрели у Комарова особо плодотворное направление, так как он сознательно руководствуется научным методом Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, а душа этого метода — в непрерывных поисках нового.

Патриотизм Комарова проявляется в его широкой государственной деятельности. Он отдает силы научного творчества делу социализма, поднявшего советскую страну на недостижимую высоту и обеспечивающего планомерное применение науки для подъема народного благосостояния.

V

Поколение талантливых натуралистов России, внесшее лучшие традиции дореволюционной русской науки в арсенал советского естествознания, имело в своей первой шеренге В. А. Комарова. Социалистическая революция открыла широкие перспективы научной и общественной деятельности В. А. Комарова и вдохнула новые силы в работу ученых его поколения. Советская эпоха дала возможность полностью развернуть творческим силам русской науки. Она осуществила заветную мечту лучших умов и самых благородных сердец — поставила науку на службу народу, сделала науку могучим оружием для выполнения заветных чаяний народа. Деятельность В. А. Комарова, который воплотил в себе лучшие традиции русской науки и всегда, во всех своих помыслах и трудах был преданным сыном своего народа, осветилась новым светом и приобрела невиданный размах.

В 1920 году по представлению Ивана Петровича Павлова и других выдающихся ученых В. Л. Комаров был избран действительным членом Академии Наук. В Академии Наук В. Л. Комаров был одним из наиболее активных борцов за поворот науки к нуждам и запросам государственной жизни. В 1930 году В. Л. Комаров был избран вице-президентом Академии Наук Союза СССР. Вследствие тяжелой болезни президента, уже тогда значительная часть работы по руководству Академией лежала на нем. В 1936 году, после смерти Карпинского, В. Л. Комаров единодушно избирается президентом Академии Наук. Выдающийся исследователь русской природы становится руководителем советских ученых. Под его руководством происходит дальнейшее строительство научно-исследовательского центра советского государства. Он отдает все силы служению передовой науке, «которая — по выражению И. В. Сталина — не отгораживается от народа, не держит себя вдали от народа, а готова служить народу: готова передать народу все завоевания науки, которая облуживает народ не по принуждению, а добровольно, с охотой».

В работе Академии Наук В. Л. Комаров проводит с исключительной последовательностью и принципиальностью идеи служения народу, установки на максимальную близость науки к практике советского государства. Все отделения и институты Академии, все ее работники, все ученые СССР находят живую поддержку со стороны В. Л. Комарова в каждом начинании, служащем интересам социалистического хозяйства и культуры. Он пользуется громадным авторитетом и любовью в кругах ученых. Его хорошо знают и практики советской страны, прокладывая новые пути науки и техники, ставящие новые проблемы перед наукой, ищущие помощи научных центров.

В старой дореволюционной России ученый мог принести существенную пользу экономическому и культурному развитию государства, но эти возможности были узкими по сравнению с нынешним временем. Сейчас основная задача государства — применение науки для повышения народного благосостояния. Социализм — это переустройство общества на началах разума и науки. Каждый крупный государственный деятель СССР исходит из объективных закономерностей в развитии общества, техники и культуры, изучает эти закономерности, использует их для практической деятельности. В социалистическом государстве наука играет особую роль. Глава нашего правительства И. В. Сталин — великий корифей науки. Каждое правительственное начинание обогащает науку новыми идеями. Советские естествоиспытатели являются участниками этого планомерного переустройства техники и самой природы в нашей стране.

Комаров является непосредственным руководителем экспедиций Академии Наук.

Основной идеей, которая была положена в основу организации экспедиций, была идея комплексного изучения природы и хозяйства страны.

В. Л. Комаров со своим энциклопедическим знанием природы и хозяйства страны в значительной степени обеспечивает действительно комплексный характер руководимых им академических экспедиций. На совещаниях Совета по изучению производительных сил, в беседе с отдельными работниками он неустанно наталкивает мысль каждого специалиста на общие проблемы, которые объединяют представителей разных дисциплин вокруг общих задач.

Наряду с экспедициями громадную роль в освоении ресурсов страны играют филиалы и базы Академии Наук. Создание их — большая заслуга В. Л. Комарова. Он был инициатором этого дела. В 1930 году Владимир Леонтьевич на заседании Президиума Академии впервые заговорил о создании филиалов. В течение двух лет велась подготовительная работа, и в 1932 году открылся первый из филиалов Академии Наук — Дальневосточный. В. Л. Комаров стал его председателем. В том же году Владимир Леонтьевич, побывав в Средней Азии, организовал Таджикскую базу и Казахский филиал. В следующем году начал работу Закавказский филиал, впоследствии разделившийся на три: Грузинский, Армянский и Азербайджанский. В 1934 году возникла Кольская, а в 1936 году — Северная база Академии Наук. Сеть филиалов, баз и станций росла. Владимир Леонтьевич был непосредственным инициатором и организатором каждого филиала. Он стал председателем Совета филиалов и баз и повседневно руководит их работой.

Ряд филиалов стали самостоятельными академиями союзных республик (Грузия, Армения, Узбекистан). Вместе с академиями наук УССР, БССР и всеми другими академиями советских республик они входят в дружную семью советских ученых центров, во главе которых — президент общесоюзной Академии Наук В. Л. Комаров.

17 мая 1938 года товарищ Сталин выступил перед работниками советской высшей школы с речью о передовой науке. В. Л. Комаров, с характерным для него стремлением отдать все силы претворению в жизнь сталинских предначертаний, поставил перед Академией Наук новые задачи, вытекавшие из речи вождя.

Обращаясь к научной молодежи, Комаров напоминает о сталинской идее единства между молодыми и старыми кадрами науки.

«Товарищ Сталин. — пишет он, — в своей речи указал источник всепобеждающей силы научного творчества. Это всемогущий союз старых ученых и научной молодежи. Только та наука может быть названа подлинно передовой наукой, которая не мирится с монополистической замкнутостью... В этом отношении русская наука имеет традиции, которые восходят к ее истокам и которыми она вправе гордиться. Имеет их и Академия Наук. Уже первое поколение

русских научных деятелей стремилось поднять новые кадры ученых, передать следующему поколению свои знания; помочь ему овладеть еще большими знаниями, продвинуть науку еще дальше, завоевать ее высоты. Вдохновенные слова основателя русской науки Михаила Васильевича Ломоносова о «собственных Платонах и быстрых разумом Невтонах» навсегда остались в памяти народа. Но стремления Ломоносова, его горячее и страстное желание видеть русских ученых, стоящих на уровне величайших мыслителей человечества, натаккивались на тяжелые условия народной жизни, в которых только одиночки могли подняться к вершинам знания.

Великая социалистическая революция открыла молодежи широкую дорогу к науке. Крупнейшие представители старой интеллигенции раскрыли перед ней все двери. Александр Петрович Карпинский был учителем, старшим товарищем, внимательным и чутким руководителем для всего поколения советских геологов. Он был настоящим великим ученым, для которого интересы живой, развивающейся, передовой науки подчиняют себе все помыслы. А. П. Карпинский знал, что будущность принадлежит молодежи, что молодежь разрешит еще нерешенные задачи, и он всеми силами стремился ускорить новые победы науки, которые суждено было одержать его питомцам. Живое общение с молодежью вливало новые силы в научное творчество старого ученого. Великий русский физиолог Павлов, чьи идеи вдохновляют всех современных физиологов, дал классический пример близости старого, признанного всем миром мужа науки с молодой порослью новых ученых. Мыслитель, для которого наука — не застывший, мертвый груз его собственных работ и достижений, а живой, вечно юный, безостановочно развивающийся организм, — такой ученый не может стать «жрецом науки», ее монополистом. Его всегда будут звать к себе новые горизонты, новые задачи, и такой ученый будет стремиться к тому, чтобы его младшие товарищи решили эти задачи. И. П. Павлов был человеком напряженной и глубокой научной страсти. Он был целиком предан науке, ее безостановочному и безграничному прогрессу. Поэтому И. П. Павлов создал плеяду советских физиологов, которые поведут науку еще дальше и выше».

В речи товарища Сталина было дано классическое определение соотношений между научными традициями и поступательным движением науки. Комаров часто обращается к известным словам Сталина, сказанным на совещании стахановцев:

«Наука потому и называется наукой, что она не признает фетишей, не боится поднять руку на отжившее, старое и чутко прислушивается к голосу опыта, практики. Если бы дело обстояло иначе, у нас не было бы вообще науки, не было бы, скажем, астрономии, и мы все еще пробавлялись бы обветшалой системой Птолемея, у нас не было бы биологии, и мы все еще утеша-

лись бы легендой о сотворении человека: у нас не было бы жемии, и мы все еще пробавлялись бы прорицаниями ахимиков»¹.

Все содержание истории науки укладывается в эту гениальную формулировку, — говорит Комаров и вспоминает многовековую борьбу мировой науки против устаревших отживших традиций:

«Великий Галилей томился в застенках итальянской инквизиции за смелую защиту научного представления о движении небесных тел против отжившей птоломеевской традиции. Сторонники антинаучных библейских предрассудков травили Дарвина за перевернувшее всю науку объяснение эволюции живого мира. Подобно смельчаки двигали вперед и русскую науку. Какую силу отживших традиционных воззрений должен был преодолеть М. В. Ломоносов для того, чтобы задолго до появления современных физико-химических идей защищать атомизм, сохранение энергии, механическую теорию тепла, сохранение материи и т. д. Примером величайшей научной смелости, непреклонной строгости, последовательности и силы мысли является неевклидова геометрия Лобачевского. Менделеев, который на основании своего периодического закона описал свойства еще не открытых элементов, вошел в историю науки как один из самых смелых новаторов».

Далее Комаров говорит о Ленине как о величайшем из корифеев науки, и о блестящих образцах титанической смелости мысли, которую он находит во всей деятельности товарища Сталина.

С душевным подъемом и со свойственной ему широтой общественного кругозора Комаров пишет о той великой исторической полосе, в которую вступило советское государство под руководством товарища Сталина.

Исходя из задач, поставленных социалистической реконструкцией страны, Комаров перечисляет основные комплексные проблемы, которые должны быть решены Академией Наук.

Исходя из этого, составленный по указанию Комарова план работ Академии Наук включал ряд технических проблем, непосредственно связанных с третьей пятилеткой, а также более общие теоретические проблемы, необходимые для прогресса техники в более отдаленном будущем.

Выполняя задания, поставленные правительством, Академия Наук Советского Союза за годы революции стала общегосударственным научным центром. Она выполняет задания правительства, она дает свои заключения по народнохозяйственным и техническим проектам. Советские ученые известны народу: их открытия внедряются в практику, и каждый гражданин советского государства видит вокруг себя и на своем собственном опыте и примере плодотворные результаты внедрения научных открытий в жизнь. Народ видит в ученом борца за лучшую

¹ И. Сталин. Речь на I совещании стахановцев.

жизнь, деятеля своего государства. Служение Родине стало сейчас государственной деятельностью, и слуга народа — ученый — это государственный деятель, облеченный доверием народа и народной любовью.

В этом глубокий смысл избрания ученых в состав Верховного Совета Союза ССР. При выборах в Верховный Совет избиратели Дзержинского избирательного округа города Москвы послали Комарова своим депутатом в Верховный Совет. Он был кандидатом блока коммунистов и беспартийных и получил почти сто процентов голосов по своему округу.

Всю свою энергию, всю преданность народу, отзывчивость и внимание к людям В. А. Комаров проявляет при выполнении обязанностей депутата Верховного Совета СССР. Передовой ученый, избранный народом, он принимает активное участие в законодательной работе, поддерживает тесную связь с избирателями и в эту свою почетную и ответственную работу вносит большую сердечную теплоту к людям и непримиримость ко всему, что мешает дальнейшему повышению политической, хозяйственной, культурной мощи страны.

VI

Любовь к своему народу, чувство интернациональной солидарности, борьба за прогресс, за лучшее будущее человечества, преданность разуму, науке, цивилизации, — все это объединяется в понятии гуманизма. Ученый не может не быть гуманистом, иначе он изменяет самому главному содержанию науки. Наука патриотична, она служит своему народу и черпает в нем свои силы. Наука интернациональна и требует уважения к творчеству других народов, к их языку и культуре. Наука — самое сильное оружие прогресса. Наука — синоним разума человечества. Советская наука развивается в государстве, которое с самого своего возникновения было враждебно империализму, угнетению и реакции и боролось за общечеловеческие идеалы. Естественно, что советская наука проникнута и воинствующим гуманизмом. Один из самых замечательных советских ученых В. А. Комаров — выдающийся гуманист современности.

Когда Гитлер напал на Советский Союз, Комаров стал не только руководителем практической борьбы советских ученых за расширение оборонных ресурсов, — он стал вдохновенным проповедником гуманизма, и его голос зазвучал в стране и за ее пределами.

Ученый видел, какая опасность угрожает Родине. Он с гордостью указывал на культурные ценности страны — залог ее мощи. Летом 1941 года, в один из наиболее тяжелых моментов Отечественной войны, в то время, когда гитлеровские войска рвались к сердцу России, Комаров напоминал о громадном культурном вкладе, который народы Советского Союза внесли в прошлом и настоящем в сокровищницу мировой науки.

Комаров призывал к защите этих ценностей, к защите свободы и независимости народа, ко-

торый дал так много человечеству. Он видел, что опасность угрожает и всему человечеству.

В ряде своих выступлений он говорит о несовместимости фашизма с самим существованием цивилизованного человечества. Он рисует несколькими яркими штрихами мировую цивилизацию и перечисляет сокровища мирового гения, созданные усилиями мирных народов земли. Он говорит о том, что всей мировой цивилизации угрожает опасность полного истребления. Нацисты стремятся к уничтожению всех культурных центров, всех очагов просвещения и науки. Они хотят превратить весь мир в пустыню, в царство культурного одичания. В одной из своих статей, направленных против гитлеризма, Комаров писал:

«Фашисты захватили Францию. Они думают, что навсегда стерта с лица земли культура, вырастившая философскую мысль Декарта, разящую иронию Вольтера, изящество математических построений Лапласа, художественную законченность Стендаля и Франса. Но французская культура еще возродится».

«Фашисты хотят разрушить английскую культуру. Страна, которая была родиной технического переворота, машинного производства и пара, откуда раздалась проповедь экспериментального естествознания, где работали Ньютон, Фарадей, Максвелл, Дарвин, где искусство дало миру Шекспира, — эта страна полна решимости продолжать борьбу до полной победы над гитлеровской Германией».

«Фашисты хотят стереть с лица земли культуру славянских народов. Они запретили язык, сожгли школы, разрушили города, растоптали искусство поляков, чехов, словаков, сербов, хорватов, македонцев, черногорцев, словенцев и других славян...»

Комаров призывал цивилизованные свободные народы к международной солидарности перед лицом опасности. Образцом высокого гуманистического порыва служит выступление Комарова по радио в ноябре 1941 года посвященное науке антифашистской коалиции.

В каком благородном сочетании даны здесь глубокая любовь к своему народу и его культуре и уважение к другим народам и к культурному творчеству всех народов земли!

Комаров показывает, что три великие демократии современности — Советский Союз, США и Англия обладают гигантскими научно-техническими потенциями для разгрома врага, и этим они обязаны демократии, под знаменем которой только и может развиваться подлинная наука.

Выдающийся ученый сравнивал Отечественную войну с самыми замечательными и благородными битвами прошлого. В статье «Благородные и возвышенные цели Отечественной войны» Комаров вспоминает о Марафонском сражении; «Марафонская победа была началом усиления афинской демократии и небывалого расцвета культуры в Афинах. В этой войне были проявлены чудеса героизма. После Марафонского сражения — Фермопильская битва, где Леонид с тремястами спартанцев все до еди-

ного полегли, чтобы не покинуть своего поста, оставив потомству и народу гордую надпись: «Прохожий, возвести спартанцам, что здесь мы полегли, их заветам повинуюсь».

Комарову принадлежит глубоко прочувствованный образ защиты цветущей Родины от агрессии: «Когда я думаю о нашей советской земле, мне, старому русскому натуралисту, вспоминается сад, выращенный покойным Иваном Владимировичем Мичурным. Его заполняли прекрасные плоды земли, труда и гения. В этом цветущем уголке мысль неслась к таким же цветущим и плодоносным просторам всей нашей Родины, которую благодатная, неисчерпаемо богатая природа и самоотверженный труд миллионов сделали цветущим садом. Невольно думалось о том, что каждый из нас сделал бы при вторжении диких, бешеных зверей, которые начали бы топтать и ломать наш сад. Защита его и истребление ворвавшегося зверя были бы прекраснейшим, благородным делом.

Но здесь аналогия обрывается. Сейчас врывающееся зверье угрожает не только земле и плодам труда. Оно уничтожает человеческие жизни. Фашисты несут смерть, насилие и поругание людям. А люди, как говорит Сталин, дороже всего. Мы выращиваем их, как садовник выращивает любимое дерево, и жизнь, радость, достоинство каждого человека, большого и маленького, мы защищаем всей мощью государства. Мы гуманисты. Нам дороги леса и степи Родины: ее ландшафт, ее небо, нам дороги ее богатства и ценности, но в тысячу раз нам дороже самое замечательное, самое драгоценное: наши замечательные люди — творцы и герои, наш благородный, широкий и вольный, талантливый и умный советский народ. Защитить свой народ, свою страну, жизнь детей, честь женщин — вот благородная задача Красной Армии».

И Комаров относится с любовным уважением к бойцам Красной Армии. Он часто называет их рыцарями демократии и прогресса. В цитированной выше статье Комаров писал:

«Бойцы Красной Армии — истинные рыцари. Каковы бы ни были средневековые, закованные в железо бойцы турниров и феодальных сражений, в сознании человечества рыцарство стало синонимом бесстрашия, героизма, благородного порыва, великодушная помощи и защиты женщин и слабых.

Кто же достоин этого имени больше, чем герои Отечественной войны против фашизма? Не теutonские крестоносцы-убийцы, вероломные предатели и грабители были рыцарями. Рыцарями в благородном смысле этого слова были бойцы национально-освободительных войн: Вильгельм Телль, Гарибальди, коммунары. Рыцарями были русские — победители на Чудском озере, Куликовом поле и Бородине. Рыцарями были Чапаев, Щорс и Лазо. Рыцари — это освободители Ростова, Калинина и сотен населенных пунктов, где были возвращены к жизни тысячи людей».

Образ бойца Красной Армии постоянно стоит перед мысленным взором Комарова. Близкие ему люди навсегда запомнят тот особенный тон, которым Комаров говорит о бойцах Красной Армии. Он неоднократно говорил нам после чтения сводок информбюро о странном чувстве, которое его охватывает. «Здесь, — говорил Комаров, — и какая-то легкая грусть о том, что по возрасту уже не можешь быть рядом с бойцами на фронте, и некоторое удовлетворение, что своими знаниями и опытом в какой-то мере помогаешь им побеждать врагов, и большая всепоглощающая гордость за свой народ...»

Историческую роль Красной Армии Комаров рассматривает в перспективе веков. Хочется привести один отрывок, в котором о Красной Армии говорит мыслитель, озирающий одним взглядом длинный ряд предыдущих и вереницу последующих веков. Вот этот отрывок:

«Когда афиняне защищали от нашествия не зависимость и свободу родины, они отстаивали замечательную древнегреческую цивилизацию — колыбель мировой науки и искусства. Защита Советского государства — спасение культуры от смертельной опасности, которая грозит ей полным уничтожением. Никогда такая опасность не грозила миру и никогда, надо надеяться, не будет угрожать. Поэтому и в прошлом и в будущем не было и не будет такой благородной, прогрессивной и справедливой войны, как та война, которую ведет сейчас Красная Армия...»

VII

На западе иногда считали чудом расцвет советской промышленности после ее эвакуации в восточные районы в 1941 году. Между тем этот расцвет был подготовлен многолетней политикой советской власти, социалистическим воспитанием народа и в ряду других условий — деятельностью советских ученых. В последней особенно ярким этапом была работа Комиссии по мобилизации на нужды обороны ресурсов Урала, а затем — Западной Сибири и Казахстана.

Осенью 1941 года множество предприятий должно было быстро увеличить производство на новых площадках, на новом сырье и топливе, в новых условиях транспорта и снабжения. В это время на Урал приехал Комаров. Он пришел то звено, где его деятельность могла принести наибольшую пользу делу победы. С помощью И. П. Бардина и группы специалистов Комаров создал новую форму научной коллективной деятельности, обеспечивающую наиболее быстрое освоение ресурсов, — организовал Комиссию по мобилизации ресурсов Урала.

Чем был Урал для России и для всей антифашистской коалиции зимой 1941—42 года? Он был самой важной промышленной базой обороны.

Комаров дал в высшей степени глубокий и интересный анализ структурных сдвигов в хозяйстве Урала, вытекающих из современной и военно-производственной техники.

Черная металлургия остается одним из важнейших звеньев подготовки государства к войне. Рудная база Урала позволяет очень быстро увеличивать выплавку высококачественного чугуна и стали. Научные исследования и в особенности геологические изыскания подготовили много рудных месторождений к эксплуатации. Использование этих месторождений могло сразу расширить добычу руды до таких масштабов, которые бы обеспечили сырьем все металлургические заводы Советского Союза. Но в этот момент необходимо было перейти на новую, прежде всего на местную марганцевую базу, так как в это время немцы захватили Никопольский район, откуда русская металлургия получала марганец. И Комаров выполняет задание правительства ученым — освоить местный уральский марганец.

Обогащение местных марганцевых руд, усиление транспортной связи между марганцевыми заводами и месторождением марганца — из этого исходил Комаров, намечая проблемы, подлежащие разработке, к которой он привлек геологов, технологов и экономистов. Далее Комаров указал и на другие проблемы металлургии.

Вторая основа современного военного производства — это легкие металлы. В своих выступлениях и в практической работе на Урале Комаров подчеркивал, что военная техника существует на новые принципы раньше, чем мирное производство. В частности, легкие металлы в военной технике стали уже не дополнением, а одним из основных материалов производства машин.

«На Урале имеется редкое сочетание громадных бокситовых запасов и расположенных вблизи от них, легко доступных, допускающих открытую эксплуатацию, угольных месторождений; все это обеспечено водными ресурсами. Поэтому здесь может в недалеком будущем вырасти крупный центр алюминиевой промышленности. Велики возможности Урала и в части производства магниевых сплавов».

Третья основа военной техники — химическое сырье и четвертая — жидкое топливо. Во всех этих областях Урал играет быстро растущую роль.

Какой же принцип был положен в основу расширения уральской промышленности в основу подготовки энергетических и сырьевых баз? Был положен принцип немедленного расширения производства. «Повсеместно нужно выбирать упрощенные схемы и конструкции и вообще те пути технической реконструкции, которые требуют сейчас минимальных вложений и дают максимально быстрый эффект», — писал Комаров.

Важнейшим условием для быстрого развития уральской промышленности служит расширение энергетической базы.

Намечая размещение электростанций, Комиссия Комарова исходила из того же принципа максимального темпа строительства и ввода в эксплуатацию новых мощностей. Вместе с тем громадное значение уральских заводов для фронта требовало немедленного обеспечения

бесперебойности и абсолютной надежности электроснабжения.

Комаров и его сотрудники увидели, что расширение сырьевой и топливной базы, новые промышленные центры и новые технологические связи уральской промышленности означают громадный прирост перевозок угля, руды, металла и леса. Поэтому перед коллективом ученых была поставлена задача разработать транспортные проблемы, связанные с ростом грузопотоков и повышением пропускной способности уральских дорог.

Наконец, земледелие Урала должно освоить новые площади и включить новые культуры. Для этого необходимы данные о почвах, климате и т. д.

Приступая к работе по мобилизации ресурсов Урала, Комаров увидел, что в дни войны научное исследование требует новых форм.

Новой формой научной организации для разработки военных комплексных проблем и была Комиссия по мобилизации ресурсов Урала на нужды обороны, которая объединила работу Академии Наук СССР и других научных учреждений, включила руководителей и специалистов промышленности и работала в тесном контакте с промышленными предприятиями Урала. В результате деятельности этой Комиссии Комаров направил правительству составленный им и его сотрудниками большой труд о сдвигах в хозяйстве Урала, обеспечивающих развитие военного производства. Впоследствии работа Комиссии расширилась, охватила Казахстан и Западную Сибирь.

В Казахстане В. А. Комаров лично руководил разработкой важнейших народнохозяйственных предложений, охвативших все основные районы республики. В числе этих предложений — мероприятия по расширению добычи и применению карагандинских углей, развитию выплавки меди в Балхашском и Жезказганском комбинатах и добыче медных руд в Жезказгане и Коунраде, созданию в Казахстане черной металлургии и добыче железной и марганцевой руды, развитию Орско-Актюбинского комбината эмбенской нефти, разрыванию химической промышленности и цветной металлургии и т. д.

Обо всех этих работах Комаров писал:

«За всю свою полувековую научную деятельность я не испытывал такого глубокого нравственного удовлетворения, как в работе по мобилизации неисчерпаемых ресурсов нашей великой страны на дело обороны. Союз науки и труда, то, о чем всегда мечтали лучшие умы и благороднейшие сердца, стал сейчас как никогда тесным и мощным».

Когда геолог ищет новые никелевые руды и знает при этом, что найденный им никель пойдет в броню наших танков, тогда силы, зоркость, энергия ученого удесетеряются. Когда технолог находит новые пути для получения алюминия и знает, что из этого алюминия будут сделаны наши боевые машины, тогда его изобретательность и научная смелость увеличиваются во много раз».

Сейчас еще рано оглядываться назад, но уже можно сказать наверняка, что эти работы войдут в историю науки, как один из самых ярких ее этапов. Действительно, никогда еще наука так тесно не сплеталась с практикой, никогда еще не направляла свою мощь против такой грозной опасности. Но этим дело не ограничивается. Подъем науки, связанный с именем Комарова, скажется и в больших естественно-научных обобщениях.

Великий русский математик Чебышев однажды говорил о движущих силах науки. Сначала он вспомнил знаменитую задачу об удвоении куба. Согласно древне-греческой легенде, однажды на острове Делосе вспыхнула чума, и оракул объявил, что Аполлон прекратит эпидемию, если жертвенный кубический алтарь в его храме будет увеличен вдвое по объему, сохранив кубическую форму. Таково легендарное происхождение одной из геометрических задач древности. В XVII веке некоторые гениальные ученые (Паскаль, Ферма и другие) имели

обыкновение ставить перед своими современниками те или иные задачи, и это в большей степени двигало науку вперед. «Математика — говорил Чебышев—пережила три периода: в первом задачи ставились богами (Аполлоном), во втором — полубогами (гениями XVII в.), а теперь эти задачи ставит людская нужда».

«Людская нужда» — потребности человеческой практики двигают науку к самым широким обобщениям. Но никогда еще в мировой истории «людская нужда» не была такой настоящей, такой острой, как в этой войне, когда опасность угрожала самому существованию цивилизации. Сейчас человечество уже подошло к победе над разрушительными силами гитлеризма. Но подъем науки продолжается и будет продолжаться. Уничтожение нацистской угрозы открывает большие перспективы перед мировой культурой и наукой. Советская наука под водительством Сталина пойдет к новым достижениям.

РОМАН О СТАЛИНГРАДЕ

А. МАКАРОВ

★

Читая роман Константина Симонова «Дни и ночи», испытываешь чувство приобщения к живой действительности.

«Обессиленная женщина сидела, прислонившись к глиняной стене сарая, и спокойным от усталости голосом рассказывала о том, как сгорел Сталинград», — такой строгой, нарочито-спокойной фразой начинает Симонов свой роман. В сдержанной манере написана вся книга. Автор заговорил о войне языком простых образов и сильных чувств. И подлинный смысл событий, их суровая напряженность, значительность их содержания выступили на первый план.

В романе Симонова война представлена не со стороны наблюдателя, а думами ее участника, для которого тяжкий труд солдата — его личный труд, военная неудача — личная трагедия и горе, военный успех — личное, взятое с бою счастье. Война в романе предстает в ее повседневном облике, одновременно сложном и простым.

Изображая поведение людей в бою, Симонов просто и естественно объясняет их поступки, не испытывая ложной боязни унизить своих героев перед читателем.

«Как ни страшно было тут оставаться, еще страшней было пройти те сто метров, которые отделяли штурмующих от стен самого дома. И людям не хотелось расставаться с этой защитой. Они залегли за стенки фонтана и некоторое время никак не могли решиться двинуться дальше. Сабуров несколько раз выползал вперед за фонтан, вытягивая за собой людей, и снова возвращался за остальными. Пулеметные очереди все тесней прижимали их к земле, хотя потерь пока еще почти не было...

...Последние пятьдесят метров уже никого не пришлось поднимать. Переждав еще одну пулеметную очередь, все рванулись как-то решительно и разом вперед к уже видневшимся стенам домов, как к якорю спасения... Желание, которое, чем ближе к концу, тем больше овладевает чувствами идущего в атаку человека, — желание ширяться на штык, дотянуться своей

рукой до немца — безотчетно подняло их и бросило вперед».

Эта картина идет в разрез с весьма распространенными в военной беллетристике приподнятыми представлениями о переживаниях бойца в сражении. Симонов увидел и сумел передать сложное переживание человека в бою, как внешне простое, предельно собранное, единое чувство, заполняющее все существо человека.

«Если бы его (героя романа Сабурова—А. М.) когда-нибудь потом попросили описать все, что с ним происходило в этот день, он мог бы рассказать это в нескольких словах: немцы стреляли, мы прятались в окопах, потом они переставали стрелять, мы поднимались, стреляли по ним, потом они отступали, начинали снова стрелять, мы снова прятались в окопы и, когда они переставали стрелять и шли в атаку, мы снова стреляли по ним.

Вот, в сущности, все, что делал он и те, кто был с ним. Но, пожалуй, еще никогда в его жизни он не чувствовал такого упрямого желания оставаться в живых. Это был не страх смерти и не боязнь, что оборвется жизнь, такая, какая она была, со всеми ее радостями и печалью, и не боязливая мысль о том, что придет завтра, а его, Сабурова, уже не будет на свете.

Нет, весь этот день он был одержим одним единственным желанием дождаться той минуты, когда наступит тишина, когда поднимутся немцы, когда можно будет самому подняться в атаку и стрелять по ним...»

Своим безыскусственным, правдивым рассказом Симонов сразу завоевывает доверие читателя, и оно укрепляется по мере чтения книги.

В романе Симонова впервые находят отражение некоторые события сталинградской эпопеи. Для каждого советского человека битва за Сталинград является не только событием общественным, государственным, но и решающим моментом личной судьбы. Естественно желание Симонова — показать сталинградскую битву. И хотя автор не ставил перед собой задачи дать всеобъемлющую картину героической обороны.

раскрыть полностью ее историческое значение, все же облик города-героя встает перед нами в романе во многих существенных чертах и деталях.

В этом заслуга Симонова, который обладает умением в малом показать значительное, скрупулезным штрихом разбудить воображение читателя, помочь его воображению дорисовать едва намеченное в книге.

Из коротких информаций, изредка разбросанных в книге, из описаний переправы, блиндажей, обороняемых домов возникает картина сталинградской обороны.

Писатель достигает этого весьма простым приемом. Он заставляет читателя смотреть на обстановку и оценивать ее глазами человека, свыкшегося с ней. Вот, например, он описывает первое впечатление Сабурова, вернувшегося из госпиталя в свой батальон:

«За то время, что его не было здесь, Сталинград неузнаваемо переменялся. Раньше все полетения было загромождено пусть полуразбитыми, но все-таки домами. Сейчас местами глазу открывался почти простор. Тех трех домов, которые защищал батальон Сабурова, в сущности, уже не было, — были только фундаменты, на которых кое-где сохранились остатки стен и нижние части пролетов окон. Все это выглядело, как распиленная пополам детская игрушка. Слева и справа от домов тянулись сплошные развалины. Кое-где торчали трубы. Остальное сейчас, ночью, свалилось в темноте и выглядело холмистой каменной равниной. Казалось, что дома ушли под землю, и над ними насыпаны могильные холмы из кирпича.

Сабуров вдруг удивился: неужели все это произошло за те восемнадцать дней, что он отсутствовал».

И нельзя не почувствовать вместе с Сабуровым, «как огромно было все, что творилось вокруг него и в чем он участвовал».

Обстановка дается Симоновым в ее непрерывном изменении, мы не то что видим, но чувствуем, как все сильнее нарастают трудности, усложняются условия, в которых действовали защитники города.

С юмором рассказывает Симонов о том, как полковник Проценко умолял командующего подкинуть подкрепление его дивизии, в которой всего 1500 штыков, и при этом шептал, умолчал о том, что в последние дни переправил с того берега и сделал бойцами еще сто человек своих тыловиков. Хитрость Проценко добродушно разоблачает член Военного Совета Матвеев. Эта освещенная улыбочкой сценка говорит ярче, чем любая самая подробная корреспонденция.

Сталинградская эпопея послужила материалом для романа не потому, что эти события были автору известны более, чем другие, а потому, что она давала писателю наилучшую возможность показать советский воинский характер. Именно это составляет, как нам кажется, основной замысел Симонова.

Оборона Сталинграда была поворотным пунктом всей Отечественной войны, предвестием за-

ката немецко-фашистской армии. Здесь войны Красной Армии стояли насмерть, являя миру беспримерное мужество и героизм. Борьба шла за каждый дом, за каждый бугорок, за каждую пядь советской земли. «Отдельные дома фигурировали в сводках, не только батальонных, но и штабных, и армейских». В сталинградском сражении немцы применили всю свою военную технику, которую они считали непревзойденной, и убедились, что Красная Армия по своей оснащенности и умению использовать боевую технику сильнее их. В действиях рядовых советских воинов под Сталинградом с наибольшей полнотой выразились истинные качества русского солдата — смелость, стойкость, неистощимая изобретательность, сноровка и высокое мастерство, приобретенные в ходе войны.

Командиры Красной Армии показали, что они уже «научились сочетать личную отвагу и мужество с умением руководить войсками на поле боя», — достигли своей офицерской зрелости. Здесь выявилось полное и несомненное превосходство советского военного искусства над немецкой стратегией и тактикой и был осуществлен самый смелый и широкий план разгрома противника, какой когда-либо знала военная история.

Симонов рассказывает о «днях и ночах» одного подразделения — о батальоне капитана Сабурова. Как не случается у Симонова выбор места действия, так же не случайным нам кажется и выбор им войсковой единицы. Стрелковый батальон является таким тактическим подразделением пехоты, которое способно самостоятельно выполнять все боевые задачи. Он — та капля, в которой отражаются свойства всего океана.

Центральные герои романа — командир батальона капитан Сабуров, его ближайшие помощники: комиссар Ванин, начальник штаба Масленников и ряд высших офицеров, прямых начальников Сабурова: командир полка Бабченко, командир дивизии Проценко, работники штаба армии и соседних подразделений. Писатель показал нам творческое боевое взаимодействие этих людей в труде войны, стиль военного руководства советских командных кадров. Сабуровский батальон изображен Симоновым, как одухотворенная клетка огромного организма, функции которой необходимы для всего организма и в свою очередь определяются общей его жизнью.

Уже по одному перечислению основных персонажей романа видно, что внимание автора сосредоточено, главным образом, на офицерстве. В условиях Великой Отечественной войны, отличающейся невиданным масштабом операций Красной Армии по окружению и уничтожению противника, офицер — решающая фигура. Поэтом на нем Симонов и остановил свой выбор.

В изображении героев автор во многом следует животворящей традиции классической русской литературы. Шестдесят лет назад Саалтыков-Щедрин, сравнивая русского офицера с офицером-немцем, писал:

«... Самый гнетущий элемент берлинской уличной жизни — это военный. Сравнительно с Петербургом, — военный гарнизон Берлина не весьма многочислен, но тела ли у прусских офицеров дюжее, груди ли у них объемистее, как бы то ни было, но делается положительно тесно, когда по улице проходит прусский офицер. Идет румяный, крупчатый, довольный, точно сейчас получил жалованье, что не мешает ему, впрочем, относиться к ближнему с строгостью и скоростью... Он всем своим складом, посадкой, устоем, выпяченной грудью, выбритым подбородком так и тычет в меня: я герой! Мне кажется, что если б вместо того, он сказал: я разбойник и сейчас начну тебя свежевать, — мне было бы легче..»

Наш русский офицер никогда не производил на меня такого удручающего впечатления. Прежде всего, он в объеме тоньше, и грудой у него таких нет; во-вторых, он положительно никому не тычет в глаза: я герой! Русский человек способен быть действительным героем, но это не выпячивает ему груди и не заставляет таращить глаза».

Говоря об особенностях представителей двух искони противостоящих армий, Щедрин отметил их типично-национальные черты, «которым, как показала история, суждено было укрепиться и развиться в будущем. Щедринский пруссак всего лишь самодовольный тупица, который современем вырастет в гитлеровского разбойника; способность русского человека быть действительным героем, не утрачивая при этом скромности, в советских условиях приобретает массовый характер».

Героизм является нормой повседневного поведения всех без исключения героев симоновского романа — офицеров и солдат. О нем в романе не говорят, он проявляется на деле

Командир батальона Сабуров по специальному заданию генерала пробирается в полк Ремизова, отрезанный немцами от остальной дивизии. Он ползет по самому краю берега, по подмерзшей земле. Враги ведут огонь, Сабурову приходится сразиться врукопашную с немцем, спустившимся за водой. Наконец, усталый, измучившийся, он достигает ремизовского полка. Получив необходимые сведения, Сабуров отправляется тем же путем обратно. На этот раз его сопровождает командир Филипчук, который должен получить распоряжения у генерала. Автоматные очереди продолжают бить по обрыву. Филипчук убит. Взяв документы убитого, Сабуров ползет дальше и, напрягая всю волю, добирается до генерала. Однако нужно снова отправить Ремизову приказ, составленный на основе его донесения. Филипчук погиб, а другие не знают дороги, выбор генерала снова останавливается на Сабурове. «Итти труднее, а пойти легче», — говорит ему начальник штаба. И Сабуров отправляется в третий рейс.

Есть в романе очень бегло очерченный, трехстепенный образ бойца Степанова.

«Степанов непреднамеренно сделал серьезный проступок. С ним произошел шок: он не вынес

ужаса и пополз назад. Может быть, если бы он дополз до берега Волги, он бы опомнился и вернулся обратно». Ведущее тут же в батальоне следствие неожиданно прерывает немецкая атака. Следователь бросается в бой... «Красноармеец, охранявший Степанова, в сомнении посмотрел на него, потом на пролом в стене, потом снова на Степанова и, спокойно сказав: «Ты посиди пока тут», вылез вслед за следователем». Атака отбита, Степанов перевязывает своим индивидуальным пакетом раненого в руку следователя, и допрос продолжается. Но он прерывается новой атакой. Степанов снова остается один. «Он растерянно огляделся по сторонам. За стеной слышались близкие выстрелы. Степанов еще раз поглядел по сторонам и полез в пролом следом за конвоиром. Выскочив на ружу, он огляделся и, увидев рядом с лежащим на земле трупом красноармейца винтовку, схватил ее... Потом поднялся, пробежал несколько шагов и, перевернув винтовку, прикладом ударил по голове набжавшего на него автоматчика».

Атака отхлынула, выстрелы гремели уже далеко за стеной. Степанов встал и, не зная что делать, подошел к стене, где лежали следователь и конвоир».

Степанов не думает о том, что его поступок является героическим. Действующие лица романа совершают то, что от них требует воинский долг — просто, спокойно, так, «что вы убеждены, они еще могут делать во сто раз больше... они все могут делать» (А. Толстой). Они не кичатся своими заслугами, считая, что выполняют лишь ту суровую работу, которая возложена на их плечи войной, и не теряя из виду цели, ради которой творят свой солдатский труд.

«Ты знаешь, — говорит Сабуров своему начальнику штаба, — иногда, когда мне вдруг хочется сделать что-то слишком рискованное, я удерживаю себя тем, что думаю о войне... Чем дольше она будет тянуться, тем больше будут цениться люди, которые ее начали с первых дней и дожили до конца».

Этим людям чуждо сознание обреченности. Наоборот, они исполнены сознания того, что их жизнь нужна Родине. Они стремятся как можно хозяйственнее организовать свой быт на войне, чтобы выжить, выдержать бой и быть готовыми к новым, еще более тяжким битвам.

Герои романа понимают, что для победы мало самопожертвования и героизма, что необходимо научиться бить врага наверняка, как этого требует современная военная наука, с учетом сильных и слабых сторон врага, и потому в условиях, где каждая минута может быть последней в жизни человека, они не перестают учат и сами учатся искусству побеждать.

«Людей учить надо, — говорит генерал Проценко. — День и ночь надо учить... Потому что, если ты его сегодня не научишь, то завтра его убьют, и не просто убьют. Просто убьют, — ну что ж, на то и война, а задаром убьют, вот что печально». Генерал сам учит не только бойцов, но и командиров. Заметив небрежно от-

рытые окопы, он говорит, что на войне убивает «не только немец, а, случается, еще и лень», и приказывает минометчику углубить окоп. Его примеру следует и Сабуров, и старшина Конюков, передающий бойцам свой опыт солдата, провоевавшего две войны.

В ходе войны неустанно учится вся армия снизу доверху. В моменты, когда недостача в людях ощущается, казалось бы, особенно сильно, командование находит возможным и необходимым отсылать людей на учебу в академию, в Москву.

Обо всем этом Симонов рассказывает без прикрас, с тою же скромностью, с какою действуют бойцы нашей армии, понимая, что дело героев так значительно, подвиг их настолько несомненен, что не нуждается в искусственном подсвечивании.

Писатель не просто ставит читателя перед фактами героического поведения людей, он стремится объяснить истоки массового героизма Красной Армии.

Главные из этих истоков — любовь к родине, вера в силу и величие справедливых целей нашего государства, в самоотверженность свободолюбивого народа, которому никто в мире не способен навязать свою волю. Замечательная особенность советского человека — всегда смотреть вперед и сквозь все преграды идти к намеченной светлой цели.

Капитан Сабуров, дойдя до Сталинграда, вспоминает страшное расстояние, отделяющее его от границы. Он думает не о том, как он шел сюда, а как ему придется идти обратно. «И было в его невеселых мыслях то особенное упрямство, свойственное русскому человеку, не позволявшее ни ему, ни его товарищам ни разу за всю войну допустить возможность, при которой не будет этого «обратно».

Такие мысли были мыслями каждого бойца и каждого мирного жителя. «Ох, и далеко ж их (немцев — А. М.) гнать, — сказал молодой связной, пуская дым колечками и глядя в потолок. — Далеко, — добавил он с выражением полной уверенности, что именно так и будет. Видимо, его огорчало только расстояние до границы». И женщина сталинградка, лишенная родного крова, рассказывая о пережитом, вспоминая руины Сталинграда, говорит задумчиво и убежденно: «Денег-то сколько, трудов сколько... обратно построить все».

Значимость этих слов в том, что произнесены они в самые тяжелые минуты жизни народа, когда нависшая над страной угроза достигла наивысшего напряжения. В самом Сталинграде «наступила та минута, когда человеку, верящему только в военную теорию, могло показаться, что защищать город дальше бесполезно и, пожалуй, даже невозможно».

Тяжесть сложившейся обстановки вполне ясна защитникам города. Полковник Бобров, переправляющий батальон Сабурова через Волгу, определяет ее так:

«— Трудно, — сказал полковник. — Трудно... — И в третий раз шопотом повторил: —

Трудно! — словно нечего было добавить к этому исчерпывающему все слову.

И если первое «трудно» означало просто трудно, а второе «трудно» — очень трудно, то третье «трудно», сказанное шопотом, значило — страшно трудно, дозарезу».

Но именно эта тяжесть момента укрепляет в людях силу и волю к борьбе.

Чувство острой шемящей боли, чувства стыда, с которым Сабуров, а с ним другие герои оставили родные города, здесь достигает своей наивысшей точки и мобилизует все душевные и физические силы людей. Сабуров ощущает судьбу отстаиваемого им кусочка земли, как судьбу Родины. Он всем существом чувствует, что защищаемые его батальоном дома — эти три дома, разломанные окна, разбитые квартиры, он, его солдаты, уже зарытые в землю, убитые и живые, женщина с тремя детьми в подвале, — все это вместе взятое была Россия, и он, Сабуров, защищал ее».

Так же думают Проценко, полковник Ремизов. Проценко не может допустить, чтобы немцы вышли на берег на его участке. «Это же для всей России огорчение, — говорит он. — Понимаешь? Не хочу Россию огорчать». А полковник Ремизов, познакомившись с планом возвращения захваченного немцами дома, удовлетворенно замечает Сабурову: «Дом — это много, почти вся Россия».

Герои романа не мыслят своего существования отдельно от судеб Родины и потому сражаются беззаветно. Смысл жизни для них в службе отечеству, и иного смысла не может быть. Личными подвигами и даже смертью они утверждают бессмертие народа.

Но героические нормы их поведения проистекают не только из понимания создавшихся условий, не только из чувства патриотизма, но и из совершенно нового, неведомого в прежние войны чувства полной уверенности друг в друге и своем командовании и необоримой веры в мудрость верховного руководства. Это создает отличающее советскую армию понимание друг друга с полуслова людьми, стоящими на различных ступенях армейской лестницы.

Когда член военного совета армии Матвеев приехал в штаб фронта просить абсолютно необходимую ему дивизию, между ним и членом военного совета фронта происходит следующая многозначительная сцена. «После длительной паузы они переглянулись, и член военного совета фронта, пододвинувшись вместе со стулом ближе к столу, где лежала развернутая карта фронта, положив на нее обе руки, точно призывая к ней внимание Матвеева, сказал:

— Мы не хотим вам отказывать, товарищ Матвеев, в том, что вы просите, потому что вы просите законно, но мы очень хотим, чтобы вы отказались от своих просьб сами. А для этого вам нужно, если не понять (потому что понять это все целиком, может быть, еще и нельзя), то почувствовать, по крайней мере, хотя бы немного почувствовать, что должно произойти в будущем...

— Если мы вам скажем, товарищ Матвеев, что у нас нет дивизии, чтобы вам дать, или даже двух дивизий, то мы скажем неправду: они у нас есть...»

И дальше в ответ на возникающие у Матвеева мысли член военного совета, «подвинув по карте обе руки так, что Матвеев невольно обратил внимание на его движение, остановил их одну южнее, а другую севернее Сталинграда, потом повел их обе вперед и далеко за Сталинградом, — там, где на карте были Серафимович, Калач и другие придонские города, — решительным движением сомкнул обе руки».

Больше всего волнует читателя в этой сцене не то, что потрясенный Матвеев, даже не согласовав с командующим армией, отказывается от необходимой ему дозарезу дивизии, а то, что он сам смутно угадывает гениальный, поражающий дерзостью план разгрома противника и ни на мгновение не сомневается в возможности его осуществления.

Матвеев ничего не говорит Проценко об этом плане, он лишь несколькими намеками дает ему понять близость коренного перелома в событиях, но Проценко, оставшись один, приказывает подать карту и начинает размышлять над ней. «Обе руки его невольно поползли по карте тем же движением, что и руки члена военного совета фронта, и так же сомкнулись где-то на западе, далеко за Сталинградом.»

Так по намекам, по засветившимся по-новому глазам начальника, чувство близкой перемены доходит до рядового бойца, и это вновь укрепляет волю смертельно уставших людей, дает им новые силы для борьбы.

Бойцы Красной Армии, весь советский народ залог успешного исхода войны видели не только в растущем мастерстве армии, в поддержке тыла, насыщающего ее новой техникой, в героизме подчиненных и боевой честности начальников, но, в первую очередь, в верховном ее руководстве.

Слушая доклад Сталина по радио, Сабуров чувствует, «что и то, как Сталин говорит, и голос, которым он говорит, — все это, даже еще не совсем понятно почему, но вселяет в него, Сабурова, какое-то необыкновенное спокойствие».

Слова вождя советского народа влекут новые силы, бодрость и уверенность в победе в каждом защитника Сталинграда.

Подковник Проценко только по одной сталинской фразе в приказе: «будет и на нашей улице праздник», сказанной 7 ноября, догадывается, что долгожданный перелом должен произойти в ближайшие месяцы до конца февраля, иначе такая фраза была бы не в этом, а в одном из последующих приказов. Так понимают друг друга только в родной семье, и это чувство единой семьи, роднящее рядового с верховным главнокомандующим, чувство, знакомое ранее ни в одной из армий, правильно подметил Симонов.

Носителями всех этих мыслей и чувств выступают в романе Симонова советские офицеры. Рядовые бойцы остались вне поля зрения писа-

теля. Единственный наиболее полно очерченный образ старшины Колюкова — бывалого солдата — к сожалению, дан автором по установившемуся литературному шаблону.

Фигуры офицеров Проценко, Масленникова, Бабченко, Ремизова написаны сочно и выразительно. Им приданы индивидуальные отличительные черты. И чудесный Проценко, сметливый, немного лукавый, умный военачальник, и Бабченко, который привык все делать сам, спешил и часто не постеснялся, любил, чтобы его подчиненные суежились и бежали, погибший от собственного упрямства, и Масленников — начальник штаба батальона, юношескими порывами своей души напоминающий обаятельного Петю Ростова, — все это подлинно художественные образы. Закрывая книгу, помнишь их не как литературные персонажи, а как близких хороших друзей.

Менее удался Симонову образ центрального героя капитана Сабурова. Сабуров почти все время присутствует в книге. В основном, через его восприятие дана обстановка и люди. Он как бы рассказчик, от лица которого ведется повествование. В то же время он главный герой. Симонов поставил этим в невольное положение и Сабурова, и себя. Писатель как бы намеренно ограничивает возможность полного раскрытия внутреннего мира своего героя и этим обедняет его образ.

Есть тенденция объяснить отчасти неудачу образа Сабурова непреодоленным влиянием на автора образа капитана Тушина.

Влияние Толстого сказывается не только в подходе к описанию событий, характеров, но и на самом стиле прозы Симонова. Даже в обычных его фронтовых корреспонденциях нередко можно встретить такую, например, типично толстовскую фразу: «И несмотря на отчаянное сопротивление немцев, несмотря на то, что брошен был в бой последний резерв, несмотря на то что всем немцам в Тернополе обещаны были железные кресты, несмотря на личный приказ Гитлера, — несмотря ни на что, после жестоких уличных боев город был взят».

Работая над романом об армии, поставив себе задачу реалистического показа русского военного характера, Симонов встал на путь, указанный Толстым. Однако говорить о тушинской традиции в романе «Дни и ночи» будет не совсем верно. Правильнее было бы говорить о толстовской традиции вообще. Изображение русского офицера же исчерпывается у Толстого образом капитана Тушина. Мы уже отметили сходство Масленникова с Петей Ростовым. На симоновское повествование прежде всего легла неизгладимая печать «Севастопольских рассказов». Многие места являются прямым развитием положений о русском воине, высказанных Толстым в первом из севастьяпольских очерков.

Менее всего влияние Толстого сказилось на образе Сабурова.

В образах Толстого мы наблюдаем удивительную гармонию в изображении ума и чувства. Капитан Тушин прежде всего чудесной души человек, а потом уже командир, начальник. Са-

буров прежде всего командир. В образе его очень подробно разработана профессиональная сторона, каждый шаг Сабурова как командира и как подчиненного детально рассматривается автором. Симонов непрерывно показывает его боевые дела, командирские качества героя раскрываются перед нами в действии.

В Сабурове чувствуется человек серьезной военной культуры, сочетающий в себе передовую мысль с практикой, командир, который умеет творчески воспринимать войну, чутко улавливает в ней новое и применяет его на практике. Он энергичен, инициативен, находчив, изобретателен, одновременно смел и осторожен. Он безусловно очень умен, проницателен и наблюдателен. То, что автор нередко оценивает события как бы через восприятие Сабурова, привело к тому, что на долю героя досталась значительная часть мыслей самого писателя.

Однако образ Сабурова лишен внутреннего развития. Каким Сабуров приходит в книгу, таким и уходит из нее. Одной из несомненных причин этого послужило, конечно, отсутствие стремительного сюжета, рыхлая, нечеткая композиция всей вещи.

Симонов очень скуп в обрисовке личных чувств своего героя, тех внутренних импульсов, поступков, которые по существу и определяют индивидуальность характера. Он пишет, что Сабуров «мало говорил, но любил оставаться со своими мыслями». И он, действительно, охотно оставляет героя с его мыслями, но это чаще размышления служебного порядка. Даже оставшись надолго наедине с собой, в госпитале, после того, как он почти чудом избежал гибели, Сабуров продолжает думать только о батальоне, о судьбе шпиона Васильева, который собирался его предать, но не испытывает никакой естественной радости от того, что он спасся, что он жив.

Как бы опасаясь упрека в сердочной черствости героя, Симонов заранее награждает его всеми мыслимыми добродетелями и дальше уже не считает нужным задерживаться на интимных движениях его души.

Симонов заранее выдает патент Сабурову на безусловное уважение и беспрекословное доверие читателя. Однако внутренний мир Сабурова очень ограничен, и его душевная суховатость никак не вяжется с нашим представлением о целостном духовном мире советского человека. Из образа героя вытравлены эмоции. Типичный же воин для нас человек не только большого ума и целеустремленности, но и человек кипучих страстей, горячего сердца, богатых чувств.

В образе Сабурова, каким он нам представлен в романе, мы скорее найдем какой-то холодный аскетизм, отрешенность от простых человеческих порывов. Сочетание доброты и ума неоднократно подчеркивает Толстой в образе капитана Тушина. Он не боится наскучить читателю повторениями, что у Тушина было «доброе, умное лицо» «большие добрые и умные глаза». Сабуров не злой человек, но его трудно назвать

добрым. Слишком часто он только начальническинисходителен к людям.

С нетерпением ожидаешь, что вот-вот произойдет нечто, что всколыхнет его чувства, и автор приподнимет завесу над тайниками его души, но даже и в самых подходящих для этого случаях автор как бы сознательно делает Сабурова более сужим и сдержанным, чем обычно.

Симонов справедливо возмущается вместе с Сабуровым официальным равнодушием Бабченко в минуту прощания со связистом Ереминым, который, провоевав год с Бабченко, уезжает на учебу.

Бабченко вообще недалекий, жесткий человек, и такое прощание вполне соответствует его натуре. Но почему же сам Сабуров, такой чуткий к поведению других, иногда оказывается в положении Бабченко? Чем объяснить, что когда Сабуров узнает о положительном заключении по делу Степанова, «на челе его высоко не отразилось ничего»?

Когда Масленников приезжает навестить Сабурова и с сияющими глазами порывисто бросается ему навстречу, Сабуров (хорошо еще, что хоть с улыбкой) говорит назидательно: «Что ж ты бросил батальон?»

Симонов описывает, как поступил Сабуров, но умалчивает о том, что же он почувствовал при этом. И иногда поневоле думается, что командир батальона равнодушный, черствого сердца человек.

Сабуров холодно философствует над письмами, в которых он сообщает родным об убитых; доказывая необходимость в них красиво глгать, он обнаруживает при этом немало ума, но ум этот не греет.

Первая мысль, когда он видит подвиги Кониюкова, Масленникова, — «представить к ордену», «представить на Героя», — мысль умного начальника, знающего цену подвигу, но при этом ни одного неофициального жеста, ни искорки в глазах. Понимает он всё и, как человек понимающий слишком много, к людям относится с обидной снисходительностью; его разумная рассудительность делает его стариком не только по сравнению с Масленниковым, но и по сравнению с Проценко, с Ремизовым, которые опытные и старше его.

СOLIDНЫЙ Проценко, получив генеральское звание, не удерживается, чтоб не спросить подчиненного: «Алексей Иванович, пойдет ко мне генеральская форма?» Старик Ремизов совершенно по-детски негодует на свое ранение, а капитан Сабуров почти всюду только холодно корректен.

Масленников — «тщеславен тем тщеславием, за которое трудно осуждать людей на войне». В своих честолюбивых стремлениях лейтенант свеж и чист, на войну он переносит весь пыл утерянных им мечтаний, любовных увлечений и желаний. «Сабурову тоже были не чужды в жизни честолюбивые и даже тщеславные мысли, но сейчас, на этой войне, которую он ощущал, как всеобщую кровавую страду, эти мысли у него почти исчезли». Сабуровская душа по

сравнению с душой Масленникова выглядят более мудрой, но унылой.

Чувство долга — высокое чувство, но оно не может существовать оторванно от других чувств, не находя себе в них поддержки или не вступая с ними в конфликт.

Не расшевеливает Сабурова и любовь, и, по правде говоря, кажется, что не нужна она ему совсем. Любовь Сабурова к Ане, которая составляет лирическую линию романа, описана Симоновым так, что она кажется проходной. Эмоции Сабурова безрадостны, чувства Ани слишком робки и вялы.

Думается, что обедненность эмоционального мира Сабурова не случайна. Симонов — художник, свободно обращающийся в сфере мысли и социальных чувств, беспомощен, как только попадает в сферу сердца. Здесь часто бессильны и непогрешимая логика, и строгий анализ, скупой, остранный слог эпического повествования.

Образ Ани выглядит в романе бледным, вымученным.

Это не первая попытка писателя показать положительный образ женщины, любящей и достойной любви. Симонов делал такую попытку в пьесе «Жди меня», но положительная героиня получилась неубедительной, ее любовь театральная, навязчиво-подчеркиваемая. В Ане есть немало верно подмеченных черточек, но в изображении ее сердечных чувств нет дыхания жизни, а только следование литературным образцам.

Не удивительно ли, что в романе, кроме Сабурова и Ани, которым любовь «положена по должности», о любви думает один, не изведавший ее, Масленников. Все остальные равнодушны к ней, не вспоминают ни о женах, ни о любимых, и письма от жен приходят только мертвым: лейтенанту Парфенову и сержанту Тарасову.

Масленников, тоскующий о любви, вспоминает об интимных связях своего брата, тоже командира Красной Армии, свидетелем которых он был.

«Он приезжал на дачу с красивыми женщинами, сначала с одной, потом через два года с другой. Он был всегда шумный, веселый, и казалось, что все дается ему легко — и друзья, и любовь. И Масленников замечал, что от этого брату подчас бывало немного скучно.

Приехав на дачу в большой компании и с женщиной, которая казалась Масленникову такой замечательной, что от нее нельзя было отойти ни на шаг, брат вдруг говорил: «Мишка, пойдем на бильярд», и они, запершись, играли по три часа на бильярде. А когда стучали к ним в дверь, и женский голос звал: «Коля», брат покладывал к губам палец и говорил: «Тссс, Мишка», и они молчали, пока легкие шаги не удалялись от двери, и тогда продолжали играть снова.

Брат говорил: «А... ну их к господу богу», и Масленников удивлялся: ему было это непонят-

но, и казалось, что сам он, если бы его звал женский голос, не смог бы вот так промолчать и играть на бильярде.

А потом брат незаметно подмигивал Масленникову, как сообщнику, словно говоря: «Не в этом счастье: милый, не в этом счастье». Но Масленникову казалось, что именно в этом счастье, потому что это было «неизведанное и, наверное, чудесное».

Эти осуждающие «игру в любовь» строки написаны с лаконической выразительностью, но от всей сцены веет грустью.

Кроме яркого светлого чувства любви к женщине есть ведь и любовь отцовская, сыновья, есть великое множество личных движений человеческой души... Но их старательно обходит Симонов.

Нам кажется, что и образ Ванина, комиссара батальона, не удался Симонову потому, что он мог быть силен только эмоциональной своей стороной. Сабуровского одного ума достаточно для романа — второй более бледный умник и молчаливник совершенно не нужен.

Ванин — представитель того отряда советской молодежи, идеальный образ которой запечатлен Николаем Островским. Книга о Павле Корчагине насковозь эмоциональна, в ее герое совершенно отсутствует «холод ума поверяющего». Не литературное влияние образа Корчагина, а его типические жизненные черты, свойственные подлинному комсомольскому руководителю, должны были найти отражение в Ванине. К большому проявлению чувства обязывает и его положение в романе, он — комиссар батальона, его душа. Именно он призван внести в отношения с подчиненными ту сердечную теплоту, которой так нехватает Сабурову. Но Ванин Симонова, подобно тем людям, которые, по словам Горького, исполняют должность человека на земле, — только исполняющий должность комиссара при батальоне.

Пренебрежение писателя к миру сердечных чувств, интимных переживаний и личных побуждений, особенно в отношении Сабурова и Ванина, обедняет роман. То, что сказал Симонов о советских офицерах — правда. Но это еще не вся правда. Хотя бы и очень проникновенное изображение мира мысли, сознания, общественных инстинктов не дает представления о всей сложности человеческих отношений. Одна из важнейших сторон человеческой души — мир чувств, эмоций, страстей — не нашла достойного отражения в романе Симонова, а без нее духовный мир героев не полон.

Но за Симоновым остается та несомненная заслуга, что он первым в искусстве заговорил о великой боевой страде нашего народа простым, полным внутреннего достоинства слогом. В этом залог настоящего успеха книги у широкого советского читателя, который жадно ищет в литературе жизненной правды о Великой Отечественной войне.

КРИТИКА ГЕГЕЛЯ В ЭСТЕТИКЕ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

М. РОЗЕНТАЛЬ

★

Борьба Н. Г. Чернышевского против идеалистического направления в эстетике, нашедшего свое наиболее полное выражение в теории искусства Гегеля, представляет одну из интереснейших и ярких страниц в истории русской общественной мысли. Впрочем, не только русской общественной мысли. Значение работы, проделанной Чернышевским, выходило далеко за пределы России. Во всей мировой литературе «Эстетические отношения искусства к действительности» — первое произведение, в котором была дана систематическая критика идеалистической эстетики Гегеля с позиций сознательного философского материализма. Твердой и мастерской рукой разрушает великий русский материалист идеалистический фундамент эстетики и подводит под эстетику новую материалистическую основу.

Чернышевский не был одинок в этой своей работе. Он продолжает лучшие традиции русской революционной критики, — прежде всего критики Белинского, — и увенчивает ее новыми достижениями, многие из которых навсегда вошли в арсенал научной эстетики.

Философская критика Чернышевским идеалистической теории искусства Гегеля, как и идеализма вообще, была закономерным этапом в развитии передовой общественной мысли в России. Подобно тому, как Маркс и Энгельс в своем движении к диалектическому материализму и научному социализму шли через преодоление идеалистической и консервативной системы Гегеля, русская общественная мысль в лице таких ее блестящих представителей, как Белинский, Герцен, Чернышевский, шла по тому же пути, подвергнув философию Гегеля сильной и вполне самостоятельной критике.

Этот факт засвидетельствован самим Чернышевским в его «Очерках гоголевского периода русской литературы»:

«Мы уже говорили, что.. прогресс в понимании.. совершился у нас самостоятельным образом.. С того времени, как представители нашего умственного движения самостоятельно подвергли критике Гегелеву систему, оно уже не подчинялось никакому чужому авторитету».

Действительно, критика гегелевой системы

Герценом, Белинским и самим Чернышевским чрезвычайно глубока по содержанию и блестяща по форме. Многие в этой критике напоминают Маркса и Энгельса.

В «Письмах об изучении природы» Герцена, которые заслужили высокую оценку Ленина за их резко антиидеалистическое направление, дана со свойственным герценовскому перу блеском тонкая и оригинальная критика Гегеля. Герцен прекрасно видит основной порок гегелевской системы, заключающейся в непримиримом сочетании диалектики, которую он метко назвал «алгеброй революции», с идеализмом, обскрывающим диалектику, загоняющим ее в узкую и тесную клетку консервативных и часто реакционных идей. «...Гегель хотел природу и историю как прикладную логику, а не логику как отвлеченную разумность природы и истории» — подобные, как и многие другие положения у Герцена, как молния, озаряют самые существенные слабости философии Гегеля.

В серии статей под общим названием «Дилетантизм в науке», написанных до «Писем об изучении природы», Герцен отмечает ту сторону гегелевских взглядов, которая делает его приверженцем всего существующего, половинчатым, трусливым в выведении следствий из глубоких плодотворных начал диалектики.

«Гегель, несмотря на всю мощь и величие своего гения, был тоже человек; он испытал панический страх просто выговориться в эпоху, выразившуюся ломаным языком, так как боялся итти до последнего следствия своих начал; у него недоставало геройства последовательности, самоотвержения в принятии истины во всю ширину ее и чего бы она ни стоила... Гегель часто, выведя начало, боится признаться во всех следствиях его и ищет не простого, естественного, само собой вытекающего результата, но еще, чтоб он был в ладу с существующим».

Белинский в своем сложном и поистине героическом пути поисков революционной истины на мгновение поверил Гегелю, что нужно быть «в ладу с существующим», если даже это существующее ненавистно. Из абсолют-

ного идеализма неизбежно вытекает, как говорил позже Чернышевский, «нежное снисхождение к существующему», но Белинский, быстро отделившись от веры в разумность всякой действительности, обрушился на Гегеля со страшной силой, на такую бы способен только этот великий человек: без идеи отрицания существующего, — говорил он, «история превратилась бы в стоячее и вонючее болото». Многие страницы его произведений и писем посвящены критике консервативных сторон Гегеля и могут служить образцом страстного непримиримого отношения материалиста к идеалисту. Белинский пошел вперед, удержав все то ценное и прогрессивное, что было в диалектике Гегеля, и только несвоевременная смерть прекратила его неукротимое стремление добраться до истины, к которой он шел семимильными шагами.

Чернышевский, продолжая эту линию борьбы против консерватизма гегелевой философии, подавляющего в конечном счете прогрессивные ее элементы, идет дальше Герцена и Белинского и делает чрезвычайно много для победы философского материализма в России.

Уже в юношеских дневниках, когда мировоззрение его только формировалось, Чернышевский удивительно ясно понял слабые и сильные стороны философской теории Гегеля. Он всячески превозносит диалектику, принцип диалектического развития, «начало всякого прогресса» и категорически не принимает выводов, делаемых Гегелем. При этом он понимает, что и принципы, т. е. диалектика, не могут быть приняты в таком виде, в каком они у Гегеля. Он отмечает, что уже Белинский и Герцен, отдавая должное диалектике Гегеля, не могли удовлетвориться ею в силу ее идеалистического характера. «Пылкие и решительные умы, как Белинский и некоторые другие, не могли долго удовлетвориться теми узкими выводами, которыми ограничивалось приложение этих принципов в системе самого Гегеля; скоро заметили они недостаточность и самих принципов этого мыслителя».

Гегель вызывает в Чернышевском глубокую антипатию боязнью отрицания существующих общественных порядков: «в подробностях, везде, мне кажется, — записывает Чернышевский, — он раб настоящего положения вещей, настоящего устройства общества».

Позже, в зрелый период, Чернышевский дает глубокую и оригинальную критику идеалистической философии Гегеля. Он с полной ясностью высказывается о положительной роли, сыгранной Гегелем в развитии философской мысли, благодаря диалектике, но вместе с тем, он характеризует его систему в целом, как пройденную ступень, желать возврата которой могут только ретрограды и реакционеры. Чернышевский своей материалистической критикой Гегеля наносил удары по самой сердцевине его философии. Сердцевина же заключалась в том, что путем возвышения идеи за счет действительности Гегель заперал все выходы, ведущие человека вперед, к новой жизни, отвращал че-

ловеческий взгляд от реального мира, реальных противоречий действительности, от борьбы. Превращение существующего мира в призрачный, идеальный, а идеального, призрачного мира — в реальный и заставляло Гегеля, по справедливому мнению Чернышевского, делать в противоречии с мощными и широкими принципами развития, прогресса «узкие», «ничтожные», «пошловатые», «филистерские» выводы.

В «Эстетических отношениях искусства к действительности» Чернышевский на примере искусства показывает несовместимость научного подхода к жизни с идеализмом. Цель его состояла в том, чтобы разбить идеализм в эстетической науке и доказать, что подлинно научная эстетика возможна лишь тогда, когда она развивается из материалистического исходного пункта. И главным врагом материалистической теории искусства Чернышевский считал Гегеля. Не потому, разумеется, что он сколько-нибудь игнорировал то ценное и богатое содержание, которое в ложной идеалистической форме содержалось в эстетике Гегеля. Гегеля, как и его правоверных последователей, он считал главным врагом потому, что гегелева философская система наиболее полно и исчерпывающе выражала идеалистическое направление в науке вообще и в эстетике, в частности. В опубликованном только в советское время «Критическом взгляде на современные эстетические понятия» Чернышевский во вступлении заявляет, что цель его работы — «по мере возможности разоблачать их (т. е. немецкие эстетические теории. — М. Р.) от схоластической мантии, в которую они обыкновенно закутываются»; «нам кажется, что, разоблаченные от схоластики, рассматриваемые в отдельности от принципов и гипотез той философии, которая до сих пор еще сохраняет в Германии владычество над эстетикой (гегелевская философия), эстетические понятия много выиграют в прочности...»

Следует отметить, что, выступив против идеализма Гегеля и его неизбежного следствия — реакционного отрицания революционного переустройства мира, Чернышевский метил и в русских идеалистов, так или иначе придерживавшихся идеалистических гегелевских взглядов на искусство. После Белинского в русской критике большое влияние приобрели идеалистические взгляды на цель и назначение искусства. Критика приписывала искусству самоцельное значение, нападала на то понимание искусства, которое с такой глубиной и с таким блеском защищал Белинский. Критика эта отрицала связь между искусством и современностью, поднимала на щит Гоголя периода «Пепелиски» и не признавала великого Гоголя — автора «Ревизора» и «Мертвых душ», — того Гоголя, которого Белинский сделал знаменем своей критики. Устанавливая два направления в искусстве — «артистическое» и «дидактическое», идеалистическая критика отстаивала первое направление, как единственно ценное и соответствующее понятию искусства.

Следующая выдержка из высказываний одно-

го из ревностных представителей этой критики — Дружинина — может дать яркое представление о сущности идеалистического взгляда на эстетику, распространенного в русской литературе 50-х годов. В статье, направленной против «Очерков гоголевского периода русской литературы» Чернышевского, Дружинин писал: «Твердо веруя, что интересы минуты скоропреходящи, что человечество, изменяясь непрерывно, не изменяется только в одних идеях вечной красоты, добра и правды, он (поэт) в бескорыстном служении этим идеям видит свой вечный якорь. Песнь его не имеет в себе преднамеренной житейской морали и каких-либо других выводов, примененных к выгодам его современников, она служит сама себе наградой, целью и значением»; «...дидактики, приносящие свой поэтический талант в жертву интересам так называемой современности, вянут и отцветают вместе с современностью, которой служили»¹.

Вот против подобных теорий, развивавшихся под знаменем идеализма, отвлекающих литературу от живой жизни и ее интересов, и выступил Чернышевский. Его эстетическая теория была боевым манифестом самой прогрессивной и плодотворной линии в развитии русской литературы. Развиваемые великим русским мыслителем воззрения на эстетику имели, как увидим дальше, глубоко национальное значение: они ориентировали русское искусство не на отвлеченный и вечный «идеал красоты», а на боевые задачи национального искусства, своими корнями связанным с народом.

Три основных вопроса ставит и разрешает Чернышевский в своей диссертации: о сущности прекрасного, о происхождении искусства и о цели и существенном значении искусства. И по каждому из этих кардинальных вопросов эстетики он дает жестокий бой Гегелю.

Сущность прекрасного, говорит Чернышевский, идеалистическая эстетика Гегеля усматривает в идее. По Гегелю прекрасное возникает на определенной ступени развития идеи, когда последняя проявляется в ограниченной форме, в отдельном существе. Поэтому идеалистические определения сущности прекрасного гласят: «прекрасное есть идея, в форме ограниченного проявления», «прекрасное есть совершенное соответствие, совершенное тождество идеи с образом», «прекрасно то существо, в котором вполне выражается идея этого существа».

Чернышевский признает справедливой лишь ту мысль Гегеля, что прекрасное есть живой конкретный предмет, а не абстрактное понятие. Все остальное он решительно отвергает и доказывает неудовлетворительность идеалистического определения искусства в целом. Во-первых, Гегель, хочет он того или не хочет, уничтожает прекрасное, ибо оно у него «является только «призраком», происходящим от непроницательности взгляда неразвитого, не просветлен-

ного философским мышлением, перед которым исчезает кажущаяся полнота проявления идеи в отдельном предмете, так что по системе Гегеля, чем выше развито мышление в человеке, тем более исчезает перед ним прекрасное и, наконец, для вполне развитого мышления есть только истинное, а прекрасного нет»¹. Во-вторых, гегелевское определение прекрасного, согласно которому прекрасно то, что вполне совпадает с идеей, слишком широко, и под него подходит все на свете: хороший экземпляр кота вполне подходит под это определение. В-третьих, это определение и слишком узко, так как оно требует, чтобы каждый отдельный предмет был выражением «родовой идеи»: в тех частях природы, где нет разнообразия, это возможно, — например, дуб может иметь один характер красоты: он должен быть высок и густ; но нельзя вообразить, чтобы, например, в одном человеке совмещались все оттенки человеческой красоты.

Но главная причина, по которой Чернышевский категорически отвергает гегелевское понимание сущности искусства, это его протест против возвышения идеи за счет действительности, против принижения действительности, превращения ее в призрак, в нечто несовершенное, в творение человеческой фантазии. Основная идея «Эстетических отношений» — материалистическая реабилитация действительности, доказательство приоритета последней перед идеей.

«Определяя прекрасное, как полное проявление идеи в отдельном существе, мы необходимо приходим к выводу: «прекрасное в действительности только призрак, влагаемый в нее нашу фантазию; из этого будет следовать, что «объективно говоря, прекрасное создается нашею фантазией, а в действительности... истинно прекрасного нет»; из того, что в природе нет истинно прекрасного, будет следовать, что «искусство имеет своим источником стремление человека восполнить недостаток прекрасного в объективной действительности»².

Критикуя определение сущности искусства у Гегеля, Чернышевский дает свое, материалистическое определение: «прекрасное есть жизнь».

Своим определением понятия прекрасного Чернышевский прежде всего преследует цель утвердить прекрасное в самой действительности как источник чувства прекрасного у человека. На место гегелевской идеи он ставит действительность, которая сама по себе богата прекрасным. Прекрасное существует объективно, независимо от идеи человека, в жизни; жизнь могущественная вместительница всех наших радостей и эстетических переживаний. Без объективно прекрасного не было бы и не может быть и субъективного чувства прекрасного.

Чернышевский доказывает это на примере возвышенного в искусстве. По Гегелю, возвы-

¹ Библиотека для чтения, 1856 г., ноябрь, стр. 31, 34.

¹ Н. Чернышевский. Избранные философские сочинения, стр. 284.

² Там же, стр. 287.

шенно то, что служит проявлением «идеи бесконечного». Чернышевский возражает Гегелю, считая, что возвышенное вовсе не обязательно связано с понятием бесконечного: вид Монблана и Казбека вызывает чувство возвышенного, но никто не скажет, что высота этих гор бесконечна; но самое существенное то, что возвышенное — принадлежность не идеи, а самих предметов: «возвышенным — пишет Чернышевский — представляется нам самый предмет, а не какие-нибудь вызываемые этим предметом мысли; так, например, величествен сам по себе Казбек, величественно само по себе море, величественна сама по себе личность Цезаря или Катона. Конечно, при созерцании возвышенного предмета могут пробуждаться в нас различного рода мысли, усиливающие впечатление, им на нас производимое; но возбуждаются они или нет — дело случая, независимо от которого предмет остается возвышенным: мысли и воспоминания, усиливающие ощущение, рождаются при всяком ощущении, но они уже следствие, а не причина первоначального ощущения, и если, задумавшись над подвигом Муция Сцеволы, я дохожу до мысли: «да, безгранична сила патриотизма», то мысль эта только следствие впечатления, произведенного на меня независимо от нее самым поступком Муция Сцеволы, а не причина этого впечатления»¹.

Это материалистическое подчеркивание Чернышевским объективной основы прекрасного в искусстве имеет принципиальное значение для теории эстетики: от признания или непризнания объективной действительности в качестве источника искусства зависит то или иное решение всех основных вопросов эстетики, в том числе и такого существенного вопроса, как цель и значение искусства. Чернышевский берет действительно коренной центральный вопрос философии искусства и решает его в отличие от Гегеля материалистически. И Чернышевский глубоко прав: не говоря уже о том, что самая далекая от жизни человеческая фантазия всегда в конечном счете имеет земные корни и так или иначе отражает действительность, следует также считать за истину, что никакая фантазия неспособна дать столько материала для искусства, сколько способна дать и дает сама жизнь. природа и человеческая история. Фантазия человеческая достаточно изощрена, но что может превзойти «изощренность» самой действительности? «Сколько ежедневно бывает истинно трагических или драматических событий! А много ли насчитается истинно прекрасных трагедий или драм»².

Поэтому Чернышевский прав и в выводе, который он делает из своей основной предпосылки: прекрасное в действительности выше прекрасного в искусстве. Без большого труда опровергает он легенду идеалистов о том, что прекрасное в действительности ничтожно, редко

встречается, искажено «владычеством случая», мимолетно, непрочно и т. п. Он разбивает наголову все аргументы выдвигаемые идеалистической эстетикой против прекрасного в действительности.

Гегель в своем учении о прекрасном поступает точно так же, как и в основном вопросе философии вообще: на том основании, что понятия выражают общее, устойчивое в явлениях, он объявляет понятия действительностью, а действительность — жалкой копией понятий; и в эстетике, из посылки о том, что прекрасное в действительности мимолетно, затемнено побочными обстоятельствами, выступает не в «чистом» виде и т. д., он приходит к заключению: только идея прекрасная истинна, а прекрасное в действительности — лишь бедное воплощение идеи.

Замечательно тонко разоблачает Чернышевский этот обычный идеалистический фокус философов, превращающих весь мир в «идею», «понятие». Он доказывает, что Гегель вынужден под давлением своего абсолютного идеализма вступить в противоречие со своим же принципом диалектического развития. Абсолютное не может воплотиться в каком-нибудь отдельном предмете, так как тогда прекращается всякое движение, исчезает разнообразие. На деле абсолютное, т. е. по Чернышевскому, — объективно прекрасное, осуществляется в бесконечном развитии реальной жизни. Он нападает на Гегеля и Фишера за их взгляды на прекрасное в действительности как на явление низшего порядка, так как оно де мимолетно, неустойчиво и т. п. Чернышевский дает материалистическое обоснование прекрасного и поэтому выступает в своей критике Гегеля как более последовательный диалектик.

«Жизнь стремится вперед и уносит красоту действительности в своем течении», — говорят эстетики (т. е. Гегель и Фишер. — М. Р.); правда, но вместе с жизнью стремятся вперед, т. е. изменяются в своем содержании наши желания и, следовательно, фантастичны сожаления о том, что прекрасное явление исчезает; оно исчезает, исполнив свое дело, доставив ныне столько эстетического наслаждения, сколько мог вместить нынешний день. Завтра будет новый день с новыми потребностями, и только новое прекрасное может удовлетворить их. Если бы красота в действительности была неподвижна и неизменна, «бессмертна», как того требуют эстетики, она надоела бы, опротивела бы нам. Живой человек не любит неподвижного в жизни; потому никогда не наглядится он на живую красоту».

Чернышевский выступает в защиту действительности и доказывает, что искусство лишь далеко не полно может отразить все богатство и сложность, всю красоту и многоцветность жизни.

Идеалисты — пишет он — говорят, что прекрасное редко встречается в действительности. Но природа полна величественной красоты.

¹ Н. Чернышевский. Избранные философские сочинения, стр. 295.

² Там же, стр. 331.

А жизнь человека? «Величественное в жизни человека встречается не беспрестанно; но сомнительно, согласился бы сам человек, чтобы оно было чаще: великие минуты жизни слишком дорого обходятся человеку, слишком истощают его; а кто имеет потребность искать и силу выносить их влияние на душу, тот может найти случаи к возвышенным ощущениям на каждом шагу: путь доблести, самоотвержения и высокой борьбы с низким и вредным, с бедствиями и пороками людей не закрыт никому и никогда. И были всегда, везде тысячи людей, вся жизнь которых была непрерывным рядом возвышенных чувств и дел»¹.

Итак, красота, которую воспевают поэзия и все роды искусства, имеет свои объективные корни в действительности. «Предлагаемое нами определение — говорит сам Чернышевский — возводит в основную мысль эстетического достоинство и красоту действительности».

Но, естественно, возникает вопрос, который и ставит в своей диссертации автор «Эстетических отношений»: если прекрасное объективно и имеет место в самой действительности, то как объяснить тот факт, что это прекрасное поразному воспринимается, что часто то, что одни признают за прекрасное, другие считают безобразным? Не свидетельствует ли этот факт против мысли об объективности прекрасного? Чернышевский с честью выходит из положения, которое для идеалистической эстетики остается камнем преткновения. Чувство прекрасного он рассматривает как единство объективного и субъективного. Действительность вызывает в субъекте чувство прекрасного, но то или иное восприятие последнего зависит от субъекта. В своем определении прекрасного у Чернышевского содержится эта связь между объектом и субъектом. Он говорит: «прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такую, какова должна быть она по нашим понятиям». Широко известен приводимый им пример с красавицей по понятиям «простого народа» и по понятиям аристократическим.

В «Авторецензии» на свою же собственную диссертацию Чернышевский дает ясную и выразительную формулировку этой стороны вопроса. Он говорит о примирении в эстетическом чувстве объективно прекрасного с субъективными воззрениями человека. Отмечая, что Гегель не признавал прекрасного в действительности, он пишет: «из понятий, предлагаемых г. Чернышевским, следует, напротив, что прекрасное и возвышенное действительно существуют в природе и человеческой жизни. Но с тем вместе следует, что наслаждение теми или другими предметами, имеющими в себе эти качества, непосредственно зависит от понятий наслаждающегося человека: прекрасно то, в чем мы видим жизнь, сообразную с нашими понятиями о жизни, возвышенно то, что гораздо больше предметов, с которыми сравниваем

его мы. Таким образом, объективное существование прекрасного и возвышенного в действительности примиряется с субъективными воззрениями человека».

Это определение соотношения между объективным моментом и субъективным моментом в прекрасном выражает действительную природу прекрасного.

Отсюда прекрасное Чернышевский рассматривает как категорию историческую. Оно меняется, приобретает новый вид, новый характер с каждой новой исторической эпохой. Историческая обусловленность прекрасного должна быть принята во внимание, если мы хотим верно понять его изменяющуюся сущность. «Все произведения искусства не нашей эпохи и не нашей цивилизации непременно требуют, чтобы мы перенеслись в ту эпоху, в ту цивилизацию, которая создала их»¹.

Таким образом, устанавливая объективную сущность прекрасного, Чернышевский не только не абстрагирует ее от субъекта, от человека, но приписывает субъективной стороне прекрасного такое значение, которое ясно показывает диалектическое взаимодействие объективного и субъективного моментов в искусстве.

Наконец, определяя сущность прекрасного, Чернышевский дает и определенную характеристику прекрасного: прекрасное, говорит он, есть жизнь. Можно спорить с Чернышевским, можно попытаться подвести прекрасное под другое, более общее или, наоборот, менее общее понятие, но нельзя не признать глубокого смысла его формулы. Она действительно отражает самое существенное и самое устойчивое единство в необозримом многообразии проявлений прекрасного.

«Жизнь», «полнота жизни», «жизнь свежая» и т. п. — действительно, признаки, неотъемлемые от прекрасного. У Чернышевского — революционера и социалиста — это понятие прекрасного имело революционное содержание: он боролся против всех тех сил, которые задерживали жизнь, уродовали ее, принижали, не давали человеку наслаждаться ее красотой и радостями, заставляли его всю жизнь бороться за кусок хлеба. Эстетика Чернышевского тесно связана с его этикой, с учением о социализме. Если прекрасное есть жизнь, то все, что мешает становлению жизни, что препятствует человеку жить полной, разносторонней жизнью, должно быть убрано с пути — таков социальный смысл его определения прекрасного.

Однако сражение, которое дал Чернышевский Гегелю по вопросу о сущности прекрасного и которое он победоносно выиграл, лишь только начальный, исходный пункт его теории. За этим сражением должна последовать цепь других сражений против идеалистической эстетики Гегеля, которые должны коренным образом преобразовать всю систему эстетических понятий. В этом огромное принципиальное значение

¹ Н. Чернышевский. Избранные философские сочинения, стр. 320.

¹ Н. Чернышевский. Избранные философские сочинения, стр. 333.

правильного решения первого вопроса о сущности прекрасного: из определения «прекрасное есть жизнь» — говорит Чернышевский, в противоположность идеалистической эстетике «будет следовать, что и происхождение искусства должно быть при таком воззрении на красоту в действительности объясняемо из совершенно другого источника, после того и существенное значение искусства явится в совершенно другом свете»¹.

Важно отметить, что Чернышевский нисколько не снижал положительных элементов гегелевской эстетики. Но он ясно видит, что все положительное вторгается в идеалистическую эстетику наперекор ее основной, отрицательной, т. е. идеалистической тенденции и потому положительное не получает своего развития. Вот его слова, резко разграничивающие две эстетики — материалистическую и идеалистическую и показывающие, в чем преимущество первой перед второй. Вслед за процитированными только что словами Чернышевский пишет:

«Таким образом эти два различных определения (прекрасного. — М. Р.) ведут к двум существенно различным взглядам на прекрасное в объективной действительности, на отношение фантазии к действительности, на сущность искусства. Они ведут к двум совершенно различным системам эстетических понятий; потому что одно из них, принимаемое нами, возводит в основную мысль то, что при другом, общепринятом, вторгается, правда, в систему эстетики, но вторгается наперекор существенному ее направлению, подавляется противоположными воззрениями и погибает без всякого почти плода»².

Вопрос о происхождении искусства, о потребностях, под влиянием которых оно возникает, Чернышевский непосредственно связывает с вопросом о сущности прекрасного: если сущность прекрасного в идее, то идеалистическая эстетика Гегеля вполне естественно считает, что происхождение искусства объясняется потребностью человека восполнить недостаток действительности и удовлетворить свое стремление к прекрасному собственным созданием прекрасного. «Идея прекрасного, не осуществляемая действительностью, осуществляется произведениями искусства».

Материалистическая эстетика опровергает идеализм, ибо, если прекрасное есть жизнь и прекрасное в действительности выше прекрасного в искусстве, то и корни и источники искусства следует искать в действительности. Чернышевский поэтому резко нападает на идеалистическое объяснение происхождения искусства, доказывает, что оно изолирует искусство от действительности, ограничивает его узкими рамками каких-то априорных внутренних влечений к красоте и препятствует пониманию

того, что искусство есть отражение жизни, действительности. Искусство, пишет он, «по этим идеалистическим понятиям, должно было сохранять совершенную независимость от всех других стремлений человека, кроме стремления к прекрасному»¹.

Идеализм в эстетике, иначе говоря, неизбежно так или иначе утверждает чистое, отрешенное от жизни, искусство. Против этого и борется Чернышевский, критикуя идеалистическое гегелевское понимание происхождения искусства. Он пытается материалистически осветить этот важнейший вопрос теории искусства, и в значительной степени ему это удается.

Искусство, рассуждает Чернышевский, всегда выступает как вторичное, а первичным, возбуждающим стремление к искусству, служит сама действительность, потребности, возникающие из самой жизни. Какую потребность, например, удовлетворяет нарисованная художником картина, изображающая пейзаж? Чернышевский отвечает: «дать возможность, хотя в некоторой степени, познакомиться с прекрасным в действительности тем людям, которые не имели возможности наслаждаться им на самом деле; служить напоминанием, возбуждать и оживлять воспоминание о прекрасном в действительности и тех людей, которые знают его из опыта и любят вспоминать о нем»².

Иначе говоря, на взгляд Чернышевского, первая потребность, которая вызывает к жизни искусство, находится не в абстрактном стремлении к прекрасному, а в жизни человека, в его чувствах, в жизненных условиях и т. д. Вот, например, пение. Почему человек поет? Потому ли, что он стремится к прекрасному, или потому, что в пении отражаются чувства человека, его радость или грусть, вызванные обстоятельствами жизни? Конечно, эти последние — т. е. разносторонние обстоятельства жизни людей служат первичным элементом, по отношению к которому искусство является вторичным. Чернышевский напоминает в подтверждение своей мысли о народных песнях. «Пение, — пишет он, — первоначально и существенно — подобно разговору — произведение практической жизни, а не произведение искусства»³. Впоследствии «естественное пение» становится искусством.

Эту мысль свою о практической жизни и практических потребностях как первоначале искусства, как источнике возникновения искусства, Чернышевский подробнее излагает в «Очерках гоголевского периода русской литературы». Правда, правильной мысли своей он придает антропологический оттенок, тем не менее сущность ее остается верной.

«В каждом человеческом действии, — пишет он, — принимают участие все стремления чело-

¹ Н. Чернышевский. Соч., Гослитиздат, 1934, стр. 402.

² Н. Чернышевский. Избранные философские сочинения, стр. 362.

³ Там же, стр. 345.

¹ Н. Чернышевский. Избранные философские сочинения, стр. 291.

² Там же.

веческой природы, хотя бы одно из них и являлось преимущественно заинтересованным в этом деле. Потому и искусство производится не отвлеченным стремлением к прекрасному (идею прекрасного), а совокупным действием всех сил и способностей живого человека. А так как в человеческой жизни потребности, например, правды, любви и улучшения быта гораздо сильнее, нежели стремление к изящному, то искусство не только всегда служит до некоторой степени выражением этих потребностей (а не одной идеи прекрасного), но почти всегда произведением его (произведения человеческой жизни, этого нельзя забывать) создаются под преобладающими влияниями потребностей правды (теоретической или практической), любви и улучшения быта, так что стремление к прекрасному, по натуральному закону человеческого действия, является служителем тех и других сильных потребностей человеческой природы. Так всегда производились все создания искусства, замечательные по своему достоинству. Стремления, отвлеченные от действительной жизни, бессильны; потому, если когда стремление к прекрасному и усиливало действовать отвлеченным образом (разрывая свою связь с другими стремлениями человеческой природы), то не могло произвести ничего замечательного, даже и в художественном отношении. История не знает произведений искусства, которые были бы созданы исключительно идеею прекрасного: если и бывали или бывают такие произведения, то не обращают на себя никакого внимания современников и забываются историей, как слыхом слабые, — слабые даже и в художественном отношении¹.

Чернышевский, как и Белинский, на которого он ссылается, категорически отрицает возможность чистого искусства: искусство не беспочвенно, оно имеет свои корни в действительности, в практической жизни человечества и, прежде всего, в общественной жизни людей — таков его взгляд на происхождение искусства. Чернышевский срывает с искусства пышные цветы и уборы, которыми идеалистическая эстетика украшает его, чтобы утвердить его неземной, отвлеченный, идеальный характер. Как в своей этике, он и здесь, в области изящного «груб», «прозаичен». Он говорит такими обыденными и простыми словами об искусстве, которые невыносимы для уха эстета: сила искусства — «сила воспоминания», «сила комментария» произведения искусства «не поправляют действительности, не украшают ее, а воспроизводят, служат ей суррогатом» и т. п. Но в воззрениях Чернышевского нет и грани натурализма, нет и тени умаления великой силы искусства. Все эти «страшные» для философов «чистого искусства» понятия служат Чернышевскому для одной цели — доказать тесную неразрывную связь искусства с действительностью, обнажить его общественный, партий-

ный характер. И достигает этой цели Чернышевский не путем отвлечения от художественной практики, а путем обобщения лучшего, что создало человечество в этой области.

Значение и цель искусства Чернышевский определяет в полном соответствии с достигнутыми им результатами материалистического анализа сущности и происхождения искусства. Понятно, что его определение значения и цели искусства существенным образом расходится с гегелевским определением.

Если искусство черпает свой материал из действительности, если оно возникает под преобладающим влиянием практической жизни людей, то значение его может быть по Чернышевскому объяснено двояким образом: 1) оно есть воспроизведение, отражение действительности и 2) оно отражает из действительности то, что наиболее интересует человека.

Искусство — форма отражения действительности, и это значение его свойственно всем видам искусства; «...первое значение искусства, — пишет Чернышевский, — принадлежащее всем без исключения произведениям его — воспроизведение природы и жизни». Но отражение жизни в искусстве — предупреждает Чернышевский — ничего общего не имеет с натуралистическим копированием ее. Чернышевского нередко упрекали за недостаточное подчеркивание роли фантазии в искусстве и говорили об отождествлении в диссертации отражения с натуралистическим копированием действительности.

Действительно, Чернышевский своим постоянным акцентированием объективного момента искусства и заостренными формулировками дает иногда повод думать, что искусство отождествляется им с простым фотографированием действительности. Но на самом деле, он бесконечно далек от подобного воззрения на искусство. Он сам объясняет, в чем здесь дело: «предмет нашего исследования — искусство как объективное произведение, а не субъективная деятельность поэта: потому было бы неуместно вдаваться в исчисление различных отношений поэта к материалу его произведения»¹.

Но все, что нужно сказать о роли поэта в художественном преобразовании материала действительности, о значении художественной фантазии, вымысла и т. д., Чернышевский сказал и сказал полным голосом.

Художественное отражение действительности Чернышевский понимает как сложный акт отбора из нее наиболее существенного. Он говорит, что в художественном произведении действительность может выступать понятнее, яснее, чем в самой жизни; «Предмет или событие в поэтическом произведении может быть удобопонятнее, нежели в самой действительности». Он ясно показывает необходимость вмешательства «комбинирую-

¹ Н. Чернышевский. Соч., Гослитиздат, 1934, стр. 402.

¹ Н. Чернышевский. Избранные философские сочинения, стр. 375.

щей фантазии», без чего вообще нельзя себе мыслить художественное произведение. Даже тогда, когда художник берет из жизни какое-нибудь событие, которое само по себе, без посторонних добавлений, может служить предметом искусства, даже тогда дело не может обойтись без фантазии: художник не может запомнить всех деталей события, он должен будет примыслить их, использовать некоторые случаи, не имевшие места в данном событии, и т. д.

«Но этим не исчерпывается вмешательство фантазии. Событие в действительности было перепутано с другими событиями, находившимися с ним только во внешнем сцеплении, без существенной связи; когда мы будем отделять избранное нами событие от других происшествий и от ненужных эпизодов, мы увидим, что это отделение оставит новые пробелы в жизненной полноте рассказа; поэт опять должен будет восполнять их. Этого мало: отделение не только отнимает жизненную полноту у многих моментов события, но часто изменяет их характер, — событие явится в рассказе уже не таким, каково было в действительности... Одним словом, верное воспроизведение жизни искусством не есть простая копия, особенно в поэзии»¹.

Однако художественное воспроизведение действительности отличается от натуралистической копия не только в этом смысле. Подлинное искусство, говорит Чернышевский, отражает не все, что попадает под руку, оно не бездумное, мертвое отражение жизни, а отражение всего того, что интересует человека — и в этом ее второе значение. «Существенное значение искусства — воспроизведение того, чем интересуется человек в действительности, воспроизведение всего, о чем он думает, что его радует и печалит»².

В связи с этим Чернышевский высказывает свой взгляд на прекрасное, как на предмет искусства: он решительно отрицает идеалистическую точку зрения, делающую прекрасное единственным предметом искусства. Он расширяет рамки искусства, доказывая, что искусство значительно шире одного понятия прекрасного. В жизни не все прекрасно, за прекрасную жизнь надо бороться, следовательно, искусство должно ставить все вопросы, интересующие человека; «сфера искусства не ограничивается одним прекрасным и его так называемыми моментами, а охватывает собою все, что в действительности (в природе и в жизни) интересует человека — не как ученого, а просто как человека; общеинтересное в жизни — вот содержание искусства»³. Иными словами, мысль Чернышевского означала: предметом искусства должно быть не только то, что может быть воспевается, но и все отрицательное в общественной жизни, против

чего нужно бороться, восставать, дабы жизнь человеческая стала прекрасной.

С презрением он говорит о «сентиментальном розовом колорите» в искусстве и борется за «серьезное изображение человеческой жизни». Неотъемлемое свойство всякого подлинно художественного произведения — глубокая мысль, глубокое содержание. Самая роскошная художественная форма — пустоцвет, если она не выражает серьезную мысль: «Великолепная форма находится в нескладном противоречии с бедностью содержания», мысль дает произведению единство, жизнь. Без поэтического таланта не может быть поэта, так же, как слепой не может быть живописцем, а хромой — танцором. «Но талант дает только возможность действовать. Какого будет достоинство деятельности, зависит уже от ее смысла, от ее содержания. Если бы Рафаэль писал только арабески, птичек и цветки — в этих арабесках, птичках и цветках был бы виден огромный талант, — то, скажите, останавливались ли бы вы в благоговении перед этими цветками и птичками, возвышалось ли бы очищаю ли бы вашу душу рассмотрение этих милых безделушек? Но зачем говорить о вас, будем говорить о Рафаэле — был ли бы он славен и велик, если бы писал безделушки? Напротив, не говорили ли бы о нем с досадой, почти с негодованием: он погубил свой талант»⁴.

Искусство должно не только воспроизводить жизнь, но и объяснять ее, и не только объяснять жизнь, но и произносить над ней свой приговор. Оно — «учебник жизни»: вот конечный пункт всех эстетических рассуждений Чернышевского. Настоящий художник не может быть и никогда не бывает бесстрастным летописцем. Вольно или неволью он произносит приговор над изображаемой им действительностью; «...если человек, в котором умственная деятельность сильно возбуждена вопросами, порождаемыми наблюдением жизни, одарен художническим талантом, то в его произведениях, сознательно или бессознательно, выразится стремление произнести живой приговор о явлениях, интересующих его (и его современников), потому что мыслящий человек не может мыслить над ничтожными вопросами, никому кроме его не интересными, в его картинах или романах, поэмах, драмах будут предложены или разрешены вопросы, возникающие из жизни для мыслящего человека; его произведения будут, чтобы так выразиться, сочинениями на темы, предлагаемые жизнью»⁵.

Рассмотрев с разных сторон значение и цель искусства, Чернышевский дает следующее итоговое определение: «существенное значение искусства — воспроизведение всего, что интересно для человека в жизни; очень часто, особенно в произведениях поэзии, выступает также на

¹ Н. Чернышевский. Избранные философские сочинения, стр. 375.

² Там же, стр. 372.

³ Там же, стр. 367.

⁴ Н. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. III, стр. 55.

⁵ Н. Чернышевский. Избранные философские сочинения, стр. 373.

первый план объяснение жизни, приговор о явлениях ее¹.

В этих нескольких строках ярко выражен Чернышевским эстетический идеал всей великой русской критики — «одушевление вопросами действительной жизни» и борьба искусства за новую, одухотворенную лучшими качествами человека, жизнь.

В одушевлении русской литературы вопросами современности состояла великая заслуга русской критики. «Эстетические отношения искусства к действительности» — теоретическое кредо этого направления.

И вот тут-то, в самом существенном пункте всякой эстетической теории, выступает все различие между материалистической боевой и насквозь революционной эстетикой Чернышевского и идеалистической эстетикой Гегеля. Здесь нет возможности входить в подробности общей оценки эстетических взглядов Гегеля. В них можно и нужно выделить положительные и прогрессивные элементы, в частности, и по вопросу о цели и значении искусства. Гегель чувствовал враждебность буржуазных условий жизни для искусства, он считал наиболее благоприятной для искусства общественной оредой такое общество, в котором общие и личные интересы людей находятся в гармонии, говорил о человеке как предмете искусства и т. д.

Но общее направление и общий характер идеализма Гегеля подавляли то положительное, что было в его теории. И особенно ярко это видно на вопросе об отношении искусства к человеку, человеческому.

Для Чернышевского на первом плане в искусстве и эстетике стоят интересы человека в самом глубоком смысле этого слова. Эстетические воззрения Чернышевского, как и всей великой русской критики, были теоретическим обобщением основной черты русской классической литературы. Высокие человеческие идеалы Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других русских писателей были Белинским, Чернышевским, Добролюбовым переплавлены в теоретические понятия и категории эстетики. Материалистическое направление этой эстетики отвергало потустороннее, идеальное, абстрактное, достигаемое лишь в сознании и воображении, счастье человека. Наоборот, генеральная идея русской передовой эстетики заключалась в борьбе за счастье человека в реальной жизни.

«Ни мне, ни вам, читатель, — говорил Чернышевский, — не запрещено обедать на золотом сервизе; к сожалению, ни у вас, ни у меня нет и, вероятно, никогда не будет средств для удовлетворения этой изящной идеи; потому я откровенно говорю, что нисколько не дорожу своим правом иметь золотой сервиз и готов продать это право за один рубль серебром или даже дешевле».

В идеализме вообще, и в гегелевском идеализме, пожалуй, особенно, — для такого отношения к человеку почти нет места. Отмечая, что в гегелевской эстетике содержится мысль о том, что прекрасное в природе имеет значение прекрасного только как намек на человека, Чернышевский восклицает: «О, как хороша была бы гегелевская эстетика, если бы эта мысль, прекрасно развитая в ней, была поставлена основной мыслью вместо фантастического отыскания полноты проявляемой идеи!».

Но идеализм враждебен человеку, он по своей сущности эгоистичен и равнодушен ко всему конкретному, индивидуальному, реальному, ибо для него все живое — преходяще, временно и служит лишь мгновенным выражением понятия, идеи. В философии Гегеля человек и его интересы представлены, по выражению Маркса, бесконечно мизерными по сравнению с интересами развития абстрактного духа. «Идея», «общее» господствуют над человеком, и последний должен подчиниться им, жертвуя своими кровными интересами и потребностями. Или, как Белинский выразился однажды в письме к Боткину: «субъект у него (Гегеля) не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него в отношении к субъекту Молохом, ибо, пощеголяв в нем (в субъекте), бросает его, как старые штаны».

Короче говоря, сущность гегелевского, как и всякого другого идеализма, в конечном счете сводится к закону евангелия: «не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небесах, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут». При этом на земле все остается попрежнему, и идеализм учит, что все действительно разумно.

В борьбе против этой морали и состоит весь пафос эстетики Чернышевского. Гегелевское «прекрасное как полнота выражения идеи» снижает и обесценивает общественное значение искусства как орудия борьбы за человеческое счастье. «Прекрасное есть жизнь» Чернышевского возвышает человека и подчиняет искусство человеку, тем самым поднимая искусство на такой высокий пьедестал, на какой не способно поднять его парящая в небесах идеалистическая теория.

Вот почему Чернышевский, полемически заостряя вопрос, заявляет, что для него даже самая простая житейская радость человека дороже и поэтичнее всех мраморных Венер, ибо подлинная поэзия не может чуждаться и не в праве чуждаться того, «что ходит по земле».

«Аполлон Бельведерский и Венера Медицейская давно описаны, воспеты, и нам остается восхищаться только живыми людьми и живою жизнью, которую забывают в эстетиках, толкуя о Геркулесе Фарнезском и картинах Рафаэля».

Это противопоставление «холодных истуканов» живым людям, борющимся за свое счастье, старой, отжившей свой век «классики»

¹ Н. Чернышевский. Избранные философские сочинения, стр. 374.

новым животрепещущим темам, выдвигаемым жизнью, имело колоссальное значение для русского искусства. Оно толкало русских художников на путь национального и глубоко народного искусства. Своей эстетикой Чернышевский говорил им: не повторение старых тем и не догматическое копирование старых приемов, а стремление отразить русскую жизнь со всеми ее острыми вопросами, — вот признак настоящего художника, живущего не в заоблачном мире, а среди страдающего и борющегося народа.

Какое могучее влияние имела эстетика Чернышевского на развитие русского национального искусства, рассказывает И. Е. Репин в своей книге «Далекое-близкое». Он устанавливает неразрывную связь между «Эстетическими отношениями искусства к действительности», которые «прочитывались запоем», и движением среди русских художников 60-х годов, которые отошли от канонов классической эстетики и посвятили свои картины русской жизни.

От этих картин, писал Репин, «веяло свежестью, новизной и, главное, поразительной, реальной правдой и поэзией настоящей русской жизни. Да, это был истинный расцвет русского искусства! Это был прекрасный ковер из живых цветов на затхло петербургском болоте. Это был первый расцвет национального русского искусства»¹.

Вполне понятно, что у Чернышевского, как и у Белинского, реализм выступал как основной и наиболее плодотворный принцип художественного творчества. Что же еще, кроме реализма, могло быть в искусстве адекватным выражением того страстного воодушевления вопросами действительности, к которому он призывал каждой строкой, каждым словом своей эстетики?! При этом не всякий реализм устраивал Чернышевского. Великий русский мыслитель был сыном своего времени. Потребности исторического развития выдвигали отрицание существующего общественного порядка в России, как коренную задачу той эпохи. Не к простому, бесстрастному изображению жизни призывала эстетика Чернышевского, а к беспощадной критике действительности, к суровому приговору отжившим и тормозящим развитие России порядкам. Поэтому Чернышевский так сильно подчеркивал момент приговора в своем определении значения и цели искусства. Оттого и все литературно-критические оценки Чернышевского были проникнуты, с одной стороны, пафосом жесточайшей критики тех писателей, которые вводили читателя в заоблачные сферы и забывали головы читателей тем,

Какая птица где живет,

Какие яйца несет,

и, с другой стороны, они были полны пафосом утверждения критического направле-

ния в русской литературе. Его литературно-критические статьи полны злой и беспощадной ненависти ко всякому приукрашиванию жизни, к романтическому отвлечению от «проклятых вопросов» жизни, к малейшим попыткам прикрыть грязь и прозу действительности красивой, но бесплодной мечтой. Он вовсе не отрицал мечту в искусстве: его «Что делать» — настоящая мечта о будущем золотом веке. Он боролся против того романтизма, который связывает человека по рукам и ногам, сковывает его мысль, ослепляет, делает человека бессильной игрушкой в руках стихии.

Только реалистическое искусство, одушевленное вопросами современности, могло быть, на взгляд Чернышевского, вместе с тем и подлинно народным искусством. Как и Белинский, Чернышевский тесно связывал понятия реализма и народности. Реализм требует от художника изображения самых существенных злободневных вопросов жизни, а из всех классов общества больше всего в разрешении этих вопросов заинтересован трудовой народ. Чернышевский отмечает тот факт, что лучшие писатели русского народа, создавая свои произведения, побуждались высоким патриотическим долгом перед своей родиной. В этом их могущественная сила. В этом же была сила и критики Белинского. «Любовь к благу родины была единственною страстью, которая руководила ею: каждый факт искусства ценила она по мере того, какое значение он имеет для русской жизни. Эта идея — пафос всей ее деятельности. В этом пафосе и тайна ее собственного могущества»¹. В этом, добавим от себя, и тайна силы самого Чернышевского.

Отмечая пятидесятипятое десятилетие смерти Н. Г. Чернышевского, советская литература не просто отдает дань памяти своему великому предшественнику. Тысячи живых нитей связывают ее с той борьбой против идеалистического искажения и принижения искусства, которую проводил Чернышевский, с его идеалами подлинно человеческого искусства. Не убегающего от жизни, а существующего и развивающегося ради блага народа, ради создания счастливой жизни для человека, с его страстным стремлением видеть Россию и народы, ее населяющие, в авангарде прогрессивного человечества. Лучшие традиции русской эстетической мысли и среди них традиции, связанные с именем Чернышевского, вошли в плоть и кровь советской литературы, оплодотворены новыми историческими целями, вдохновляющими художников советской социалистической страны. И потому так близко и ценно для советской литературы все, что делал Чернышевский для того, чтобы наука об искусстве и само искусство руководились не ложными, а истинно научными и передовыми понятиями.

¹ Н. Чернышевский. Соч., Гослитиздат, 1934, стр. 333.

¹ И. Е. Репин. «Далекое-близкое», стр. 205.

БИБЛИОГРАФИЯ

СЦЕНАРИЙ О М. И. ГЛИНКЕ *

★

Тридцать лет артистической жизни, а если считать годы детства, — пятьдесят лет обнимают автобиографические «Записки», принадлежащие перу М. И. Глинки. Это совершенно исключительный и единственный в своем роде памятник нашей музыкальной культуры. Гениальный создатель русского музыкального языка в этом своем мемуарном произведении прост, конкретен и безупречно скромен. Вся интонация его как бы говорит: я записываю лишь то, что точно помню — толкуйте и делайте выводы сами.

Непременным качеством исторического писателя является историзм мышления, некоторая конгенитальность писателя своему историческому герою и, по меньшей мере, глубокое проникновение в строй его мыслей и характера, основанное на органическом впитывании в себя избранного исторического материала.

«Во время ужина обыкновенно играли русские песни... и может быть эти песни, слышанные мною в ребячестве, были первой причиной того, что впоследствии я стал преимущественно разрабатывать народную Русскую музыку», — писал Глинка в своих «Записках». Как же прочел эти и подобные строки «Записок» Л. Арнштам, сочиняя киносценарий «Глинка»?

Увертюра Мегюля, контраданс и Моцарт — вот репертуар деревенского оркестра, приводимый в сценарии для изображения младенческих лет композитора.

В «Записках» мы можем прочесть о том, как Глинка, напуганный петербургским наводнением 1824 года, был озабочен перенесением своего рояля в верхний этаж занимаемого им дома. Композитор в действительности никогда не был героем действий, требующих физической силы. Все его силы сосредоточились в мощном творческом духе.

То ли дело в сценарии! Здесь волей сценариста Глинка по всем канонам мелодрамы перевоплощается в отважного пловца, спасающего

на своей лодке якобы едва не погибших А. П. Керн и ее дочь.

Вообще говоря, можно было бы не оспаривать отдельных смещений историко-биографического материала, допускаемых сценаристом в целях создания драматургически выпуклого образа. Художественное обобщение требует поисков истины, стоящей выше правды мелочных фактов. Но при этом общая художественная концепция исторического произведения не может исказить достоверный образ исторического лица — иначе мы имеем дело с беспомощностью, вульгаризацией, лакировкой или, по меньшей мере, с недопустимой неряшливостью в использовании материала.

Глинка дорог нам как основоположник русского симфонического и оперного искусства, утвердивший народность в музыке, «музыкальный Пушкин» совершенно самодовлеющего значения и силы, — 140-летний юбилей такого национального гения мы и праздновали в этом году.

При этом мы знаем, что Глинка выступил во всеоружии мастерства как высоко образованный музыкант своего времени. А музыка требует больших теоретических знаний и специальных технических навыков, дополнительных к общему образованию. Композитор неустанно, с беспримерной скромностью учился всю свою жизнь — дома, в деревне, в Петербурге и в многочисленных своих странствованиях за границей.

Но во имя чего понадобилось Л. Арнштаму, вопреки всему творчеству Глинки, его высказываниям, мемуарам и установившейся нашей общей оценке, обойти на протяжении всего сценария факты любовных занятий Глинки народной песней («музыку пишет народ, а мы ее только аранжируем» — утверждал он), выпятить на первый план выучку у иностранцев? Русский народ никогда не отказывался от усвоения достижений запада, но не отказывался и от своего собственного мышления, а художнический подвиг Глинки определяется отнюдь не пересадкой на русскую почву навыков западноевропейского музыкального мышления.

* Л. Арнштам. «Глинка». Киносценарий. Киноиздат, М, 1944.

Глинка был достойным современником Пушкина, крайне самобытным гением равноправного искусства, высоко ценившим Пушкина как поэта и как человека, но в то же время полным горделивого самосознания. «Всеми единодушно я признан первым композитором в России» — писал он матери после постановки «Суянина». Зачем же нужно было сценаристу строить творческий образ Глинки на пожизненной влюбленности в Пушкина, весьма близкой к институтскому обожанию старшей подруги? Зачем нужно было весь творческий путь композитора освещать не внутренним огнем его собственного горения, а заемным светом пушкинского гения?.. Не хорошо, когда, увлекаясь предметом своей работы, биограф мимоходом снижает современников для возвышения своего героя. Но не лучше, когда он берется за воссоздание образа исторического лица, не умея понять его значения. Так можно лишь уронить свой предмет.

Насколько велико было давление пушкинского образа — не на Глинку, а на сценариста Арнштама — можно ощутить из следующего сопоставления. Драма Пушкина очень убедительно раскрыта в советской литературе как драма певца свободы, оставшегося тем не менее вне рядов декабристов и чрезвычайно страдавшего вследствие этого от сознания неполноты своего участия в современных революционных событиях. Совершенно законное понимание общественно-политической позиции поэта, если учесть личную близость его ко многим героям декабрьского восстания.

Глинка не имел никаких политических связей с декабристами. Между тем по сценарию Л. Арнштама, Глинка, заслышав 14 декабря пушечные выстрелы, в ужас мечется по комнате. Можно было бы терпимо отнестись к подобной попытке обрисовать общее самочувствие молодого композитора в эти дни. Но сценаристу этого мало — он подчеркнуто сближает с образом Глинки образ Пушкина: «так же из угла в угол мечется у себя в Михайловском Пушкин» — повествует сценарист в следующем абзаце. Дальше перед закрытыми глазами Глинки проплывают видения Рыбаева, вяселицы, слетевшихся на пир воронов — словно Глинка хоть сколько-нибудь мог знать о существовании заговора и его участника!.. Если для полноты картины мы отметим, что в непосредственно следующем эпизоде Глинка неистово погоняет ямщика, мчась за границу, то ясно станет единственно возможное истолкование для зрителя всего написанного: композитор счастливо ускользнул от царских жандармов, унеся в чужие земли свою причастность к декабрьскому восстанию. Вот к какому недопустимому искажению исторического образа привело сценариста насильственное перенесение заглавной драмы.

Л. Арнштам не понимает, что наш народ не нуждается ни в каком искусственном подкрашивании своих великих предков и что прогрессивная, революционная роль Глинки в истории нашей культуры состоит в его художественном

подвиге, а совсем не в выдуманной близости его к декабристским кругам. Только полное непонимание всего совершенства и прелести глинканской музыки, только глубокое неверие в ее значение могли завести сценариста на путь, столь надуманный и ложный, как упрямая подмена собственной драмы Глинки драмой Пушкина. До каких степеней вулгаризации доходит при этом Арнштам, видно из его попыток раскрыть романское творчество композитора средствами кинематографа.

Романс «Я помню чудное мгновенье» принадлежит к числу излюбленных музыкальных произведений, широко известных нашему слушателю. В этом романсе народ наш не без основания видит изумительную жемчужину лирического творчества Глинки, как бы вершину лирического обобщения, в основе которой лежит образ чистейшей любви. Л. Арнштам заставляет Глинку в сценарии пропеть этот романс любимой девушке Е. Е. Керн. Вы можете подумать, что это музыкальное признание в любви — как бы не так! Для этого арнштамовский Глинка слишком тонкий политик. Нет: — «я расскажу вам свою жизнь» — говорит композитор и садится за рояль. Тут-то, во время пения, и происходит раскрытие содержания романса в рое видений, среди которых: Пушкин-Булгарин, царь, улыбка Рыбаева, силуэт висельницы (да, да, не смейтесь!) и прочие основные черты биографии, сочиненной Арнштамом. По моему мнению, это раскрывает понимание Глинкой слов:

...Как гений чистой красоты...

...И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты... и т. д.

Обращаясь к языку этого прискорбного для наших дней опуса Арнштама, мы можем остановиться на разговорных репликах персонажей. Перед нами кинодраматургическое произведение: язык которого преследует лепку художественных образов, воплощаемых на экране. Поэтому нас прежде всего может интересовать, каким словарем наделил автор своего героя. В основу художественного образа Глинки, очевидно, должны были лечь интонации и словарный строй речи собственных его «Записок», писем и свидетельства современников.

Личный друг Глинки П. А. Степанов вспоминает о нем: «При встрече с незнакомым или неприятным ему человеком он был холоден, щурил глаза и говорил неохотно. С людьми по сердцу — любил поговорить и посмеяться: когда был в духе; тут являлась незлобная насмешка, которой сам от души смеялся: какое-нибудь предразивание, шуточные фразы, которые он очень любил».

В прекрасной вступительной статье к «Запискам» музыковед А. Н. Римский-Корсаков пишет: «Это — ровный, почти эпически-спокойный рассказ о прошлом — даже в местах, густо пересыпанных юмором... Все сугубо конкретно, часто прямо анекдотично... Характеристики окружающих людей почти всегда лаконичны — это всего лишь два-три необходимых по кон-

тексту объяснительных слова. Правда, иногда эти микроскопические характеристики по живописной яркости напоминают нам отражение мира в зеркальной поверхности глаза... В устной беседе излюбленной формой выражения для Глинки служили лаконичные суждения...»

Подобных документаций много, и рисуют они облик чрезвычайно своеобразный, со своеобразной лексикой бытовой речи. Но сценарист не сумел вычитать ничего для характеристики речи Глинки, кроме следующих красок:

«— Простите-с! — волнуясь шепчет Михаил Иванович. — Как же это, однако, случилось? Ах! И не сочтите меня назойливым...»

Так композитор разговаривает с А. П. Керн в сценарии.

«— ...А ты когда-нибудь плачешь?»

— Иногда плачу-с... — произносит он, совершенно смешавшись».

Так, по мнению Арштама, разговаривает Глинка с маленькой дочерью А. П. Керн.

«— Эврика, Ульяныч! Нашел-с!..»

Так арштамовский Глинка разговаривает со

своим слугой-камердинером. Но куда же девался в высшей степени образный словарь Глинки-мемуариста, полный необычайных, метких, запоминающихся, излюбленных им словечек? Его в сценарии нет. И откуда появился этот низкопоклонно-приказчиный или приказный «словоерик», которого вы совершенно не найдете в мемуарно-эпистолярном наследстве, оставшемся от Глинки? Может быть, сценарист хотел передать «стиль эпохи»? Но в таком случае он спутал Глинку с его слугой.

«Воссозданный» такими и подобными средствами Глинка не имеет ничего общего с горделивым, величественным образом гениального композитора, который живет в нашей душе.

Можно только горько пожалеть, что 140-летний юбилей со дня рождения Глинки ознаменован столь порочным изданием Киноиздата, тем более, что оно является дословной перепечаткой сценария, помещенного в журнале «Искусство кино» № 6 за 1941 г.—три года ничему не научили ни автора, ни издательство.

П. Слетов

★

ИСТОРИЯ ОДНОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ*

Недавно умер талантливый изобретатель Г. Котельников. Вышедшая незадолго до его смерти третьим, исправленным и дополненным изданием небольшая книга «Парашют» осталась не замеченной критикой. А между тем она читается, как увлекательная фантастическая повесть, художественно излагающая в самом строгом соответствии с фактами историю изобретения и постепенного усовершенствования русского парашюта.

Главное, что создает это ощущение фантастичности, — личность самого автора (он же и изобретатель парашюта). Глеб Евгеньевич Котельников — не летчик, не механик, вообще не техник. Он — рядовой актер одного из русских театров, при этом актером он остался и после того, как сделал свое изобретение и как оно получило широкое распространение и столь же широкое признание! Читаешь иные места в книге и протираешь глаза: не снится ли это.

Вот одна характерная страничка. Котельников описывает, как ему и жене его довелось быть свидетелями гибели на аэродроме известного русского летчика Мациевича осенью 1910 года:

«Возвращаясь домой с аэродрома, жена сказала мне:

— Неужели нельзя придумать какой-нибудь совсем небольшой аппарат, который падал бы вместе с человеком и выбрасывал бы парашют?»

Вечером, как обычно, я выступал в театре. Шла трагедия Шиллера «Мария Стюарт», в

которой я играл роль Лейстера. Но и на сцене меня преследовала страшная картина гибели Мациевича. И вот в сцене с королевой Елизаветой со мной произошел совершенно неприличный и неприятный случай.

«О чем вздохнули вы? — спрашивает меня королева.

«О, неужели причин вздыхать я не имею? — начал я. — Обращая свой страстный взор на светлое чело, терзаюсь я грозящей мне потерей!»

«Что ж потерять вы можете?» — спрашивает Елизавета.

В этот момент у меня в голове промелькнула мысль: «Сколько замечательных смелых людей мы еще можем потерять, как потеряли Мациевича!» На меня нашло какое-то затмение, и я с ужасом почувствовал, что забыла свою реплику королеве!.. И только привычная актерская техника выручила. После вынужденной «итровой» паузы я продолжал:

«О, сердца твоего!.. Тебя самой, бесценная, лишаюсь!» — и дальше уже продолжал, как всегда.

— Что это с вами сегодня? — спросила меня актриса, игравшая королеву Елизавету, едва только опустился занавес.

Я рассказал ей про ужасный случай на аэродроме.

Мысль, высказанная моей женой о небольшом аппарате с парашютом, положительно не давала мне покоя».

На первый взгляд — это какая-то чепуха, не имеющая ни малейшего серьезного значения. Какое, в самом деле, отношение к истории создания парашюта может иметь

* Г. Котельников. «Парашют». Военная библиотека школьника. Детгиз, 1943.

случай с актером, забывшим роль, или обычное при катастрофах замечание случайной зрительницы: что нельзя ли де придумать что-нибудь этакое, чтобы таких катастроф не было? Я уверен, что с подобного рода замечаниями в памятный день гибели Мациевича расходились с аэродрома сотни зрителей. Но, когда внимательно прочитаешь книжку до конца, эта «чепуха» приобретает характер очень точной, с пленительным простодушием нарисованной, крайне своеобразной картины изобретения и усовершенствования русского парашюта.

Нет, кажется, ни одного крупного изобретения или открытия, в котором не играл бы видной роли так называемый «счастливей случай». Внимание многих до такой степени привлекается к этим «случаям», что у них даже создается мнение, что весь секрет изобретений и открытий—в счастливой судьбе «ниспосылающей случай» тому или иному своему избраннику, тоже, конечно, случайному. Не сорвись яблоко с дерева, под которым сидел Ньютон,—не был бы открыт и закон всемирного тяготения.

Необыкновенно любопытно, что и сам изобретатель парашюта склонен приписывать счастливым случаям большое значение в истории своих изобретений. Случайно жена его уронила фразу о парашютах—и отсюда начались его упорные изыскания по вопросу о парашютном деле. Когда изобретатель пришел уже к целому ряду заключений относительно типа парашюта и важнейших его элементов, он столкнулся с чрезвычайно серьезным затруднением: из какого материала делать парашют? В предшествующих опытах для этого служила прорезиненная материя, но это делало парашют тяжелым, громоздким, мало портативным.

«Пустой случай пришел мне на память» — простодушно сообщает автор. Опять «случай»! «Как-то после спектакля в летнем театре Таврического сада мы с товарищами, разгримировавшись, болтали в уборной. Кто-то постучал в дверь.

— Можно! — крикнул я. — Мы уже переоделись.

Вошла актриса, жена одного из моих собеседников.

— Дай мне мою сумочку, — обратилась она к своему мужу. — В саду довольно прохладно сегодня.

— Что вы! — рассмеялся я. — Разве сумочка греет?

— Не сумочка, а шелковая шаль, — сказала невозмутимо актриса, взяла сумочку, открыла ее, быстрым движением выдернула шелковую шаль и распустила ее по всей комнате.

— Слушайте! — крикнул я. — Ведь это же мысль! Это же то, что и надо. Ничем не пропитанный шелк!

Товарищи смотрели на меня с изумлением. Они не понимали, о чем я говорю. А я в эту минуту решил шить купол своего парашюта именно из легкой не прорезиненной и ничем не пропитанной шелковой материи».

Переворачиваем еще несколько страниц книжки и, конечно, снова встречаемся с подоб-

ного же рода «случаем», о котором автор повествует с тем же характерным простодушным изумлением перед снисходительностью расточительной фортуны: он подвергал испытанию свой парашют, а попутно, благодаря «счастливому случаю», изобрел и парашютный тормоз! «Парашют — сообщает он — оказался тормозом! Это было удивительное и неожиданное открытие». Прошло несколько месяцев, и у него уже были готовы чертежи и даже модель нового тормоза.

Надо ли доказывать, что все эти случаи — весьма и весьма закономерны. Случаи такого рода проходят перед глазами у всех, но одни пропускают их мимо внимания, другие — воспринимают их со всей страстью ищущих решения определенной, еще не объяснимой задачи. А обуславливается это тоже вполне объяснимыми и совершенно определенными причинами: внимание и наблюдательность людей этой второй категории изощрены упорной и сосредоточенной мыслью в известном направлении; всем содержанием своей жизни они подготовлены к тому, чтобы, подобно магниту, притягивать, схватывать, вбирать в себя все те «случаи», которые имеют отношение к занимающему их вопросу. И книжка Котельникова очень ценна, между прочим, как раз и тем, что великолепно иллюстрирует непреложность этой истины: не «случай», а поразительное постоянство, упорная воля и выдержка, неусыпный труд, страстная целеустремленность сделали этого актера замечательным изобретателем.

Сколько препон, затруднений, неудач, сколько холодного чиновничьего равнодушия вставало на пути его к цели. Вот генерал Кованько, начальник воздухоплавательной школы старой, царской армии после вполне удачного испытания парашюта все-таки отклоняет его «за необходимость». Вот главный начальник российских воздушных сил, великий князь Александр Михайлович накладывает резолюцию на проект об обязательном введении парашюта в авиации: «Парашют в авиации — вообще вещь вредная, так как летчики при малейшей опасности, грозящей им со стороны неприятеля, будут спасаться на парашютах, предоставляя самолеты гибели». В Париже объявлен конкурс на лучшую конструкцию авиационного парашюта; Котельников решает принять личное участие в конкурсе, — не тут-то было: «театральное начальство об этом и слышать не хотело. Как? Среди сезона? Да что вы? Как это можно?.. Вот в пост — другое дело, а теперь перед праздниками ни в коем случае!»

В таких условиях приходилось Котельникову пробивать дорогу для своего изобретения. И все же он преодолевал все препятствия, за одной моделью следовала другая, более усовершенствованная, его парашют совершил свое победное шествие по России, по Европе, число его adeptов неуклонно росло. Наконец, Великая Октябрьская революция широко распахивает двери для его изобретения, Котельникову присуждается поощрительная премия, его парашют получает широкое применение в армии и принимается на вооружение воздухоплава-

тельных частей РККА. В 1926 году Котельников передает все свои изобретения со всеми будущими усовершенствованиями советскому правительству.

Такова эта своеобразнейшая и фантастическая история жизни скромного русского актера. Я умышленно употребляю выражение «история жизни», потому что поистине делом жизни была для него та цель, к которой стремился он с несравненным упорством.

Книга написана прекрасным, чистым, ясным и простым языком и вполне доступна для по-

нимания ребят. Некоторое затруднение, быть может, встретится лишь при усвоении математической формулы расчета площади купола парашюта, — ее следовало бы пояснить несколько доступнее. Общий стиль изложения — простодушный, с налетом легкого юмора, живой и непринужденный. Книга снабжена большим количеством рисунков и кратким предисловием генерал-майора Г. Громова, дающим очень высокую и справедливую оценку как изобретениям Г. Е. Котельникова, так и книге его.

А. Дерман

★

КНИГА О ГЕРОИЗМЕ И МАСТЕРСТВЕ*

Книга адмирала флота И. С. Исакова является оперативным обзором деятельности Военно-Морского флота Союза ССР в нынешнюю Великую Отечественную войну.

Чтобы дать читателю представление о книге адмирала Исакова, приведем из нее несколько выдержек. Введение открывается обзором эволюции германских завоевательных планов. «Начиная летом 1941 г. войну против СССР, немецкие стратеги ставили перед собой главную военную цель — быстро разгромить советские вооруженные силы на полях Украины и Белоруссии, далеко не доходя до Москвы или Кавказа, которые, очевидно, сами должны упасть в руки в результате намечаемой грандиозной победы».

Несмотря на «фанатическую самоуверенность и истинно тевтонское самомнение» немецкого командования, оно понимало, что запланированная победа может обойтись значительно дороже, чем головокружительные успехи, достигнутые в Польше, Норвегии, Бельгии или во Франции. Два обстоятельства должны были обеспечить торжество этого бредового плана. Оба были использованы. Внезапность достигнута «путем предательского, вероломного нападения... и скрытного сосредоточения перед нашими границами громадных сил». Полное напирание всех сил и средств выразилось в отказе Германии от активных операций на всех остальных театрах и в сокращении до минимума своих сил на Западе.

В своей фанатической самоуверенности и тевтонском самомнении гитлеровцы пренебрегли третьим обстоятельством. Разбойничьи стратеги не учли политического единства, героически могущественного патриотизма советского народа, оставили без внимания силу и мастерство своего противника. Это обстоятельство явилось несокрушимым оплотом, о который разбились все планы и расчеты фашистских правителей.

Адмирал Исаков рассказывает о борьбе советских моряков, о влиянии действий нашего флота как части всоруженных сил СССР на эволюцию германских планов. Первым резуль-

татом встречи фашистского флота с советским явился провал элемента внезапности, молниеносности. Неожиданно для немцев второстепенная «задача обеспечения своих морских коммуникаций начала перерастать в главную задачу германского флота». Советские моряки «все успешнее боролись с блокадой противника и топили все больше его транспортов». Они заставили немцев изменить тактику. Боевое соприкосновение фашистских моряков с советскими привело их к необходимости «в войне с Советским Союзом не рисковать ценными кораблями».

После перелома в ходе войны фашисты стали гоняться за внешними эффектами. Враг пускался на меры, стоящие чрезвычайно дорого в сравнении с получаемым результатом. Такой характер имела, например, «тенденция применения противником торпед по малоценным объектам — буксирам, шхунам и т. п. судам, которые, естественно, никогда не могут иметь полноценного охранения... В этой бессмысленной трате самого дорогого вида боезапаса ясно видна бессильная злоба противника, его боязнь рисковать выходом в атаку на охраняемые крейсера, вскадренные миноносцы и канонерские лодки, оперировавшие в тех же районах».

Не дали врагу ожидаемого им результата и другие средства борьбы. «Наиболее излюбленным оружием немцев в этой войне на наших морях является мина». Советским морякам «понадобилось вести непрекращающуюся ни днем, ни ночью борьбу с неприятельскими минами и с их постановщиками». Но советские минеры «научились разгадывать технические хитрости разнообразных типов германских мин... а флотами накоплен значительный опыт противоминной борьбы». При этом «с нашей стороны одновременно ведется еще более активная и более успешная минная война в водах противника».

Приведенное сообщение относится к началу января 1944 года. Дальнейшие события этого года показали, что советские моряки как часть общей системы вооруженных сил СССР учились прилежно и научились многому такому, что совсем не входило в планы фашистов.

Известно, как много помогает успешному для нашей страны ходу войны взаимодействие наземных, морских и воздушных сил. Советские моряки, действуя как составная часть воору-

¹ Адмирал флота И. С. Исаков. «Военно-Морской флот СССР в Отечественной войне». Военно-Морское изд-во НКВМФ СССР, М.-Л. 1944.

женных сил СССР, «задерживая и оттягивая на себя значительно превосходящие силы врага, обессиливали их и тем самым тормозили общий ход германского наступления на главном направлении». Отправляя вражеские корабли на дно, советские моряки дают нацистским морякам и сухопутным солдатам возможность побить все рекорды «плаванья»: летом 1944 года трупы фашистских вояк доплывали от берегов Крыма до турецкого побережья.

Не лучше обстоят дела фашистских моряков на Балтике: «Несмотря на авантюризм, свойственный германской стратегии, в том числе и морской, немецкие адмиралы не рискнули ни разу на крупную операцию в Балтийском море». На опыте, после первых боев, они узнали, что «голыми руками балтийцев взять ни при каких условиях не удастся, что балтийцы будут крепко драться, и это чревато для немцев потерями».

Вот краткое, деловое описание одной попытки немцев высадить в первые месяцы войны десант со стороны Рижского залива: «Нашей береговой обороной, истребительной авиацией и катерами было потоплено до 12 десантных катеров, 4 транспорта, большое количество мелких судов и лайб: один сторожевик и один миноносец. Десант на берег допущен не был».

После первых уроков, данных советскими моряками, немцы стали беречь корабли для вторжения в Англию. «Эта стратегия оказалась в бесславных итогах боевой деятельности германских морских сил на Балтике и в то же время не спасла их от потерь». А как осуществился их план «вторжения в Англию», видно из событий в Нормандии и на южном побережье Франции.

Существенную поправку к оперативным планам германских адмиралов внесла советская авиация. За все время войны немцы не могли создать себе господства в воздухе над морем, несмотря на все преимущества своей аэродромной сети. Это, как отмечает адмирал Исаков, «подтверждает превосходство нашей материальной части, искусство и смелость наших летчиков».

Одним из следствий ошибок германского генерального плана молниеносной войны явилась, как известно, нехватка тоннажа. По этому поводу адмирал Исаков напоминает о потерях, наносимых немецкому флоту «тысячными» налетами союзной авиации на Гамбург, Бремен, Киль и другие порты. Автор приводит факты, доказывающие, что кризис германских вооруженных сил на севере в значительной

степени является результатом боевой деятельности нашего Северного флота.

Вот один из наиболее объективных показателей успешности действий североморцев: 12 октября 1943 года в районе Ганафиорда разведкой Северного флота были обнаружены три немецких больших транспорта, имевших в двух линиях охраны 2 миноносца, 12 сторожевых кораблей, 5 тральщиков и 10 сторожевых катеров, т. е. всего 29 охранных кораблей. Над конвоем непрерывно держались 2 «Мессершмитта».

«Этот небывалый в морской истории эскорт можно было бы назвать «почетным» — почетным для североморцев, ибо подобный факт наглядно демонстрирует уважение немцев к советским кораблям и самолетам и страх перед ними».

Приведем еще один случай из деятельности советского подводного флота. Он связан с одним из очень редких выходов больших немецких кораблей в район англо-американско-советских океанских сообщений. 5 июля 1942 года «Адмирал Тирпиц» совместно с «Адмиралом Шеер» «рискнули выйти в операцию под эскортом большого числа охраняющих вскадренных миноносцев и самолетов». Немецкая авиация предварительно «обследовала всю зону операции и убедилась, что поблизости нет крупных английских сил». Немцы учли все. Но упустили из виду только одно — искусство советского подводника Героя Советского Союза капитана 2 ранга Лунина. Прорвав эскадрию охранения, капитан Лулин торпедировал «Адмирала Тирпиц» и нанес ему настолько серьезные повреждения, что операция немцев была сорвана.

Оставив при разработке своих планов без внимания героической патриотизм и большое мастерство людей советской страны на фронтах и в тылу, фашистские правители мирового масштаба вынуждены были от стремительного наступления перейти к обороне. Затем они перешли от обороны к вынужденному отступлению. Так и отступать им до Берлина.

Адмирал Исаков заключает свою книгу следующими словами: «для выполнения дальнейших задач, для победоносного завершения войны у нас есть гениальное, целестремленное руководство в лице Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина. У советского народа есть всё необходимое для окончательной победы».

С. Штрайх

★

Редколлегия: М. М. Розенталь, А. А. Сурков, А. Н. Толстой,
К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

Подписано к печати 11/ХІІ-44 г.
А 13015 10 печ. листов. Тираж 30.000. Зак. 2725.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.